

Звезда

- Белла Ахмадулина
19 октября 1996 года. Стихи.
- Иосиф Бродский
Зачем российские поэты?.. Эссе.
- Владимир Набоков
Трагедия Господина Морна.
Трагедия в стихах.
- Даниил Данин
Дневник одного года
- Рут Ренделл
**Один по вертикали, два по
горизонтали.** Роман. С английского.

1997 (4)

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ

(23 апреля 1899 — 2 июля 1977)

МАТЬ

Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,
спускается толпа, виясь между олив,
 подобно медленному змию;
и матери глядят, как под гору, в туман
увещающий уводит Иоанн
 седую, страшную Марию.

Уложит спать ее и сам приляжет он,
и будет до утра подслушивать сквозь сон
 ее рыдания и томленье.
Что, если у нее остался бы Христос
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
 не стоит наше искупленье?

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;
у гроба, в третий день, виденье встретит жен,
 вотще купивших ароматы;
светящуюся плоть ощупает Фома,
от веянья чудес земля сойдет с ума,
 и будут многие распяты.

Мария, что тебе до бреда рыбарей!
Неосяземо над горестью твоей
 дни проплывают, и ни в третий,
ни в сотый, никогда не вспрянет он на зов,
твой смуглый первенец, лепивший воробьев
 на солнцепеке, в Назарете.

1925
Берлин

* * *

Сам треугольный, двукрылый, безногий,
но с округленным, прелестным лицом,
ижицей быстрой в безумной тревоге
комнату всю облетая кругом,

страшный малютка, небесный калека,
гость, по ошибке влетевший ко мне,
дико метался, боясь человека,
а человек прижимался к стене,

все еще в свадебном галстуке белом,
выставив руку, лицо отклоня,
с ужасом тем же, но оцепенелым:
только бы он не коснулся меня,

только бы вылетел, только нашел бы
это окно и опять, в неземной
лаборатории, в синюю колбу
сел бы, сложась, ангелочек ночной.

Звезда

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ
ЖУРНАЛ**

**Издается
с января
1924
года**

1997(4)

Санкт-Петербург

Учредитель: АОЗТ «Журнал Звезда»

Директор Я. А. ГОРДИН

Соредакторы: А. Ю. АРЬЕВ, Я. А. ГОРДИН

Редакционная коллегия:

К. М. АЗАДОВСКИЙ, Ю. Ф. КАРЯКИН, И. С. КУЗЬМИЧЕВ, А. С. КУШНЕР,
Н. К. НЕУЙМИНА, Г. Ф. НИКОЛАЕВ, А. А. НИНОВ, М. М. ПАНИН,
Б. М. ПАРАМОНОВ (Нью-Йорк), В. Г. ПОПОВ, А. Б. РОГИНСКИЙ,
Б. Н. СТРУГАЦКИЙ, С. С. ТХОРЖЕВСКИЙ, **В. Я. ФРЕНКЕЛЬ,**
А. А. ФУРСЕНКО, М. М. ЧУЛАКИ

Редакция:

М. М. ПАНИН, Н. А. ЧЕЧУЛИНА (проза); А. А. ПУРИН (поэзия);
Н. К. НЕУЙМИНА (публицистика); А. К. СЛАВИНСКАЯ (критика)
Зам. гл. редактора В. В. РОГУШИНА Зам. гл. редактора В. И. ЗАВОРОТНЫЙ
Зав. редакцией А. Д. РОЗЕН Отв. секретарь А. А. Пурин
Корректоры: Ф. Н. АВРУНИНА, Н. В. ВИНОГРАДОВА, О. А. НАЗАРОВА
Компьютерная группа: Ю. А. СМИРЕННИКОВ, Н. П. ЕГОРОВА, О. В. МУРАТОВА

*При перепечатке материалов ссылка на „Звезду“ обязательна.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

Подписаться на журнал можно непосредственно в редакции.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и библиотеки ряда стран СНГ 1806 экз. журнала.

Адрес редакции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20. Телефоны:
соредакторы и зам. гл. редактора — (812) 272-89-48, зав. редакцией —
(812) 273-37-24, редакция — (812) 272-71-38, факс — (812) 273-52-56

© Звезда, 1997

К ЮБИЛЕЮ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

19 ОКТЯБРЯ 1996 ГОДА

Осенний день, особый день —
былого дня неточный слепок.
Раззор дерев, раздор людей
так ярки, словно напоследок.

Опальный Пасынок аллея,
на площадь сосланный
Страстную, —
суров. Вблизи — молодой атлет
вкушает вывеску съестную.

Живая проголодь права.
Книго́чий изнурен тоскою.
Я неприкаянно брела,
бульвару подчинясь Тверскому.

Гостинцем выпечки летел
лист, павший с клена, с жара-пыла.
Не восхвалить ли мой Лицей?
В нем столько молодости было!

Останется сей храм наук,
наполненный гурьбой задорной,
из страшных Герценовских мук
последнею и смехотворной.

Здесь неокрепшие умы
такой воспитывал Куницын,
что пасмурный румянец мглы
льнула метой оспы к юным лицам.

Предсмертный огонь окна светил,
и Переделкинский изгнанник
прости ученикам своим
измены роковой экзамен.

Где мальчик, чей триумф-провал
услужливо в погибель вырос?

Такою подлость затевал,
а малости вина — не вынес.

Совпали мы во дне земном,
одной питаемые кашей,
одним питаемые злом,
чье лакомство снесет
не каждый.

Поверженный в забытый прах,
Сибири светлый уроженец,
ты простодушной жертвой пал
чужих веленьиц и решеньиц.

Прости меня, за то прости,
что уцелела я невольню,
что я весьма или почти
жива и пред тобой виновна.

Наставник вздоров и забав —
ухмылка пасти нездоровой,
чьему железу — по зубам
нетвердый твой орех кедровый.

Нас нянчили надзор и сыск,
и в том я праведно виновна,
что, восприняв ученья смысл,
я упаслась от гувернера.

Заблудший недоученик,
я, самодельно и вслепую,
во лбу желала учинить
пядь своедумную седьмую.

За это — в близкий час ночной
перо поведает странице,
как грустно был проведан мной
страдалец, погребенный в Нищце.

19 октября 1996

ИОСИФ БРОДСКИЙ

ЗАЧЕМ РОССИЙСКИЕ ПОЭТЫ?..

Поэзия есть искусство границ, и никто не знает этого лучше, чем русский поэт. Метр, рифма, фольклорная традиция и классическое наследие, сама просодия — решительно злоумышляют против чьей-либо «потребности в песне». Существуют лишь два выхода из этой ситуации: либо предпринять попытку прорваться сквозь барьеры, либо возлюбить их. Второе — выбор более смиренный и, вероятно, неизбежный. Поэзия Ахмадулиной представляет собой затяжную любовную связь с упомянутыми границами, и связь эта приносит богатые плоды. Или, скорее, прекрасные цветы — розы.

Сказанное подразумевает не благоухание, не цвет, но плотность лепестков и их закрученное, упругое распускание. Ахмадулина скорее плетет свой стих, нежели выстраивает его вокруг центральной темы, и стихотворение, после четырех или того меньше строк, расцветает, существует почти самостоятельно, вне фонетической и аллюзивной способности слов к произрастанию. Ее образность наследует взгляду в той же степени, что и звуку, но последний диктует больше, нежели порой предполагает автор. Другими словами, лиризм ее поэзии есть в значительной степени лиризм самого русского языка.

Хороший поэт — всегда орудие своего языка, но не наоборот. Хотя бы потому, что последний старше предыдущего. Поэтическая персона Ахмадулиной немаловажна вне русской просодии — не столько по причине семантической уникальности фонетических конструкций (взять хотя бы одну из ее наиболее употребительных рифм *улыбка/улика*, смысл которой усиливается качеством созвучия), но благодаря специфической интонации традиционного русского фольклорного плача, невятного причитания. Последнее особенно заметно на ее выступлениях. Впрочем, это присуще Ахмадулиной в той же степени, что и самой женской природе.

Если я не называю поэзию Ахмадулиной мужественной, то не потому, что это рассердит множество женоподобных особей — просто поэзии смешны прилагательные. Женский, мужской, черный, белый — все это чепуха; поэзия либо есть, либо ее нет. Прилагательными обычно прикрывают слабость. Вместо употребления любого из них достаточно сказать, что Ахмадулина куда более сильный поэт, нежели двое ее знаменитых соотечественников — Евтушенко и Вознесенский. Ее стихи, в отличие от первого, не банальны, и они менее претенциозны, нежели у второго. Истинное же превосходство над этими двумя лежит в самом веществе ее поэзии и в том, как она его обрабатывает. Сказанное, однако, не лучший способ сделать комплимент русскому поэту — во всяком случае, не в этом веке.

Подобно упомянутой розе, искусство Ахмадулиной в значительной степени интровертно и центристремительно. Интровертность эта, будучи вполне естественной, в стране, где живет автор, является еще и формой морального выживания. Личность вынуждена прибегать к этому багажу с такой частотой, что есть опасность впасть от него в наркотическую зависимость или, хуже того, обнаружить его однажды пустым. Ахмадулина великолепно сознает эту опасность, тем более, что она работает в строгих размерах, которые сами по себе вырабатывают определенный автоматизм и монотонность писания. Из двух вариантов — продолжать стихотворение, рискуя высокими повторами, или вовремя остановиться — она чаще (и вполне предсказуемо) предпочитает первое. И тогда читатели получают что-нибудь вроде «Сказки о дожде» или «Моей родословной». Тем не менее временами сдержанное очарование держит в узде многословную напыщенность.

Несомненная наследница лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии, Ахмадулина по природе поэт довольно нарциссический. Но ее нарциссизм проявляется прежде всего в подборе слов и в синтаксисе (что совершенно немаловажно в таком афлексичном языке, как английский). Гораздо в меньшей степени он направлен на выбор той или иной самодовольной позы — менее всего

Перевод осуществлен по тексту „Why Russian Poets?“ („Vogue“, vol. 167, № 7, July 1977, p. 112).

© Иосиф Бродский (наследники), 1997.

© Виктор Куллэ (перевод), 1997.

гражданственной. Когда, тем не менее, она оборачивается праведницей, презрение обычно нацелено против моральной неряшливости, бесчестности и дурного вкуса, непосредственно намекающих на вездесущую природу ее оппонента. Подобная разновидность критицизма есть, несомненно, игра беспроигрышная, поскольку поэт является правым, так сказать, априори: потому что поэт «лучше», чем не-поэт. В настоящее время русская публика гораздо более чувствительна к обвинениям психологического, нежели политического характера, устало принимая последнее за обратную сторону той же официальной монеты. Есть определенная доля цинизма в этой позиции; но все-таки лучше, если поэт предпочитает ее возвышению до романтического тона.

Подобное восприятие мира позволяет человеку уверенно чувствовать себя в иерархии истеблишмента. Прежде всего это относится к современной России, где интеллектуальная элита смешивается с элитой партийной бюрократии в совместном бегстве от стандартов прочей части нации. Данная ситуация в известной степени типична для любой истинной диктатуры, где тиран и карбонарий посещают вечером одну и ту же оперу; и тут легче попрекнуть кого-либо другого, нежели Ахмадулину, которая никогда не стремилась к репутации «бунтаря». Что равно печально и в справедливости, и в несправедливости, так это то, что триумф обоих выражается до известной степени в собственной машине, загородном доме, оплаченных государством поездках за границу.

Когда я пишу эти строки, Ахмадулина в сопровождении своего четвертого мужа, художника-сценографа Бориса Мессерера, совершает турне по Соединенным Штатам. Но, в отличие от упомянутых знаменитых предшественников, она не является торговым продуктом на экспорт, эдакой икрой, скорее Красной, нежели черной. И, по сравнению с ними, ее стихи переведены на английский гораздо хуже (фактически отвратительно).

Ахмадулина совершенно подлинный поэт, но она живет в государстве, которое принуждает человека овладеть искусством сокрытия собственной подлинности за такими гномическими придаточными предложениями, что в итоге личность сокращает сама себя ради конечной цели. Тем не менее, даже будучи искаженным, центростремительное сокращение их обеих, ее и ее лирической героини, лучше, чем центробежное неистовство многих коллег. Потому хотя бы, что первое продуцирует высочайшую степень лингвистической и метафорической напряженности, тогда как второе приводит к неконтрольному многословию и — цитируя Ленина — политической проституции, которая, по существу, является мужским занятием.

Белла Ахмадулина родилась в 1937 году, мрачайшем году русской истории. Одно это является подтверждением изумительной жизнеспособности русской культуры. Раннее детство Ахмадулиной совпало со второй мировой войной, ее юность — с послевоенными лишениями, духовной кастрацией и смертоносным идиотизмом сталинского правления, русские редко обращаются к психоаналитикам — и она начала писать стихи еще в школе, в начале пятидесятых. Она быстро созрела и совершенно без вреда для себя прошла через Литинститут имени Горького, превращающий соловьев в попугаев. Ее первая книга была опубликована в 1962 году и немедленно исчезла с прилавков книжных магазинов. С тех пор Ахмадулина зарабатывала себе на жизнь преимущественно переводами из грузинской поэзии (для русских писателей заниматься кавказскими республиками приблизительно то же самое, что для американских — Мексикой или Бразилией), журналистикой и внутренними рецензиями. Однажды даже снималась в кино. У нее была нормальная жизнь, состоящая из замужеств, разводов, дружб, потерь, поездок на Юг. И она писала стихи, сочетая вполне традиционные четверостишия с абсолютно сюрреалистической диалектикой образности, позволившей ей возвысить свой озноб от простуды до уровня космического беспорядка.

В стране, где публика и театр абсурда поменялись местами (стопроцентный реализм на сцене, тогда как в зале творится черт-те что), — эта разновидность восприятия обладает множественностью отголоска. Никто не позавидует женщине, пишущей стихи в России в этом столетии, потому что есть две гигантские фигуры, являющиеся каждой, взявшей перо в руки, — Марина Цветаева и Анна Ахматова. Ахмадулина открыто признается в почти парализующем для нее очаровании этих двоих и присягает им на верность. В этих исповедях и обетах легко различить ее претензию на конечное равенство. Но плата за подобное равенство оказывается чересчур высока для желающего. Есть большая доля истины в избитой фразе об искусстве, требующем жертв, и слишком мало свидетельств того, что искусство сегодня стало менее плотоядно, нежели в год рождения Беллы Ахмадулиной.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ВАДИМ СТАРК

ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДИНА МОРНА

6 апреля 1924 года в берлинской газете «Руль» некто, подписавшийся Е. К-н, сообщал о «Трагедии Господина Морна»: «Под таким названием прочел В. Сирин на очередном заседании Литературного клуба свое новое драматическое произведение — трагедию в пяти-шести актах, в пяти актах и восьми картинах». В рецензии приводятся несколько фрагментов монологов главных героев — явно по письменному тексту, который мог предоставить автору только сам Владимир Набоков. С тех пор прошли десятилетия, и вот теперь, в апреле 1997-го, трагедия впервые передается печати. Она была начата в 1923 году в Берлине и вчерне закончена в начале 1924-го в Праге, куда Набоков приезжал к матери Елене Ивановне, переселившейся с младшими детьми в Чехословакию.

Окончательно трагедия так никогда и не была завершена, она странствовала с Набоковым из страны в страну, из гитлеровской Германии 1937 года во Францию, из оккупированной Франции в Америку, где она в конце концов и осела в Библиотеке Конгресса. В годы странствий были утрачены некоторые страницы рукописи, но поскольку помимо основного текста сохранились наброски двух вариантов трагедии — четырехактного и пятиактного — появилась возможность реконструкции утраченного. Эта работа была выполнена прежде всего вдовой Набокова Верой Евсеевной; в подготовке текста к печати участвовали также проф. Серена Витале и американская издательница Набокова Эллендея Проффер.

Публикацию сопровождает прозаическое изложение замысла писателя, от которого, однако, он, как это явствует из сопоставления с основным текстом, не раз отступает. Это сопоставление представляет интерес для исследователя, давая возможность сравнить план трагедии, начальную концепцию автора с тем, что получилось в итоге.

До настоящего времени всем исследователям набоковского творчества приходилось в суждениях о трагедии довольствоваться пересказом все того же полуанонимного рецензента: «Трагедия Господина Морна — трагедия короля, который, подравшись инкогнито на дуэли / la courte raille [по жребию, букв. — по короткой соломинке — фр.] с мужем возлюбленной, принужден был застрелиться, но вместо этого после страшных колебаний решает бросить царство. Вместо покоя бывшего короля встречают — душевное смятение, измена Мидии, его возлюбленной, чудовищный мятеж, охвативший страну, и, наконец, выстрел прежнего соперника, наступшего Господина Морна в его уединении. Раненный в голову Морн оправляется и, уверив себя, что теперь он выполнил дуэльный долг, решает вернуться на царство. Романтическим блеском окружено его воскресение, — но слишком много зла наделал его побег, — и в мгновение наибольшей напряженности блеска и счастья он кончает самоубийством».

В это время Сирин—Набоков был автором двух сборников стихотворений и нескольких рассказов. Замысел трагедии много объемнее этих ранних опытов, но не противоречит им, например, строчкам из первого сборника 1916 года «Стихи»:

Ты пойми... Разглядеть я стараюсь
Очертания рая во мгле,
Но к заветным цветам устремляюсь,
Как пчела на оконном стекле.

В этой строфе уже заключена звучащая в трагедии лирическая тема Набокова, многие сформулированная, и может быть, лучше других, Ниной Берберовой: «Эта тема появилась намеком еще в «Машеньке», прошла через «Защиту Лужина», выросла в «Подвиге», где изгнанничество и поиски потерянного рая, иначе говоря — невозможность возвращения рая, дали толчок к возникновению символической Зоорландии, воплощенной позже в «Других берегах», иронически поданной в «Пнине» и музыкально-лирически осмысленной в «Даре». Преображенная, она, эта тема, держала в единстве «Приглашение на казнь» и наконец, пройдя через первые два романа Набокова, написанные по-английски, и «Лолиту», прогремела на страницах «Бледного огня» <...> «Бледный огонь» вышел сам из неоконченного, еще русского романа Набокова «Solus Rex», первые главы которого были напечатаны <...> в 1940 году. Король, или псевдокороль, лишенный своего царства, уже там возник как поверженный изгнанник рая, куда возврата ему нет».

И вот перед нами текст, предшествующий всем романам Набокова, текст о короле, «лишенном своего царства». Память об утраченном прошлом, о реальном Петербурге набоковского детства пронизывает трагедию, память о «столице этой стройной и беспечной».

© Вадим Старк, 1997.

Редакция благодарит Д. В. Набокова, предоставившего нам возможность опубликовать «Трагедию Господина Морна», а также Серену Витале и Эллендею Проффер, подготовивших рукопись к печати. Нами внесены в текст небольшие уточнения и исключен прозаический пересказ отсутствующих у В. В. Набокова сцен.

С набоковскими стихами о Петербурге переключаются описания королевской столицы в трагедии:

...высокие дома, сады, статуи
на перекрестках, пристани, суда
на судорожной влаге!..

И в первом, сирийском романе «Машенька» на берлинских бульварах «блуждал призраком русского бульвара», и в последнем, «Даре», расстояние между улицами мерится, как между Пушкинской и Гоголя в Петербурге. Так призрачный Иностранец, перемещенный в измышленную столицу, неожиданно являясь и так же неожиданно исчезая по ходу действия, представляется «незаконной тенью» автора:

Я нахожу в ней призрачное сходство
с моим далеким городом родным,
то сходство, что бывает между правдой
и вымыслом возвышенным...

Я поражен ее простором, чистым,
необычайным воздухом ее:
в нем музыка особенно звучит;
дома, мосты и каменные арки,
все очертанья зодческие — в нем
безмерны, легки <е>, как переход
счастливейшего вздоха в тишину
высокую...

Приневская столица, призрачное создание Петра I, проступает за чертами Сирийным умышленного города. Так же как легенда о короле ассоциируется в трагедии с петровским мифом.

Мотив двойничества и подмены, столь определяющий стилистику набоковских романов, впервые резко выявлен в «Трагедии Господина Морна». Греза в ней перепутана с реальностью, сказка с исторической былью:

Да что ты! В детских сказках, ты не помнишь?
Виденья... бомбы... церкви... золотые
царевичи... Бунтовщики в плащах...
метели...

Как во всех последующих творениях писателя, образы и видения его детства рассыпаны по тексту трагедии. Так мостик, переброшенный над оврагом в Рождествено, память первых свиданий в «райском саду», повисает в сне Эллы, томящейся любовью к поэту Клиану:

Совсем не так, как в песнях... Этой ночью
мне чудилось: я новый белый мостик,
сосновый, кажется, в слезах смолы —
легко так перекинутый над бездной...

Линия Эллы определена автором в черновых пояснениях: «1. Легкая девичья душа, цепкая, как цветень, летит к человеку, много испытывавшему, страстному и смелому (картина 1, действие I). 2. Борьба между воздушным влечением этим и влечением другим — острой, несладкой страстью к грубому красивому мужчине с крикливой душой (картина 2, действие I). 3. Мечтательное влечение углубляется, переходит в жертвенную любовь при виде чужого незаслуженного страдания (картина 3, действие I)».

В третьем пункте этого наброска характеристики Эллы — явная переключка со знаменитой репликой Отелло: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним».

В «Трагедии Господина Морна» шекспировский фон, подчеркивая высоту и существенность сценического действия, перестает быть только фоном, он сюжетно значим. Так, один из ведущих персонажей, бежавший с каторги бунтарь Ганус, гримируется под Отелло, чтобы проникнуть в свой дом, где инспирирует любовь к себе собственной жены — не как к мужу, но как к новому Отелло. Реальность пасует перед мнимостью — типичный в дальнейшем набоковский прием. Элла с Ганусом включается в стихию игры, в которую по большому счету вступают все действующие лица трагедии. Ее исход предопределен подключенностью действия к механизму шекспировских трагедий.

Другой литературный фон, выявляемый ассоциативным цитированием, прием традиционно набоковский, — это маленькие трагедии Пушкина, прежде всего «Пир во время чумы». В кульминационном монологе Морна в 1-й сцене III акта парафразируются слова из песни Председателя «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю...»:

...О, если б можно было
не так, не так, а на виду у мира,
в горячем урагане боевом,
под гром копыт, на потном скакуне, —
чтоб встретить смерть бессмертным восклицаньем...

Пушкин писал «Пир во время чумы», запертый холерой в Болдине, Набоков — в Берлине и Праге, исторгнутый революционной катастрофой из России. Первое слово, произнесенное в трагедии, — это слово «сон», дважды повторенное и прослоенное другим — «лихорадка»: «Сон, лихорадка, сон». Эти слова как бы программируют действие — от волшебного сна, прерванного лихорадкой мятежа, к новому погружению в идеальный сон.

Замкнутость в круговерти приема в своем совершенном развитии представлена последующей прозой Набокова. Возможно ли вернуть прошлое, вернуться в прерванный сон — вот вопрос, на который всем, что будет еще написано, отвечает Набоков, в том числе стихами, которые можно было бы поставить эпиграфом трагедии:

Бессмертно все, что неозвратно,
и в этой вечности обратной
блаженство гордое души.

Это та необратимость, которую потом ощутит герой рассказа «Посещение музея», оказавшийся вдруг во «всамделишной, ему заказанной России». Лишь в «снах, что странникам даны / на чужбине ночью долгой» происходит претворение реальности в блаженную обратную вечность.

Слова о сне, перемежающемся лихорадкой, принадлежат в трагедии вождю мятежников, чьим монологом она открывается, Тременсу, подверженному «трепетному недугу» разрушителя. Его имя производится от латинских *tremendus* (внушающий трепет) и *tremulus* (дрожажий или производящий в трепет). Многосмысловая, разноязычная игра с именами своих героев начата Набоковым именно в этой трагедии.

Жизнь художника — в его воображении, и в этом смысле его судьба — в судьбе его «приемов», она зависит от судьбы самого искусства и несовместима с завистью к его творцам. Это тоже пушкинская проблематика, проблематика «Моцарта и Сальери».

Созерцая одно из чужих творений, Морн мечтает уйти в него, подобно тому как в «Других берегах» автор уходит «с подушки в картину, в зачарованный лес»:

Смотри: зеленый луг,
а там, за ним, чернеет маслянисто
еловый бор, — и золотом косым
пронизаны два облака... а время
уж к вечеру... и в воздухе, пожалуй,
церковный звон... толчется мошкара...
Уйти бы — а? — туда, в картину эту,
в задумчивые краски травяные,
воздушные...

Этот пример подтверждает истинность сказанных позже слов Владислава Ходасевича: «Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника — вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях». Небезынтересно в связи с этим, что одним из импульсов для создания образа монарха-творца и покровителя искусств, инкогнито бродящего по городу, прислушивающегося к тому, что говорят в народе о нем и его правлении, послужил для Набокова, жившего в ту пору в Берлине, миф о короле Фридрихе II Великом. Легендарная биография короля-музыканта, покровителя Вольтера, была закреплена в германском сознании серией живописных полотен Менцеля, многократно репродуцированных. Эти популярные картины изображали короля, путешествующего пешком и в карете, пребывающего с простолюдными в городском трактире или играющего на флейте, которой внимает Вольтер. Набоков вспоминал в «Других берегах» «пресловутую картину Менцеля, которая преследовала меня, эмигранта, из одного пансиона в другой». Набоков устами Тременса как будто подтверждает легенду о короле Фридрихе, столь живучую и любезную берлинцам:

Король, король, король!
Им все полно: людские души, воздух,
и ходит слух, что в тучах на рассвете
играет герб его, а не заря.

Однако даже Мидия, возлюбленная Морна, не подозревает о его королевском сане, предполагая в нем поэта. Непонимание и, в конце концов, измена своему избраннику, художнику, даже если он художником как таковым не является, — тема, в разных вариациях звучащая едва ли не во всех романах Набокова.

Острога этого ведущего мотива трагедии соотносима с личной любовной драмой, пережитой Набоковым в 1923 году, — разрывом со Светланой Зиверт, отозвавшимся в лирике циклом стихотворений. Очевиден и более ранний слой авторских аллюзий — воспоминаний о первой любви. Как у Машеньки в еще не написанном романе, как у реальной, оставшейся в России Валентины, у Мидии, возлюбленной Морна, глаза «какие-то атласные, слегка раскосые...». Все перемешалось в трагедии, которой нет конца. Воспоминания утраченного, переживание настоящего, порхающие бабочки, литературные игры, автоцитаты. Золотой пегушок из пушкинской сказки, предвещающий опасность, оборачивается молчаливым попугаем, «палач в шюртуке» предсказывает господина Пьера, подземный ход из королевского дворца уже, кажется, выводит на театральные подмостки Кинбота из «Бледного огня» (само его имя означает — «цареубийца»), а собственные набоковские стихи «Дом сожжен и вырублены рощи» откликаются в трагедии словами: «Мой дом сожжен...». Наконец, безымянный король обретает свое достоинство, свое утраченное «Я» в акте самоубийства, явив миру Господина Морна, подобно тому как Лужин обретает в последнем полете свое имя. Морн должен в смерти обрести бессмертие, которое ему предречено было еще в первом акте.

Воскресшая как бы из небытия трагедия Набокова вдруг высветила то, что, может быть, ее создатель и не хотел демонстрировать читателю, черновик его будущего мира, того литературного поля, жатву с которого писатель будет собирать всю жизнь.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ТРАГЕДИЯ ГОСПОДИНА МОРНА

АКТ I

Сцена I

Комната. Шторы опущены. Пылает камин. В кресле у огня, закутанный в пятнистый плед, дремлет Т р е м е н с. Он тяжело просыпается.

Тременс

Сон, лихорадка, сон; глухие смены
двух часовых, стоящих у ворот
моей бессильной жизни...

На стенах
цветочные узоры образуют
насмешливые лица; не огнем,
а холодом змеиным на меня
шипит камин горящий... Сердце, сердце,
запопыхай! Изыди, змий озноба!..
Бессилен я... Но, сердце, как хотел бы
я передать мой трепетный недуг
столице этой стройной и беспечной,
чтоб площадь королевская потела,
пылала бы, как вот мое чело;
чтоб холодели улицы босые,
чтоб сотрясались в воздухе свистящем
высокие дома, сады, статуи
на перекрестках, пристани, суда
на судорожной влаге!..

(Зовет.)

Элла!.. Элла!..

Входит Э л л а, нарядно причесанная, но в халатике.

Тременс

Портвейна дай и склянку, ту, направо,
с зеленым ярлыком...

Так что же, едешь
плясать?

Элла *(открывает графин)*

Да.

Тременс

Твой Клиян там будет?

Элла

Будет.

Тременс

Любовь?

Элла (*садится на ручку кресла*)

Не знаю... Странно это все...
Совсем не так, как в песнях... Этой ночью
мне чудилось: я — новый белый мостик,
сосновый, кажется, в слезах смолы —
легко так перекинутый над бездной...
И вот я жду. Но не шагов пугливых,
нет, — жаждал мостик сладко поддаваться,
мучительно хрустеть под грубым громом
слепых копыт... Ждала... И вот внезапно
увидела: ко мне, ко мне, — пылая,
рыдая, — мчится облик Минотавра,
с широкой грудью и с лицом Клияна!
Блаженно поддалась я и — проснулась...

Тременс

Я понял, Элла... Что же, мне приятно:
то кровь моя воскликнула в тебе,
кровь жадная...

Элла (*готовит лекарство*)

Кап, кап... пять, шесть... кап... семь... Довольно?

Тременс

Да. Одевайся, поезжай... Уж время...
Стой, помешай в камине...

Элла

Угли, угли,

Румяные сердечки... Чур — гореть!

(*Смотрится в зеркало.*)

Я хорошо причесана? А платье
надену газовое, золотое.
Так я пойду...

(*Пошла, остановилась.*)

...Ах, мне Клиян намедни
стихи принес; он так смешно поет
свои стихи! Чуть раздувая ноздри,
прикрыв глаза, вот так, смотри — ладонью
поглаживая воздух, как собачку...

(*Смеется, уходит.*)

Тременс

Кровь жадная... А мать ее была
доверчивая, нежная такая...
Да, нежная и цепкая, как цветень,
летающий по ветру — ко мне на грудь...
Прочь, солнечный пушок!.. Спасибо, смерть,
что от меня взяла ты эту нежность:
свободен я, свободен и безумен...
Еще не раз, услужливая смерть,
столкуемся... О, я тебя pošлю
вон в эту ночь, в те огненные окна
над темными сугробами — в дома,
где пляшет, вьется жизнь... Но надо ждать...
Еще не время... Надо ждать.

Задремал было. Стук в дверь.

Тременс (*встрепенувшись*)
Войдите!

Слуга
Там, сударь, человек какой-то — темный,
оборванный — вас хочет видеть...

Тременс
Имя!

Слуга
Не говорит.

Тременс
Впусти.

Слуга вышел. В открытую дверь вошел человек,
остановился на пороге.

Тременс
Что вам угодно?

Человек (*медленно усмехнувшись*)
...и на плечах все тот же пестрый плед.

Тременс (*всматривается*)
Позвольте... Муть в глазах... но — узнаю,
но узнаю... Да, точно... Ты, ты? Ганус?

Ганус
Не ожидал? Мой друг, мой вождь, мой Тременс,
не ожидал?..

Тременс
Четыре года, Ганус...

Ганус
Четыре года? Каменные глыбы —
не годы! Камни, каторга, тоска...
И вот — неописуемое бегство!..
Скажи мне, что жена моя — Мидия?..

Тременс
Жива, жива... Да, узнаю я друга.
Все тот же Ганус, легкий, как огонь,
все та же страстность в речи и в движеньях...
Так ты бежал? А что же... остальные?

Ганус
Я вырвался, они — еще томятся...
Я, знаешь ли, к тебе — как ветер, сразу,
еще не побывал я дома... Значит,
ты говоришь, Мидия...

Тременс
Слушай, Ганус,
мне нужно объяснить тебе... Ведь странно,
что главный вождь мятежников... Нет, нет,
не прерывай! Ведь это, правда, странно,
что смею я на воле быть, когда
я знаю, что страдают в черной ссылке
мои друзья? Ведь я живу, как прежде;
меня молва не именует; я
все тот же вождь извилистый и тайный...
Но, право же, я сделал все, чтоб с вами
гореть в аду; когда вас всех схватили,

я, неподкупный, написал донос
на Тременса... Прошло два дня; на третий
мне был ответ. Какой? А вот послушай.
Был, помню, вечер ветренный и тусклый.
Свет зажигать мне было лень. Смеркалось.
Я тут сидел и зыблился в ознобе,
как отраженье в проруби. Из школы
еще не возвращалась Элла. Вдруг стучат;
и входит человек: лица не видно
в потемках, голос глуховатый, тоже
как бы подернут темнотой... Ты, Ганус,
не слушаешь!..

Ганус

Мой друг, мой добрый друг,
ты мне потом расскажешь. Я взволнован,
я не слежу. Мне хочется забыть,
забыть все это: дым бесед мятежных,
ночные подворотни... Посоветуй,
что делать мне: идти ль сейчас к Мидии
иль подождать? Ах, не сердись! не надо!..
Ты — продолжай!..

Тременс

Пойми же, Ганус, должен
я объяснить! Есть вещи поважнее
земной любви...

Так этот незнакомец...

Ганус

Рассказывай...

Тременс

...был очень странен. Тихо
он подошел: «Король письмо прочел
и за него благодарит», — сказал он,
перчатку сняв. И, кажется, улыбка
скользнула по туманному лицу.
«Да, — продолжал посланец, театрально
перчаткою похлопывая, — вы
крамольник умный, а король карает
одних глупцов; отсюда вывод, вызов:
гуляй, магнит, и собирай, магнит,
рассеянные иглы душ мятежных.
А соберешь — подчистим, и опять —
гуляй, блистай, притягивай...» Ты, Ганус,
не слушаешь...

Ганус

Напротив, друг, напротив...
Что было дальше?

Тременс

Ничего. Он вышел,
спокойно поклонившись. Долго я
глядел на дверь. С тех пор бешусь я в страстном
бездействии... С тех пор я жду; упорно
жду промаха от напряженной власти,
чтоб ринуться... Четыре года жду.
Мне снятся сны громадные... Послушай,
срок близится! Послушай, сталь живая,
пристанешь ли опять ко мне?..

Ганус

Не знаю...
Не думаю... Я, видишь ли... Но, Тременс,

ты не сказал мне про мою Мидию!
Что делает она?..

Тременс

Она? Блудит.

Ганус

Как смеешь, Тременс! Я отвык, признаться,
от твоего кощунственного слога,
и я не допущу...

В дверях незаметно появилась Элла.

Тременс

...В другое время
ты рассмеялся бы... Мой твердый, ясный,
свободный мой помощник нежен стал,
как девушка стареющая...

Ганус

Тременс,
прости меня, что шутки я не понял.
Но ты не знаешь, ты не знаешь... Очень
измучился я... Ветер в камышах
шептал мне про измену. Я молился.
Я подкупал ползучее сомнение
воспоминаньем вынужденным, самым
крылатым, самым сокровенным, цвет свой
теряющим при перелете в слово.
И вдруг теперь...

Элла (подходя)

Конечно, он шутил!

Тременс

Подслушала?

Элла

Нет. Я давно уж знаю —
ты любишь непонятные словечки,
загадки, вот и все...

Тременс (к Ганусу)

Ты дочь мою
узнал?

Ганус

Как, неужели это — Элла?
Та девочка, что с книгою всегда
плашмя лежала вот на этой шкуре,
пока мы тут миры испепеляли?..

Элла

И вы пылали громче всех, и так
накурите, бывало, что не люди,
а будто привиденья плещут в сизых
волнах... Но как же это вы вернулись?

Ганус

Двух часовых поленом оглушил
и проплутал полгода... А теперь,
добравшись, наконец, беглец не смеет
войти в свой дом...

Элла

Я там бываю часто.

Ганус

Как хорошо...

Элла

Да, очень я дружна
с женою вашей. Мы в гостиной темной
о вашей горькой доле не однажды
с ней говорили... Правда, иногда
мне было трудно: ведь никто не знает,
что мой отец...

Ганус

Я понимаю...

Элла

Часто,
вся в тихом блеске, плакала она,
как, знаете, Мидия плачет, — молча
и не мигая... Летом мы гуляли
по городским окраинам — там, где вы
гуляли с ней... На днях она гадала,
на месяц глядя сквозь бокал вина...
Я больше вам скажу: как раз сегодня
я на вечер к ней еду, — будут танцы,
поэты... *(Указывает на Тременса.)*
Задремал, смотрите...

Ганус

Вечер —
но без меня...

Элла

Без вас?

Ганус

Я — вне закона.
Поймают — крышка... Слушайте, записку
я напишу — вы ей передадите,
а я внизу ответа подожду...

Элла *(закружившись)*

Придумала! Придумала! Как славно!
Я, видите ли, в школе театральной
учусь. Тут краски у меня, помады
семи цветов... Лицо вам так размажу,
что сам Господь в день Страшного Суда
вас не узнает! Что, хотите?

Ганус

Да...
Пожалуй, только...

Элла

Просто я скажу,
что вы актер, знакомый мой, и грима
не стерли — так он был хорош... Довольно!
Не рассуждать! Сюда садитесь, к свету.
Так, хорошо. Вы будете Отелло —
курчавый, старый, темнолицый мавр.
Я вам еще отцовский дам сюртук
и черные перчатки...

Ганус

Как занятно:
Отелло — в сюртуке!..

Элла

Сидите смирно!

Тременс (*морщась, просыпается*)
Ох... Кажется, заснул я... Что вы оба,
с ума сошли?

Элла

Иначе он не может
к жене явиться. Там ведь гости.

Тременс

Странно.
Приснилось мне, что душит короля
громадный негр...

Элла

Я думаю, в твой сон
наш разговор случайный просочился,
смешался с мыслями твоими...

Тременс

Ганус,
как полагаешь, скоро ль?.. скоро ль?..

Ганус

Что?..

Элла

Не двигайте губами, пусть король
повременит...

Тременс

Король, король, король!
Им все полно: людские души, воздух,
и ходит слух, что в тучах на рассвете
играет герб его, а не заря.
Меж тем — никто в лицо его не знает.
Он на монетах — в маске. Говорят,
среди толпы, неузнанный и зоркий,
гуляет он по городу, по рынкам.

Элла

Я видела, как ездит он в сенат
в сопровожденьи всадников. Карета
вся синим лаком лоснится. На дверце
корона, а в окошке занавеска
опущена...

Тременс

...и, думаю, внутри
нет никого. Пешком король наш ходит...
А синий блеск и кони вороные
для виду. Он обманщик, наш король!
Его бы...

Ганус

Стойте, Элла, вы мне в глаз
попали краской... Можно говорить?

Элла

Да, можете. Я поищу парик...

Ганус

Скажи мне, Тременс, непонятно мне,
чего ты хочешь? По стране скитаясь,
заметил я, что за четыре года

блистательного мира, после войн
и мятежей, страна окрепла дивно.
И это все свершил один король.
Чего ж ты хочешь? Новых потрясений?
Но почему? Власть короля, живая
и стройная, меня теперь волнует,
как музыка... Мне странно самому,
но понял я, что бунтовать — преступно.

Тременс *(медленно встает)*

Ты как сказал? Ослышался я, Ганус,
ты... каешься, жалеешь и как будто
благодаришь за наказание!

Ганус

Нет.

Скорбей сердечных, слез моей Мидии
я королю вовеки не прощу.
Но посуди: пока мы выкрикали
великие слова — о притеснениях,
о нищете и горестях народных,
за нас уже сам действовал король...

Тременс *(тяжело зашагал по комнате,
барабана на ходу по мебели)*

Постой, постой! Ужель ты правда думал,
что вот с таким упорством я работал
на благо выдуманного народа?
Чтоб всякая навозная душа,
какой-нибудь пьянчуга-золотарь,
корявый конюх мог бы наводить
на ноготки себе зеркальный лоск
и пятый палец отгибать жеманно,
когда он стряхивает сопли? Нет,
ошибся ты!..

Элла

Чуть голову направо...
каракуль натяну вам... Папа,
садись, прошу я... Ведь в глазах рябит.

Тременс

Ошибся ты! Бунты бывали, Ганус...
Уже не раз на площадях времен
сходились низколобая преступность,
посредственность и подлость... Их слова
я повторял, но разумел другое.
И мнилось мне, что сквозь слова тупые
ты чувствуешь мой истинный огонь,
и твой огонь отвечает. А ныне
он сузился, огонь твой, он ушел,
в страсть к женщине... Мне очень жаль тебя.

Ганус

Чего ж ты хочешь? Элла, не мешайте
мне говорить...

Тременс

Ты видел при луне
в ночь ветреную тени от развалин?
Вот красота предельная, — и к ней
веду я мир.

Элла

Не возражайте... Смирно!..
Сожмите губы. Черточку одну

высокомерья... Так. Кармином ноздри
снутри — нет, не чихайте! Страсть в ноздрах.
Они теперь у вас, как у арабских
коней. Вот так. Прошу молчать. К тому же
отец мой совершенно прав.

Тременс

Ты скажешь:
король — высокий чародей. Согласен.
Набухли солнцем житницы тугие,
доступно всем наук великолепье,
труд облегчен игрою сил сокрытых,
и воздух чист в поющих мастерских —
согласен я. Но отчего мы вечно
хотим расти, хотим взбираться в гору,
от единицы к тысяче, когда
наклонный путь — к нулю от единицы —
быстрей и слаще? Жизнь сама пример,
она несется опрометью к праху,
все истребляет на пути своем:
сперва перегрызает пуповину,
потом плоды и птиц рвет на клочки,
и сердце бьет снутри копытом жадным,
пока нам грудь не выбьет... А поэт,
что мысль свою на звуки разбивает?
А девушка, что молит об ударе
мужской любви? Все, Ганус, разрушенье.
И чем быстрее оно, тем слаще, слаще...

Элла

Теперь сюртук, перчатки — и готово!
Отелло, право, я довольна вами...
(Декламирует.)
«Но все же я тебя боюсь. Как смерть,
бываешь страшен ты, когда глазами
вращаешь так. Зачем бы мне бояться, —
не знаю я: вины своей не знаю,
и все же чувствую, что я боюсь...»
А сапоги потерты, да уж ладно...

Ганус

Спасибо, Дездемона...
(Смотрится в зеркало.)
Вот каков я!
Давно, давно... Мидия... маскарад...
огни, духи... скорее, ах, скорее!
Поторопитесь, Элла!

Элла

Едем, едем...

Тременс

Так ты решил мне изменить, мой друг?

Ганус

Не надо, Тременс! Как-нибудь потом
поговорим... Сейчас мне трудно спорить...
Быть может, ты и прав. Прощай же, милый...
Ты понимаешь...

Элла

Я вернусь не поздно...

Тременс

Иди. иди. Кляня давно клянет
тебя, себя и остальное. Ганус,
не забывай...

Ганус

Скорей, скорее, Элла...

Уходят вместе.

Тременс

Так мы одни с тобою, змий озноба?
Ушли они — мой выскользнувший раб
и бедная кружащаяся Элла...
Да, утомленный и простейшей страстью
охваченный, свое призванье Ганус
как будто позабыл... Но почему-то
сдается мне, что скрыта в нем та искра,
та запятая алая заразы,
которая по всей моей стране
распространил пожар и холод чудной,
мучительной болезни: мятежи
смертельные; глухое разрушение;
блаженство; пустота; небытие.

Занавес

Сцена II

Вечер у Мидии. Гостиная; налево проход в залу.
Освещенная ниша направо у высокого окна. Несколько гостей.

Первый гость

Морн говорит, — хоть сам он не поэт, —
«Должно быть так: в мелькании дел дневных
нежданно, при случайном сочетаньи
луча и тайны, чувствуешь в себе
божественное счастье зачатья —
схватило и прошло; но знает муза,
что в тихий час, в ночном уединеньи,
забьется стих и с языка слетит
огнем и лепестком...»

Клиян

Мне не случалось
так чувствовать... Я сам творю иначе:
с упорством, с отвращеньем, мокрой тряпкой
обвязываю голову... Быть может,
поэтому и гений я...

Оба проходят.

Иностранец

Кто этот —
похожий на коня?

Второй гость

Поэт Клиян.

Иностранец

Искусный?

Второй гость

Тсс... Он слушает...

Иностранец

А тот —
серебряный, со светлыми глазами, —
что говорит в дверях с хозяйкой дома?

Второй гость

Не знаете? Вы рядом с ним сидели
за ужином. Беспечный Дандилио,
седой любитель старины.

Мидия *(к старику)*

Так как же?

Ведь это грех: Морн, Морн и только Морн.
И кровь поет...

Дандилио

Нет на земле греха.
Люби, гори — все нужно, все прекрасно...
Часы огня, часы любви из жизни
выхватывай, как под водою раб
хватает раковины — слепо, жадно:
нет времени расклеить створки, выбрать
больную, с опухолью драгоценной...
Блеснуло, подвернулось, так хватай
горстями что попало, как попало,
чтоб в самый миг, как лопается сердце,
пятою судорожно оттолкнуться
и вывалить, шатаясь и дыша,
сокровища на солнечную сушу
к ногам Творца — Он разберет, Он знает...
Пускай пусты разломанные створки,
зато <гудит> все море в перламутре.
А кто искал лишь жемчуг, отстраняя
за раковиной раковину, тот
придет к Творцу, к Хозяину, с пустыми
руками — и окажется в раю
глухонемым...

Иностранец *(подходя)*

Мне в детстве часто снился
ваш голос...

Дандилио

Право, никогда не помню,
кому я снился. Но улыбку вашу
я помню. Все хотелось мне спросить вас,
учтивый путешественник: откуда
приехали?

Иностранец

Приехал я из Века
Двадцатого, из северной страны,
зовущейся... *(Шепчет.)*

Мидия

Как? Я такой не знаю...

Дандилио

Да что ты! В детских сказках, ты не помнишь?
Виденья... бомбы... церкви... золотые
царевичи... Бунтовщики в плащах...
метели...

Мидия

Но я думала, она
не существует?

Иностранец

Может быть. Я в грезу
вошел, а вы уверены, что я

из грезы вышел... Так и быть, поверю
в столицу вашу. Завтра — сновиденьем
я назову ее...

Мидия

Она прекрасна... *(Отходит.)*

Иностранец

Я нахожу в ней призрачное сходство
с моим далеким городом родным,
то сходство, что бывает между правдой
и вымыслом возвышенным...

Второй гость

Она,
поверьте мне, прекрасней всех столиц.

Слуги разносят кофе и вино.

Иностранец (с чашкой кофе в руке)

Я поражен ее простором, чистым,
необычайным воздухом ее:
в нем музыка особенно звучит;
дома, мосты и каменные арки,
все очертанья зодческие — в нем
безмерны, легки <е>, как переход
счастливейшего вздоха в тишину
высокую... Еще я поражен
всегда веселой поступью прохожих;
отсутствием калек; певучим звуком
шагов, копыт; полетами полозьев
по белым площадям... И, говорят,
один король все это сделал...

Второй гость

Да,
один король. Ушло и не вернется
былое лихолетье. Наш король —
гигант в бауте, в огненном плаще —
престол взял приступом, и в тот же год
последняя рассыпалась волна
мятежная. Был заговор раскрыт:
отброшены участники его —
и между прочим, муж Мидии, только
не следует об этом говорить, —
на прииски далекие, откуда
их никогда не вызовет закон.
Участники, я говорю, но главный
мятежник, безымянный вождь, остался
ненайденным... С тех пор в стране покой.
Уродство, скука, кровь — все испарилось.
Ввысь тянутся прозрачные науки,
но, красоту и в прошлом признавая,
король сберег поэзию, волнение
былых веков — коней, и паруса,
и музыку старинную, живую, —
хоть вместе с тем по воздуху блуждают
сквозные, электрические птицы...

Дандилио

В былые дни летучие машины
иначе строились: взмахнет, бывало,
под гром блестящего винта, под взрывы
бензина, чайным запахом пахнёт
в пустое небо... Но позвольте, где же
наш собеседник?..

Второй гость

Я и не заметил,
как скрылся он...

Мидия (*подходит*)

Сейчас начнутся танцы...

Входит Элла и за нею Ганус.

Мидия

А вот и Элла!..

Первый гость (*второму*)

Кто же этот черный?
Страшилище какое!

Второй гость

В сюртуке,
подумайте!..

Мидия

Озарена... воздушна...
Как твой отец?

Элла

Все то же: лихорадка.
Вот — помнишь, говорила? — трагик наш...
Я упростила грим оставить... Это
Отелло...

Мидия

Очень хорошо!.. Кляян,
идите же... Скажите скрипачам,
чтоб начали...

Гости проходят в залу.

Мидия

Что ж Морн не едет?
Не понимаю... Дандилио!

Дандилио

Надо
любить и ожиданье. Ожиданье —
полет в ночи. И сразу — свет, паденье
в счастливый свет, — но нет уже полета...
А, музыка! Позвольте же вам руку
калачиком подать.

Элла и Кляян проходят.

Элла

Ты недоволен?

Кляян

Кто спутник твой? Кто этот чернорожий
твой спутник?

Элла

Безопасный лицедей,
Кляян. Ревнуешь?

Кляян

Нет. Нет. Нет. Я знаю,
ты мне верна, моя невеста... Боже!

Войти в тебя, войти бы, как в чехол
тугой и жгучий, заглянуть в твою
кровь, кости проломить, узнать, постичь,
ощупать, сжать между ладоней сущность
твою!.. Послушай, приходи ко мне!
Ждать долго до весны, до нашей свадьбы!..

Элла

Кляня, не надо... ты мне обещал...

Кляня

О, приходи! Дай мне в тебя прорваться!
Не я молю — голодный гений мой,
тобой томясь, коробится во прахе,
хрустит крылами, молит... О, пойми,
не я молю, не я молю! То — руки
ломает муза... ветер в олимпийских
садах... Зарей и кровью налились
глаза Пегаса... Элла, ты придешь?

Элла

Не спрашивай, не спрашивай. Мне страшно,
мне сладостно... Я, знаешь, белый мостик,
я — только легкий мостик над потоком...

Кляня

Так завтра — ровно в десять — твой отец
ложится рано. В десять. Да?

Проходят гости.

Иностранец

А кто же,
по-вашему, счастливей всех в столице?

Дандилио (нюхая табак)

Конечно, я... Я выработал счастье,
установил его — как положение
научное...

Первый гость

А я внесу поправку.
В столице нашей всякий так ответит:
«Конечно — я!»

Второй гость

Нет. Есть один несчастный:
тот темный, неизвестный нам крамольник,
который не был пойман. Где-нибудь
теперь живет и знает, что виновен...

Дама

Вон этот бедный негр несчастен тоже.
Всех удивить хотел он видом страшным, —
да вот никто его не замечает.
Сидит в углу Отелло мешковатый,
утрюмо пьет...

Первый гость

...и смотрит исподлобья.

Дандилио

А что Мидия думает?

Второй гость

Позвольте,
опять пропал наш Иностранец! Словно
меж нас пройдя, скользнул он за портьеру...

Мидия

Я думаю, счастливей всех король...
А, Морн!

Со смехом входит Господин Морн, за ним Эдмин.

Морн (на ходу)

Великолепные блаженны!..

Голоса

Морн! Морн!

Морн

Мидия! Здравствуйте, Мидия,
сияющая женщина! Дай руку,
Клиян, громоголосый сумасшедший,
багряная душа! А, Дандилио,
веселый одуванчик... Звуков, звуков,
мне нужно райских звуков!..

Голоса

Морн приехал, Морн!

Морн

Великолепные блаженны! Снег
какой, Мидия... Снег какой! Холодный,
как поцелуи призрака, горячий,
как слезы на ресницах... Звуков, звуков!
А это кто? Посол с Востока, что ли?

Мидия

Актер, приятель Элы.

Первый гость

Мы без вас
решить старались: кто всего счастливей
в столице нашей; думали — король;
но вы вошли: вам первенство, пожалуй...

Морн

Что счастье? Волнение крыльев звездных.
Что счастье? Снежинка на губе...
Что счастье?..

Мидия (тихо)

Послушай, отчего
так поздно ты приехал? Скоро гости
разъедутся: выходит так, как будто
нарочно мой возлюбленный приехал
к разъезду...

Морн (тихо)

Счастье мое, прости мне:
дела... Я очень занят...

Голоса

Танцы, танцы!

Морн

Позвольте, Элла, пригласить вас...

Гости проходят в залу. Остались: Дандилио и Ганус.

Дандилио

Вижу,
Отелло заскучал по Дездемоне.
О, демон в этом имени...

Ганус (*глядя вслед Морну*)

Какой
горячий господин...

Дандилио

Что делать, Ганус...

Ганус

Вы как сказали?

Дандилио

Говорю, давно ли
покинули Венецию?

Ганус

Оставьте
меня, прошу...

Дандилио проходит в залу. Ганус поник у стола.

Элла (*быстро входит*)

Здесь никого нет?

Ганус

Элла,
мне тяжело.

Элла

Что, милый?

Ганус

Я чего-то
не понимаю. Этот душный грим
мне словно сердце сводит...

Элла

Бедный мавр.

Ганус

Вы давеча мне говорили... Был я
так счастлив... Вы ведь говорили правду?

Элла

Ну, улыбнитесь... Слышите, из залы
смычки сверкают!

Ганус

Скоро ли конец?
Тяжелый, пестрый сон...

Элла

Да, скоро, скоро...

Ганус проходит в залу.

Элла (*одна*)

Как это странно... Сердце вдруг пропело:
всю жизнь отдать, чтоб этот человек
был счастлив... И какой-то легкий ветер
прошел, и вот я чувствую себя
способною на самый тихий подвиг.

Мой бедный мавр! И — глупая — зачем
я привела его с собою? Прежде
не замечала, только вот теперь,
ревнуя за него, я поняла,
что тайным звоном связаны Мидия
и быстрый Морн... Все это странно...

Дандилио (*входит, ища кого-то*)

Ты

не видела? Тут этот Иностранец
не проходил?

Элла

Не видела...

Дандилио

Чудак!

Скользнул, как тень... Мы только что вели
беседу с ним...

Элла и Дандилио проходят.

Эдмин (*подводит Мидию к стулу*)

Сегодня вам, Мидия,

не пляшется.

Мидия

А вы, как и всегда,
таинственно безмолвны — не хотите
мне рассказать, чем занят Морн весь день?

Эдмин

Не все ль равно? Делец ли он, ученый,
художник, воин, просто человек
восторженный — не все ли вам равно?

Мидия

Да сами вы чем заняты? Оставьте —
охота пожимать плечами!.. Скучно
мне с вами говорить, Эдмин.

Эдмин

Я знаю.

Мидия

Скажите мне, когда здесь Морн, один
вы сторожите под окном, а после
уходите с ним вместе... Дружба дружбой,
но это ведь...

Эдмин

Так нравится мне...

Мидия

Разве

нет женщины неведомой, с которой
вы ночи коротали бы приятней,
чем с призраком чужого счастья — в час,
когда здесь Морн?.. Вот глупый — побледнел...

Морн (*входит, вытирая лоб*)

Что счастье? Клян пронесся мимо
и от меня, как ветер, Эллу взял...

(*К Эдмину*)

Друг, прояснись! Сощурился тоскливо,
как будто собираешься чихнуть...
Поди танцуй...

Эдмин выходит.

Морн

...О, как же ты похожа
на счастье, моя Мидия! Нет,
не двигайся, не нарушай сиянья...
Мне холодно от счастья. Мы — на гребне
прилива музыкального... Пстой,
не говори. Вот этот миг — вершина
двух вечностей...

Мидия

Всего-то прокатилось
два месяца с того живого дня,
когда ко мне таинственный Эдмин
тебя привел. В тот день сквозным ударом
глубоких глаз ты покорила меня.
В них желтым светом пристальная сила
вокруг зрачка лучится... Иногда
мне кажется, ты можешь, проходя
по улицам, внушать прохожим — ровным
дыханьем глаз — что хочешь: счастье, мудрость,
сердечный жар... Вот я скажу, — не смейся:
к твоим глазам душа моя прилипла,
как в детстве прилипаешь языком
к туманному металлу, если в шутку
лизнешь его, когда мороз пылет...
Теперь скажи, чем занят ты весь день?

Морн

А у тебя глаза, — нет, покажи, —
какие-то атласные, слегка
раскосые... О, милая... Мне можно
поцеловать лучи твоих ключиц?

Мидия

Стой, осторожно, — этот черный трагик
за нами наблюдает... Скоро гости
уйдут... Ты потерпи...

Морн (смеется)

Да мне нетрудно,
ты за ночь надоешь мне...

Мидия

Не шути,
я не люблю...

Музыка смолкла. Из залы идут гости.

Дандилио (к Иностранцу)
Куда вы исчезали?

Иностранец

Я просыпался. Ветер разбудил.
Оконницу шарахнуло. С трудом
заснул опять...

Дандилио

С трудом вам здесь поверят.

Морн

А, Дандилио... Не успел я с вами поговорить... Что нового собрали? Какие гайки ржавые, какие жемчужные запястья?

Дандилио

Плохо дело: на днях я огненного попугая — громадного и сонного, с багряным пером в хвосте — нашел в одной лавчонке, где вспоминает он туннель дымящий тропической реки... Купил бы, право, да кошка у меня — не уживутся загадочные эти божества... Я каждый день хожу им любоваться: он попугай святой, не говорящий.

Первый гость (ко Второму)

Пора домой. Взгляни-ка на Мидию: мне кажется, ее улыбка — скрытый зевок.

Второй гость

Нет, подожди, несут еще вина. Попьем.

Первый гость

А стало скучновато...

Морн (открывая бутылку)

Так! Вылетай, космическая пробка, в лепные небеса! Взрывайся, пена, как хаос — бьющий, прущий... тпру... меж пальцев Творца.

Гости

За короля! За короля!

Дандилио

Вы что же, Морн? Не пьете?

Морн

Нет, конечно. Жизнь отдают за короля; а пить — зачем же пить?

Иностранец

За этот край счастливый!

Кляня

За Млечный Путь!

Дандилио

От этого вина и в голове польются звезды...

Элла

Залпом за огненного попугая!

Кляня

Элла! За наше «завтра»!

Морн

За хозяйку дома!

Ганус

Хочу спросить... Неясно мне... Что, выпить за прежнего хозяина нельзя?

Мидия (*роняет бокал*)

Так. Всё на платье.

Пауза.

Элла

Солью...

Дандилио

Есть поверье:
слезами счастья! Всякое пятно
мгновенно сходит.

Мидия (*к Элле, тихо*)

Слушай, твой актер
пьян, вероятно... (*Трет платье.*)

Морн

Я читал в одном
трактате редкостном — вот, Дандилио,
вы книгочий, — что, сотворяя мир,
Бог пошутил некстати...

Дандилио

В той же книге,
я помню, было сказано, что дому
приятен гость и нужен, как дыхание,
но ежели вошедший воздух снова
не выйдет, посинеешь и умрешь.
Поэтому, Мидия...

Мидия

Как? Так рано?

Дандилио

Пора, пора. Ждет кошка.

Мидия

Заходите...

Первый гость

И мне пора, прелестная Мидия.

Мидия

Нехорошо! Остались бы...

Элла (*к Ганусу, тихо*)

Прошу вас,
вы тоже уходите... Завтра утром
зайдете к ней... Она устала.

Ганус (*тихо*)

Я...
не понимаю?

Элла (*тихо*)

Где же радость встречи,
когда спать хочется?

Ганус (*тихо*)

Нет, я останусь.

Отходит в полутьму к круглому столу. Одновременно прощаются гости.

Иностранец (к Мидии)

Я не забуду пребывания в вашей
столице кодовской: чем сказка ближе
к действительности, тем она волшебней.
Но я боюсь чего-то... Здесь незримо
тревога зреет... В блеске, в зеркалах,
я чувствую...

Клиян

Да вы его, Мидия,
не слушайте! Он к вам попал случайно.
Хорош волшебник! Знаю достоверно —
он у купца на побегушках... возит
образчики изделий иноземных...
Не так ли? Ускользнул!

Мидия

Какой смешной...

Элла

Прощай, Мидия...

Мидия

Отчего так сухо?

Элла

Нисколько... Я немножечко устала...

Эдмин

Пойду и я... Спокойной ночи.

Мидия

Глупый!.. *(Смеется.)*

Второй гость

Прощайте. Если правда, гость — дыханье,
то выхожу отсюда, как печальный,
но кроткий вздох...

Все вышли, кроме Морна и Гануса.

Мидия (в дверях)

До будущей недели. *(Возвращается
на середину гостиной.)*

А! Наконец-то!

Морн

Тсс... Мы не одни. *(Указывает на Гануса,
сидящего незаметно.)*

Мидия (к Ганусу)

Я говорю, что вы добрее прочих
моих гостей; остались...

(Садится рядом.)

Расскажите,

вы где играли? Этот грозный грим
прекрасен... Вы давно знакомы с Эллой?
Ребенок... ветер... блеск воды... В нее
влюблен Клиян, тот — с кадыком и с гривой —
плохой поэт... Нет, это даже страшно —
совсем, совсем араб!.. Морн, перестаньте
свистеть сквозь зубы...

Морн (в другом конце комнаты)

Тут у вас часы

хорошие...

Мидия

Да... старые... Играет
в их глубине хрустальный ручеек...

Морн

Хорошие... Немного отстают,
не правда ли?

Мидия

Да, кажется... *(К Ганусу.)* А вы...
вы далеко живете?

Ганус

Близко. Рядом.

Морн *(у окна, с зевком)*

Какие звезды...

Мидия *(нервно)*

В нашем переулке,
должно быть, скользко... Снег с утра кружил...
Я на катке была сегодня... Морн,
как птица, реет по льду... Что же люстра
горит напрасно...

(На ходу, тихо, к Морну.)

Погляди — он пьян...

Морн *(тихо)*

Да... угостила Элла...

(Подходит к Ганусу.)

Очень поздно!

Пора и по домам. Пора, Отелло!
Вы слышите?

Ганус *(тяжело)*

Ну, что ж... я вас не смею
удерживать... идите...

Мидия

Морн... Мне страшно...
Он говорит так глухо... словно душит!..

Ганус *(встает и подходит)*

Довольно... голос оголю... довольно!
Ждать дольше мочи нет. Долой перчатку!
(К Мидии.)

Вот эти пальцы вам знакомы?

Мидия

Ах!..
Морн, уходите.

Ганус *(страстно)*

Здравствуй! Ты не рада?
Ведь это я — твой муж! Воскрес из мертвых!

Морн *(совершенно спокойно)*

Воистину.

Ганус

Вы здесь еще?

Мидия

Не надо!
Обоих вас прошу!..

Ганус

Проклятый фат!..

Морн

Горячий свист твоей перчатки черной
приятен мне. Отвечу тем же...

Мидия

А!..

Она бежит в глубину сцены, к нише, и распаивает рывками окно.
Морн и Ганус дерутся на кулаках.

Морн

Стол, стол смахнешь!.. Вот мельница!.. Не так
размашисто! Стол... ваза!.. Так и знал!..
Ха-ха! Не щекочи! Ха-ха!..

Мидия (*кричит в окно*)

Эдмин!

Эдмин! Эдмин!..

Морн

Ха-ха! Стекает краска!..
Так, рви ковер!.. Смелее! Не сопи,
не гакай!.. Чище, чище! Запятая
и точка!

Ганус рухнул в углу.

Морн

Олух... Развязал мне галстук.

Эдмин (*вбегает, в руке пистолет*)

Что было?

Морн

Только два удара: первый
зовется «крюк», второй — «прямая шуйца».
И между прочим, этот господин —
Мидийн муж...

Эдмин

Убит?

Морн

Какое там...
Смотри, сейчас очнется. А, с приходом!
Мой секундант к услугам вашим...
(*Замечает, что Мидия лежит в обмороке
в глубине, у окна.*)
Боже!

О, бедная моя!.. Эдмин... постой...
Да, позвони... О, бедная... Не надо,
не надо же... Ну, право... Мы играли...

Вбегают две служанки:
они и Морн ухаживают за Мидией в глубине сцены.

Ганус (*тяжело поднимается*)

Я... вызов... принимаю. Гадко... Дайте
платок мне... Что-нибудь. Как гадко...
(*Вытирает лицо.*)

Десять

шагов и первый выстрел — мой... по праву:
я — оскорбленный...

Эдмин (*оглянувшись, порывисто*)
Слушайте... постойте...
Покажется вам странно... но я должен...
просить вас... отказаться от дуэли...

Ганус
Не понимаю?..

Эдмин
Если вам угодно,
я за него под выстрел ваш... готов я...
Хотя б сейчас...

Ганус
По-видимому, я
с ума схожу.

Эдмин (*тихо и быстро*)
Так вот, нарушу слово!..
Открою вам... мне долг велит... Но вы
должны поклясться мне — своей любовью,
презрением, ненавистью, чем хотите,
что никогда вы этой страшной тайны...

Ганус
...Извольте, но к чему все это?

Эдмин
Вот,
открою вам: он — этот человек —
он... не могу!..

Ганус
Скорей!..

Эдмин
Э, будь что будет!
Он... (*Шепчет ему на ухо.*)

Ганус
Это ложь!
(*Эдмин шепчет.*)
Нет, нет... Не может быть!
О, Господи... что делать?..

Эдмин
Отказаться!
Нельзя иначе... Отказаться!..

Мидия (*к Морну в глубине*)
Радость,
не уходи...

Морн
Постой... сейчас я...

Ганус (*твердо*)
Нет!

Эдмин
Зачем же я нарушил...

Морн (*подходит*)
Что, решили?

Ганус
Решили, да. Я не гожусь в убийцы:
мы будем драться *à la courte paille*...*

Морн
Великолепно... Выход найден. Завтра
подробности решим. Спокойной ночи.
Еще могу добавить, что дуэли
не обсуждают с женщиной. Мидия
не выдержит. Молчите до конца.
Пойдем, Эдмин.

(*К Мидии.*)
Я ухожу, Мидия.
Ты будь спокойна...

Мидия
Подожди... мне страшно...
чем кончилось?

Морн
Ничем. Мы помирились.

Мидия
Послушай, увези меня отсюда!..

Морн
Твои глаза как ласточки под осень,
когда кричат они: «На юг!..» Пусты же...

Мидия
Постой, постой... смеешься ты сквозь слезы!..

Морн
Сквозь радуги, Мидия! Я так счастлив,
что счастье, сияя, через край
переливается. Прощай, Эдмин,
пойдем. Прощай. Все хорошо...

Морн и Эдмин уходят.
Пауза.

Ганус (*медленно подходит к Мидии*)
Мидия, что же это? Ах... скажи
мне что-нибудь, жена моя, блаженство
мое, безумие мое, я жду...
Не правда ли, все это — шутка, пестрый,
злой маскарад, как господин во фраке
бил крашеного мавра... Улыбнись!
Ведь я смеюсь... мне весело...

Мидия
Не знаю,
что мне сказать тебе...

Ганус
Одно лишь слово;
всему поверю я... всему поверю...

* По жребию (*фр.*).

Меня пустая ревность опьянила,
не правда ли, — как после долгой качки
вино в порту. О, что-нибудь...

Мидия

Послушай,

я объясню... Ушел ты — это помню.
Бог видел, как я тосковала. Вещи
твои со мною говорили, пахли
тобой... Болела я... Но постепенно
мое воспоминанье о тебе
теряло теплоту... Ты застывал
во мне — еще живой, уже бесплотный.
Потом ты стал прозрачным, стал каким-то
привычным призраком; и наконец,
на цыпочках, просвечивая, тихо
ушел, ушел из сердца моего...
Я думала: навеки. Я смирилась.
И сердце обновилось и зажглось.
Мне так хотелось жить, дышать, кружиться.
Забвенье подарило мне свободу...
И вдруг, теперь, вернулся ты из смерти,
и вдруг, теперь, врываешься так грубо
в тебе чужую жизнь... Не знаю, что
сказать тебе... Как с призраком ожившим
мне говорить? Я ничего не знаю...

Ганус

В последний раз я видел сквозь решетку
твое лицо. Ты подняла вуаль,
чтоб нос — комком платочка — так вот, так вот...

Мидия

Кто виноват? Зачем ушел? Зачем
бороться было — против счастья, против
огня и правды, против короля?..

Ганус

Ха-ха... Король! О, Господи... Король!..
Безумие... Безумие!..

Мидия

Мне страшно,
ты так не смейся...

Ганус

Ничего... Прошло...
Три ночи я не спал... устал немного.
Всю осень я скитался. Понимаешь,
Мидия, я бежал, не вынес кары...
Я знал бессонный шум ночной погони.
Я голодал. Я тоже не могу
сказать тебе...

Мидия

...И это для того,
чтоб выкрасить лицо себе, а после...

Ганус

Но я хотел обрадовать тебя!

Мидия

...а после быть избитым и валяться,
как пьяный шут, в углу, и все простить
обидчику, и, в шутку обратив

обиду, унижаться предо мною...
Ужасно! На, бери подушку эту,
души меня! Ведь я люблю другого!..
Души меня! Нет, только может плакать...
Довольно... Я устала... уходи...

Ганус

Прости меня, Мидия... Я не знал...
Так вышло, будто я четыре года
подслушивал у двери — и вошел,
и — никого. Уйду. Позволь мне только
видать тебя. В неделю раз — не боле.
Я буду жить у Тременса. Ты только
не уезжай...

Мидия

Оставь мои колени!
Уйди... не мучь меня... Довольно... Я
с ума сойду!..

Ганус

Прощай... Ты не сердись...
прости меня, ведь я не знал. Дай руку...
Нет, только так, пожать. Я, вероятно,
смешной — размазал грим... Ну вот...
Я ухожу... Ты ляг... Светает...
(Уходит.)

Мидия

Шут!..

Занавес

АКТ II

Комната Тременса. Тременс в той же позе, как и в I сцене I акта.
У стола сидит Ганус, рассыпает карты.

Тременс

Блаженство пустоты... Небытие...
Так буду повторять тебе, покамест
дрожащими руками не сожмешь
взрывающейся головы; покамест
твоей души не оглушу громами
моей опустошительной мечты!..
Терзаюсь я бездействием; но знаю:
моя глухая воля — как вода,
что, каплею за каплею спадая
на темя осужденного, рождает
безумие, протачивая череп
и проедавая разум; как вода,
что, каплею за каплею сквозь камень
просачиваясь в огненные недра
земные, вызывает извержение
вулкана — сумасшествие земли...
Небытие... Я, сумрак возлюбивший,
сам должен жить и жизнью быть язвимым,
чтоб людям дать усладу вечной смерти.
Но стойкая душа моя не стонет,
распята на костяном кресте
скелета человеческого, на черной,
на громовой Голгофе бытия...

Ты бледен, Ганус... Перестань же карты раскладывать, ерошить волос буйный, в лицо часам заглядывать... Чего же бояться?

Ганус

Замолчи, прошу тебя!
Без четверти... Невыносимо! Стрелки, как сгорбленные, идут; как вдовица и сирота за катафалком...

Тременс

Элла!

Лекарство!..

Ганус

Тременс... нет... пускай не входит!..
О, Господи...

Элла *(лениво входит, волооча шаль)*

Тут холодно... Не знаю,
верны ли...
(Смотрит на стенные часы.)

Тременс

А тебе-то что?

Элла

Так. Странно:
камин горит, а холодно...

Тременс

Мой холод,
мой холод, Элла! Зябну я от жизни,
но подожди — я скоро распущу
такой огонь...

Ганус

Невыносимо!.. Элла,
вы склянками звените... Ради Бога,
не надо... Что хотел сказать я? Да:
вы мне напередни обещали дать
конверт и марку...

Тременс

...С человеком в маске...

Элла

Я принесу... Тут холодно... Быть может,
мне кажется... Сегодня все зеваю...
(Уходит.)

Ганус

Ты что сказал?..

Тременс

Я говорю: на марке
изображен наш добрый...

Ганус

Тременс, Тременс,
о, если бы ты знал!.. Не то. Послушай,
нарочно Эллу я просил... Ты должен
услать ее, куда-нибудь, на час...
Они сейчас придут: решили в десять,

ведь сам ты проверял картуль... Прошу,
дай порученье ей...

Тременс

Напротив, Ганус.
Пусть учится. Пусть видит страх и смелость.
Смерть — зрелище, достойное богов

Ганус

Ты изверг, Тременс! Как же я могу
под взглядом детских глаз ее... О, Тременс,
прошу тебя!..

Тременс

Довольно. Это входит
в мой замысел. Сегодня открываю
мой небывалый праздник. Твой противник —
как бишь его? — забыл я...

Ганус

Тременс! Друг мой!
Осталось шесть минут! Я умоляю!
Они сейчас придут... Ведь Эллы... Жалко!

Тременс

...противник твой — какой-нибудь летучий,
блестящий шалопай; но если смерть
он вытянет за белое ушко
из кулака, доволен буду: меньше
одной душой на этом свете... Спать
как хочется...

Ганус

Пять, пять минут осталось!..

Тременс

Да: это час, когда я спать ложусь...

Возвращается Элла.

Элла

Берите, вот. Насилу отыскала...
Мое лицо плавает из полутьмы
навстречу мне, как смутная медуза,
а зеркало — как черная вода...
А волосы устало растрепались...
А я — невеста. Я — невеста... Ганус,
вы рады за меня?..

Ганус

Не знаю... Да,
конечно, рад...

Элла

Ведь он — поэт, он — гений,
не то что вы...

Ганус

Да, Элла...
Так... так... сейчас пробьют... пробьют мне душу...
Э, все равно!..

Элла

Мне можно вас спросить —
вы ничего мне, Ганус, не сказали, —

что было там, когда ушли мы? Ганус!
Ну, вот — молчит... Ужели на меня
вы сердитесь? Ведь, право, я не знала,
что маскарад наш маленький не выйдет...
Как мне помочь? Быть может, есть слова —
цветут они в тени высоких песен, —
я их найду. Какой надутый, глупый,
кусает губы, знать меня не хочет...
Я все пойму... Взгляните-ка... Со мною
грешно молчать. Как мне еще просить?

Ганус

Что, Элла, что вам нужно от меня?
Вам говорить угодно? О, давайте,
давайте говорить! О чем хотите!
О женщинах неверных, о поэтах,
о духах, о потерянных очках
слепой кишки, о моде, о планетах, —
шептаться, хохотать наперебой,
болтать, болтать без умолку! Ну, что же?
Я веселюсь!.. О, Господи...

Элла

Не надо...
Мне больно... Вы не можете понять.
Не надо... А! Бьет десять...

Ганус

Элла — вот —
я вам скажу... я попросить вас должен...
слушайте...

Элла

Какая карта? Чет?

Ганус

Чет... все равно... послушайте...

Элла

Восьмерка.
Я загадала. В десять ждет Клиян.
Когда пойду — все кончено. Мне вышло —
остаться...

Ганус

Нет — идите! ах, идите!
Так суждено! Поверьте мне!.. Я знаю —
любовь не ждет!..

Элла

Безвольная истома
и холодок... Любовь ли это? Впрочем,
я поступлю, как скажете...

Ганус

Идите,
скорей, скорей! — пока он не проснулся...

Элла

Нет, почему же, он позволит мне...
Отец, проснись. Я уйду.

Тременс

Ох... тяжело...
Куда же ты так поздно? Нет, останься,
ты мне нужна.

Элла (к Ганусу)
Остаться?

Ганус (тихо)
Нет, нет, нет...
я умоляю...

Элла
Вы...
Вы... жалкий.
(Уходит, накинув меховой плащ.)

Тременс
Элла! Стой! А, ну ее...

Ганус
Ушла, ушла... Дверь ухнула вниз
стеклянным громом... Ах, теперь мне легче...
(Пауза).
Одиннадцатый час... Не понимаю...

Тременс
Опаздывать — дуэльный этикет.
А может быть, он струсил.

Ганус
И другое
есть правило: не оскорблять чужого
противника...

Тременс
А я скажу тебе
вот так: душа должна бояться смерти,
как девушка любви боится. Ганус,
что чувствуешь?

Ганус
Огонь и холод мести,
и пристально гляжу в глаза кошачьи
стального страха: знает укротитель,
что только отвернется, — вспорскнет зверь.
Но, кроме страха, есть другое чувство,
угрюмо стерегущее меня...

Тременс (зевает)
Проклятая дремота...

Ганус
Чувство это
страшней всего... Вот, Тременс, — деловое —
пошлешь по почте; вот письмо к жене —
сам передашь... О, как ударит в небо,
о, как ударит!.. Смирно...

Тременс
Так. А марку
ты рассмотрел? Под пальцами всегда
я чувствую тугое горло это...
Так помоги мне, Ганус, если смерть
тебя минует... Помоги... Отыщем
неистовых наемников... Проникнем
в глухой дворец...

Ганус
Не отвлекай меня
безумным и дремотным бормотаньем.
Мне, Тременс, очень трудно...

Тременс

Сон всегдашний...
Сон сладостный... Слипаются ресницы.
Разбудишь...

Ганус

Спит. Спит... Пламенный слепец!
Открыть тебе? Открыть? О, как они
опаздывают! Это ожиданье
меня погубит... Господи!.. Открыть?
Так просто все: не встреча, не дуэль,
а западня... один короткий выстрел...
Сам Тременс это сделает, не я,
и скажет сам, что ставлю выше чести
холодный долг мятежника, и станет
благодарить... Прочь, прочь, соблазн дрожащий!
Один ответ, один ответ тебе, —
презрительный ответ: неблагородно.
А, вот — идут... О, этот смех беспечный
за дверью... Тременс! Просыпайся! Время!

Тременс

Что? А? Пришли? Кто это там смеется?
Знакомый перелив...

Входят Морн и Эдмин.

Эдмин

Позвольте вам
представить Господина Морна.

Тременс

Счастлив
вам услужить. Мы с вами не встречались?

Морн (смеется)

Не помню.

Тременс

Мне спросонья показалось...
но это все равно... А где посредник?
Тот старичок воздушный — Эллин крестный,
как звать его... вот память!

Эдмин

Дандилио
сейчас придет. Он ничего не знает.
Так лучше.

Тременс

Да, судьба слепая. Шутка
не новая. Дрема давит. Простите,
я нездоров...

Две группы: направо, у камина, Тременс и Ганус;
налево — в более темной части комнаты — Морн и Эдмин.

Ганус

Ждать... Снова ждать... Слабею,
не вынесу...

Тременс

Эх, Ганус, бедный Ганус!
Ты — зеркало томления, дохнуть бы
теплом в тебя, чтоб замутило стекло.

Вот, например: какой-то тенью теплой
соперник твой окутан. На картины
мой глядит, посвистывает тихо...
Не вижу я, но, кажется, спокойно
его лицо...

Морн (к Эдмину)

Смотри: зеленый луг,
а там, за ним, чернеет маслянисто
еловый бор, — и золотом косым
пронизаны два облака... а время
уж к вечеру... и в воздухе, пожалуй,
церковный звон... толчется мошकारа...
Уйти бы — а? — туда, в картину эту,
в задумчивые краски травяные,
воздушные...

Эдмин

Спокойствие твое —
залог бессмертья. Ты прекрасен.

Морн

Знаешь,
забавно мне: ведь я уж здесь бывал.
Забавно мне, все хочется смеяться...
Противник мой несчастный мне не смеет
в глаза глядеть... Напрасно, повторяю,
ты рассказал ему...

Эдмин

Но я полмира
хотел спасти!..

Тременс (с кресел)

Какая там картина
вам нравится? Не вижу я... Березы
над заводью?

Морн

Нет, вечер, луг зеленый...
Кто написал?

Тременс

Он умер. Кость осталась
холодная. На ней распято что-то —
лохмотье, дух... О, право, я не знаю,
зачем храню картины эти. Бросьте,
не нужно их смотреть!

Ганус

А! В дверь стучат!
Нет, человек с подносом... Тременс, Тременс,
не смейся надо мной!..

Тременс (слуге)

Поставь сюда.
На, выпей, Ганус.

Ганус

Не хочу.

Тременс

Как знаешь.
Не откажитесь, судари мои,
прошу.

Морн

Спасибо. Но скажите, Тременс,
с каких же пор писать вы перестали?

Тременс

С тех пор, как овдовел.

Морн

И вас теперь
не тянет вновь просунуть палец в пройму
палитры?

Тременс

Слушайте, мы собрались,
чтоб смерть решать, — вопрос отменно важный;
не к месту здесь цветные разговоры.
Поговорим о смерти. Вы смеетесь?
Тем лучше. Но поговорим о смерти.
Что — упоенье смерти? Это — боль,
как молния. Душа подобна зубу,
и душу Бог выкручивает — хрясь!
И кончено... Что дальше? Тошнота
немыслимая и потом — зиянье,
спирали сумасшествия — и чувство
кружащегося живчика, и тьма,
тьма, — гробовая бархатная бездна,
а в бездне...

Эдмин

Перестаньте! Это хуже,
чем о плохой картине рассуждать!
Вот. Наконец-то.

Слуга вводит **Д а н д и л и о**.

Дандилио

Добрый вечер! Ух,
как жарко тут! А мы давненько, Тременс,
не виделись — отшельником живете.
Я изумлен был вашим приглашением:
мудрец-де приглашает мотылька.
Для Эллы вот коробка глянцевитых
засахаренных слив — она их любит.
Морн, здравствуйте! Эдмин, вы дурно спите —
бледны, как ландыш... Ба! Неужто — Ганус?
Ведь мы знакомы были. Это — тайна,
не правда ли, что вы к нам воротились?
Когда вечер мы с вами... как узнал я?
Да по клейму, по синей цифре — тут —
повыше кисти: заломили руки,
и цифра обнажилась. Я заметил
и, помнится, сказал, что в Дездемоне...

Тременс

Вот вам вино, печенья... Скоро Элла
вернется... Видите, живу я тихо,
но весело. И мне налейте. Кстати,
тут вышел спор: вот эти господа
решить хотят, кому из них платить
за ужин... в честь одной плясуньи модной.
Вот если б вы...

Дандилио

Конечно! Заплачу
с охотою!

Тременс

Нет, нет, не то... Сожмите
платок и выпустите два конца, —
один с узлом...

Морн

...невидимым, конечно.
Ведь он дитя, — все объясняй ему!
Вы помните, беспечный одуванчик,
я ночью раз на уличный фонарь
вас посадил: просвечивал седой
ваш хохолок, и вы цилиндр мохнатый
старались нахлобучить на луну
и чмокали так радостно...

Дандилио

И после
в цилиндре пахло молоком. Шутник,
прощаю вам!

Ганус

Скорей же... вас просили...
ведь надо кончить...

Дандилио

Полно, полно, друже,
терпенье... Вот платок мой. Не платок,
а знамя разноцветное. Простите.
Спиною стану к обществу... Готово!

Тременс

Платить тому, кто вынет узел. Ганус,
тяги...

Ганус
Пустой!

Морн

Вам, как всегда, везет...

Ганус

Я не могу... что сделал я!.. не надо...

Тременс

Сжал голову, бормочет... Ведь не ты —
он проиграл!

Дандилио

Позвольте, что такое...
ошибся я... узла и вовсе нет,
не завязал, смотрите, вот так чудо!

Эдмин

Судьба, судьба, судьба решила так!..
Послушайтесь судьбы! Так и выходит!
Прошу вас — я прошу вас — помиритесь!
Все хорошо!..

Дандилио

...И я плачу за ужин.

Тременс

Знаток картин волнуется... Довольно
с судьбой шутить: давай сюда платок!

Дандилио

Как так — давай? Он нужен мне — чихаю, —
он в табаке, он сыроват; к тому же
простужен я.

Тременс

Э, проще мы устроим!
Вот — с картами...

Ганус (*бормочет*)

Я не могу...

Тременс

Скорей,
какая масть?

Морн

Ну что же, я люблю
цвет алый — жизнь, и розы, и рассветы...

Тременс

Показываю! Ганус, стой! вот глупый —
бух в обморок!..

Дандилио

Держите, ух, тяжелый!
Держите, Тременс, кости у меня
стеклянные. А, вот — очнулся.

Ганус

Боже,
прости меня...

Дандилио

Пойдем, пойдем... приляжем...
(*Уводит его в спальню.*)

Морн

Он рокового повторенья счастья
не вынес. Так. Восьмерка треф. Отлично.
(*К Эдмину.*) Бледнеешь, друг? Зачем? Чтоб выделять
отчетливее черный силуэт
моей судьбы? Отчаянье подчас —
тончайший живописец... Я готов.
Где пистолет?

Тременс

Пожалуйста, не здесь.
Я не люблю, чтоб в доме у меня
сорили.

Морн

Да, вы правы. Спите крепко,
почтенный Тременс. Дом мой выше. Выстрел
звучнее в нем расплещется, и завтра
заря взойдет без моего участия.
Пойдем, Эдмин. Я буду ночевать
у Цезаря.

Морн и Эдмин, первый поддерживая второго, уходят.

Тременс (*один*)

Спасибо... Мой озноб
текучею сменился теплотою...
Как хороши — предсмертная усмешка

и ответ гибели в глазах! Бодрится,
играет он... До самого актера
мне дела нет, но — странно — вот опять
сдается мне, что слышу голос этот
не в первый раз: так — вспомнится напев,
а слов к нему не вспомнишь; может статься —
их вовсе нет; одно движение мысли —
и сам напев растаял... Я доволен
сегодняшним разнообразным действием,
личинами неведомого. Так!
Доволен я, и ощущаю в жилах
живую томность, оттепель, капли...
Так! Вылезай, бубновая пятерка,
из рукава! Не знаю, как случилось,
но, жалости мгновенной повинуюсь,
я подменил ту карту, что схватил —
малиновые ромбы — той, другой,
что показал. Раз-два! Восьмерка трэф! —
пожалуйте! — и выглянула смерть
из траурного клевера на Морна!
Пока глупцы о розах говорят —
мазком ладони, перелетом пальцев
так быстрая свершается судьба.
Но никогда мой Ганус не узнает,
что я схитрил, что выпала ему,
счастливцу, смерть...

Из спальни возвращается Дандилио.

Дандилио

Ушли? А вот проститься
со мной забыли... Эта табакерка —
старинная... Три века табаку
не нюхали: теперь опять он в моде.
Желаете?

Тременс

Что с Ганусом? Припадок?

Дандилио

Так, пустяки. Приник к постели, что-то
бормочет и выбрасывает руки,
как будто ловит за края одежду
невидимых прохожих.

Тременс

Пусть — полезно.

Научится.

Дандилио

Да, всякое зерно
годится в житницу души, вы правы...

Тременс

Я разумел иначе... А, шаги
моей влюбленной Эллы! Знаю, знаю,
куда она ходила...

Входит Элла.

Элла

Дандилио!

Дандилио

Что, милая, что, легкая моя?..

Элла

Остались щепки... щепки!.. Он... Клян...
О, Господи... Не трогайте... Оставьте...
Я — липкая... Я вся холодной болью
пропитана. Ложь! Ложь! Не может быть,
чтоб это вот звалось блаженством. Смерть,
а не блаженство! Гробовою крышкой
задели душу... прищемили... больно...

Тременс

То — кровь моя. Пускай она поплачет.

Дандилио

Ну, вот... Ну, вот... Дай отодвину локон...
Жемчужины и розы на щеках,
блеск, волосы, росистые от снегу...
Ты — глупая. Все хорошо. Играя,
ребенок поцарапался — и плачет.
Жизнь обежит, шумя летучим платьем,
все комнаты, как молодая мать;
падет перед ребенком на колени,
царапинку со смехом поцелует...

Занавес

АКТ III

Сцена I

Громадный кабинет. В высоких окнах — ночь звездная.
Но сцена в темноте. Осторожно входят две фигуры.

Морн

Итак — конец. Я буду ночевать
у Цезаря!.. Итак — конец, мой милый...
В последний раз, как два цареубийцы,
мы за полночь по тайным переходам
прокрались в мой дворец... Зажги свечу.
Воск потечет — ты вставь ее прямее.
Еще одну... Так. Вместо лампы трезвой!
Теперь послушай. Я возможность смерти
предусмотрел. Вот тут, в столе, в дубовых
и малахитовых глубинах спят
мои бумаги — договоры, планы,
черновики законов... и сухие
цветы... Ключи передаю тебе.
Передаю и это завещанье,
где сказано, что в приступе видений
слепительных и сладких я решил
склониться в смерть. Пускай мою корону, —
как мяч тугой, откинутый пинком, —
поймает и сожмет в охапку юный
племянник мой, пускай седые совы —
сенаторы, что пестуют его,
моей страной повластвуют бесшумно,
покамест на престоле — только мальчик,
болтающий ногами... А народ
не должен знать. Пускай моя карета,
блистая синим лаком и гербом,
по площади и через мост, как прежде,
проносится. Я призраком пребуду.

А подрастет наследник мой — хочу,
чтоб он открыл, как умер я: он сказку
начнет со сказки. Мантия моя,
расшитая пожарами, быть может,
ему придется впору... Ты, Эдмин,
советник мой, наперсник мой тишайший,
ты светлою своею тишиной
смягчай углы, прохладой окружай
движенья власти... Понял?

Эдмин

Все исполню...

Морн

Еще одно: сегодня в час раздумья
ребяческий, но нужный мне указ
составил я — что всяк, кому удастся
бежать из ссылки, будет за отвагу
помилован...

Эдмин

Исполню все. И если б
ты намекнул одним движеньем век,
чтоб я тебе в неведомую вечность
сопутствовал...

Морн

...Зажги и эти свечи.
Пусть зеркала виденьями, ветрами
наполнятся... Сейчас вернусь. Иду я
в ту горницу, где вот четыре года
горит и дышит в бархатном гнезде
моя корона огненная; пусть
она сожмет брильянтовой болью
мне голову, чтоб с головы скатиться,
когда я навзничь...

Эдмин

...Государь мой, друг
бесценный мой!..

Морн

...Не выстрел, нет, не выстрел!
Взрыв музыки! как бы на миг открылась
дверь в небеса... А тут — какие струны
звук удлинят! Какую сказку людям
дарую!.. Знаешь, в темноте коленом
об кресло я ударился. Болит.

(Уходит.)

Эдмин *(огин)*

О, я подобен воску!.. Не забудет
мне летопись вот этого бессилья...
Виновен я... Зачем не порываюсь
его спасти?.. Встань, встань, душа моя!
Нет, вязкая дремота... Я бы мог
мольбами, убеждениями, — я знаю,
такие есть, — остановить... И что же?
Как человек во снах не может двинуть
рукою, — я не в силах и продумать
то, что сейчас случится... Вот оно —
возмездие!.. Когда, однажды, в детстве,
мне запретили к пчельнику пойти,
я в помыслах на миг себе представил
смерть матери и то, как без надзора

ем светлый мед, — а мать свою любил я
 до слез, до сердцебиенья... Вот оно —
 возмездие. Теперь я к сладким сотам
 опять прилип. Одно теперь я вижу,
 одно горит мне в сумраке: поутру
 весть об измене принесу! Как некий
 преступник, отуманенный вином,
 войду, скажу, — Мидия будет плакать...
 И слов своих не слыша, и дрожа,
 и лаской утешенья лицемерной
 к ней прикасаясь незаметно, буду
 ей лгать, дабы занять чужое место.
 Да, лгать, рассказывать — о чем? — о мнимой
 неверности того, перед которым
 мы с нею — пыль! Когда б он жить остался,
 я до конца молчал бы... Но теперь
 мой бог уйдет... Один останусь, слабый
 и жадный... Лучше смерть! О если бы
 он приказал мне умереть!.. Гори,
 безвольный воск... Дышите, зеркала,
 пыланьем погребальным...

(Зажигает свечи. Их много.)

Морн (входя обратно)

Вот корона.
 Моя корона. Капли водопадов
 на остриях... Эдмин, пора мне. Завтра
 ты созовешь сенат... объявишь... тайно...
 Прощай же... мне пора... Перед глазами
 столбы огня пронесются... Да, слушай
 последнее... пойдешь к Мидии, скажешь,
 что Морн — король... нет, не король, не так.
 Ты скажешь: умер Морн... постой... нет... скажешь —
 уехал... нет, не знаю я! Ты лучше
 сам что-нибудь придумай, — но не надо
 про короля... И очень тихо скажешь,
 и очень мягко, как умеешь... Что же
 ты плачешь так? Не надо... Встань с колен,
 встань... у тебя лопатки ходят, словно
 у женщины... Не надо плакать, милый...
 Поди... в другую комнату: когда
 услышишь выстрел — возвращайся... Полно,
 я умираю весело... прощай...
 поди... постой! Ты помнишь, как однажды
 мы из дворца во мраке пробирались,
 и часовой пальнул в меня, и ворот
 мне прострелил?.. Как мы тогда смеялись...
 Эдмин? Ушел... Один я, а кругом
 пылающие свечи, зеркала
 и ночь морозная... Светло и страшно...
 Я с совестью наедине. Итак,
 вот пистолет... старинный... шесть зарядов...
 мне одного достаточно... Эй, кто там
 над крышами? Ты, Боже? Так прости мне,
 что люди не простят! Как лучше — стоя
 иль сидя?.. Лучше — сидя. Живо. Только
 не думать!.. Хлоп — входи, обойма! Дуло —
 в грудь. Под ребро. Вот сердце. Так. Теперь
 предохранитель... Грудь в пузырьках. Дуло
 прохладно, словно лаковая трубка,
 приставленная доктором: сопит
 он, слушает... и лысина, и трубка
 в лад с грудью поднимаются...

Нет, стой!

Так люди не стреляются... Ведь нужно

осмыслить... Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
 Шесть. Шесть шагов от кресла до окна.
 Снег светится. Как вызвездило! Боже,
 дай силы мне, дай силы мне, прошу —
 дай силы мне... Вон спит моя столица,
 вся в инее, вся в синей поволоке.
 О, милая!.. Прощай, прости меня...
 Я царствовал четыре года... создал
 век счастья, век полнозвучья... Боже,
 дай силы мне... Играючи, легко
 я царствовал; являлся в черной маске
 в звенящий зал к сановникам моим,
 холодным, дряхлым... властно оживляя их —
 и снова уходил, смеясь... смеясь...
 А иногда, в заплатаанных одеждах,
 сидел я в кабаке и крикал вместе
 с румяными хмельными кучерами:
 пес под столом хвостом стучал, и девка
 меня тащила за рукав, хоть нищим
 я с виду был... Прошло четыре года,
 и вот теперь, в мой лучезарный полдень,
 я должен кинуть царство, должен прыгнуть
 с престола в смерть — о, Господи, — за то,
 что женщину пустую целовал
 и глупого ударил супостата!
 Ведь я бы мог его... О, совесть, совесть —
 холодный ангел за спиною мысли:
 мысль обернется — никого; но сзади
 он встал опять... Довольно! Должен, должен
 я умереть! О, если б можно было
 не так, не так, а на виду у мира,
 в горячем урагане боевом,
 под гром копыт, на потном скакуне, —
 чтоб встретить смерть бессмертным восклицаньем
 и проскакать с разлету через небо
 на райский двор, где слышен плеск воды,
 и серафим скребет коня Святого
 Георгия! Да, смерть тогда — восторг!..
 А тут — один я... только пламя свеч —
 тысячеокий соглядатай — смотрит
 из подозрительных зеркал... Но должен
 я умереть! Нет подвига — есть вечность
 и человек... К чему корона эта?
 Впилась в виски, проклятая! Долой!
 Так... так... катись по темному ковру,
 как колесо огня... Теперь — скорее!
 Не думать! Разом — в ледяную воду!
 Одно движенье: вогнутый курок
 нажать... одно движенье... сколько раз
 я нажимал дверные ручки, кнопки
 звонков... А вот теперь... а вот теперь...
 я не умею! Палец на курке
 слабей червя... Что царство мне? Что доблесть?
 Жить, только жить... О, Господи... Эдмин!
 (Подходит к двери; как дитя, зовет.)
 Эдмин!..

Тот входит. Морн стоит к нему спиною.

Морн
 Я не могу...
 (Пауза.)

Что ж ты стоишь,
 что смотришь на меня! Иль, может быть,

ты думаешь, что я... Послушай, вот я объясню... Эдмин... ты понимаешь... люблю ее... люблю Мидию! Душу и царство я готов отдать, чтоб только не расставаться с нею!.. Друг мой, слушай, ты не вини меня... ты не вини...

Эдмин

Мой государь, я счастлив... Ты — герой... Я не достоин даже...

Морн

Правда? Правда?..

Ну, вот... я рад... Любовь земная выше, сильнее доблести небесной... Впрочем, не любишь ты, Эдмин... понять не можешь, что человек способен сжечь миры за женщину... Так значит — решено. Беги отсюда... нет пути иного. Ведь правда же — беспечностью я правил. Беспечность — власть. Она ушла. О, как же мне царствовать, когда лукавый сам на бедной голове моей корону расплавил?.. Скроюсь... Понимаешь, я скроюсь, буду тихо доживать свой странный век, под тайные напевы воспоминаний царственных. Мидия со мною будет... Что же ты молчишь? Ведь я же прав? Мидия без меня умрет. Ты знаешь.

Эдмин

Государь мой, я

одно прошу: мучительная просьба, преступная пред родиной... пускай! Прошу тебя: возьми меня с собою...

Морн

О, как меня ты любишь, как ты любишь, мой милый!.. Я не властен отказать тебе... Я сам преступник... Слушай, помнишь, как я вступил на царство, — вышел в маске и в мантии на золотой балкон, — был ветер, пахло почему-то морем, и мантия сползала все, и сзади ты поправляла... Но что же я... Скорей, часы бегут... тут это завещанье... Как изменить?.. Что делать нам? Как быть-то? Я там пишу, что... Жги! Жги! Благо свечи горят. Скорей! А я пока иначе оставляю... Как? Ум опустел. Пером вожу, как по воде... Эдмин, не знаю. Ты посоветуй — надо нам спешить, к рассвету кончить... Что с тобой?

Эдмин

Шаги...

Сюда идут... По галерее...

Морн

Живо!

Туши огни! В окно придется! Ах, погорюпись! Я не могу ни с кем встречаться... Будь что будет... Что же взять-то?.. Да, пистолет... туши, туши... бумаги,

алмазы... так. Отпахивай! Скорее...
Плащ зацепился, — стой! Готово! Прыгай!..

На сцене темнота.
Старик в ливрее, сутулясь, входит со свечой в руке.

Старик

Никак возились тут... Горелым пахнет.
Стол не на месте... Эвона корону
куды забросили. Тьфу... тьфу... Блести...
потру... Опять же и окошко настезь.
Не дело... Дай послушаю у двери.
(Сонно пересекает сцену и слушает.)
Спит сорванец... спит государь. Ведь пятый
часок, поди... Ох, Господи Иисусе!
Вот так и ломит, так и ломит. Повар
совался с мазью, — говорит, попробуй,
помажь... Толкуй там... Очень нужно... Старость
не рожа на заборе... не замажешь...
(Бормоча, уходит.)

Занавес

Сцена II

Та же декорация, что и в предыдущей сцене: кабинет короля.
Но теперь ковер местами прорван и одно зеркало разбито.
Сидят четверо мятежников. Раннее утро.
В окне солнце, яркая оттепель.

Первый мятежник

Еще пальба у западных ворот
распахивает быстрые объята,
чтоб подхватить — то душу, то напев,
то звон стекла... Еще дома дымятся,
горбатые развалины сената,
музей монет, музей знамен, музей
старинных изваяний... Мы устали...
Ночь напролет — работа, бури... Час
уже восьмой, должно быть... Вот так утро!
Сенат пылал, как факел... Мы устали,
запутались... Куда нас Тременс мчит?

Второй мятежник

Сквозной костяк облекся в плоть и в пламя.
Он ожил. Потирает руки. Черни
радушно отпирает погреба.
Любуется пожарами... Не знаю,
не знаю, братья, что замыслил он...

Третий мятежник

Не так, не так мы думали когда-то
отчизну осчастливить... Я жалею
бессонницы изгнанья...

Первый мятежник

Он безумен!
Он приказал летучие машины
сжечь на потеху пьяным! Но нашлись
герои неизвестные, схватились
за рычаги и вовремя...

Четвертый мятежник

Вот этот приказ, что переписываю, страшен своей игривостью тигриной...

Второй мятежник

Тише...
Вот зять его...

Поспешно входит К л и я н.

Клиян

Блистательная весть!
В предместии веселая толпа
взорвала школу; ранцы и линейки
по площади рассыпаны; детей
погибло штук триста. Очень Тременс доволен.

Третий мятежник

Он... доволен! Братья, братья,
вы слышите? Доволен он!...

Клиян

Ну, что ж,
я доложу вождю, что весть моя
не очень вас порадовала... Все,
все доложу!

Второй мятежник

Мы говорим, что Тременс
мудрее нас: он знает цель свою.
Как сказано в последней вашей оде,
он — гений.

Клиян

Да. В грома моих напевов
достоин он войти. Однако... солнце...
в глазах рябит.

(Смотрит в окно.)

А вот — предатель Ганус!
Там, меж солдат, стоящих у ограды.
Смеются. Пропустили. Вон идет
по тающему снегу.

Первый мятежник *(смотрит)*

Как он бледен!
Наш прежний друг неузнаваем! Все в нем —
взгляд, губы сжатые, — как у святых,
написанных на стеклах... Говорят,
его жена сбежала...

Второй мятежник

Был любовник?

Первый мятежник

Нет, кажется.

Четвертый мятежник

По слухам, он однажды
вошел к жене, а на столе — записка,
что так и так, решила переехать
одна к родным... Клиян, что тут смешного?

Клиян

Все доложу! Вы тут плетете сплетни,
как кумушки, а Тременс полагает,
что вы работаете... Там пожары,
их нужно раздувать, а вы... скажу,
все, все скажу...

(Ганус стал в дверях.)

А! Благородный Ганус...

Желанный Ганус... Мы вас ждали... рады...
пожалуйте...

Первый мятежник

Наш Ганус...

Второй мятежник

Здравствуй, Ганус...

Третий мятежник

Ты нас не узнаешь? Твоих друзей?
Четыре года... вместе... в ссылке...

Ганус

наемники лукавого!.. Где Тременс? Прочь,
Он звал меня.

Клиян

Допрашивает. Скоро
сюда придет...

Ганус

Да он не нужен мне.
Сам приглашал, и если... нет его...

Клиян

Постойте, позову...
(Направляется к двери.)

Первый мятежник

И мы пойдем...
Не так ли, братья? Что тут оставаться...

Второй мятежник

Да, столько дел...

Третий мятежник

Клиян, мы с вами!
мне страшно... *(Тихо.)* Братья,

Четвертый мятежник

Допишу я после...
Пойду...

Третий мятежник *(тихо)*

Брат, брат, что совершаем мы...

Клиян и мятежники ушли. Ганус один.

Ганус *(оглядывается по сторонам)*

...Здесь жил герой...

Пауза.

Тременс *(входит)*

Спасибо, что пришел,
мой Ганус! Знаю, жизненной печалью

ты отуманен был. Едва ль заметил,
что с месяц — да, сегодня ровно месяц —
я обладаю пьяною страной.
Я звал тебя, чтоб ты сказал мне прямо,
чтоб объяснил... — но дай сперва счастливицу
поговорить о счастье своем!
Ты знаешь сам — всех лучше знаешь, Ганус, —
дня моего я ждал в бреду, в ознобе...
Мой день пришел — нежданно, как любовь!
Слух пламенем промчался, что в стране
нет короля... Когда и как исчез он,
кто задушил его, в какую ночь,
и как давно мертвец странною правил,
никто теперь не знает. Но народ
обмана не прощает: склеп — сенат —
злым топотом наполнился. Как пышно,
как строго умирали старики,
и как кричал — о, слаще страстной скрипки —
мальчишка, их воспитанник! Народ
мстил за обман, — я случай улучил,
чтоб польхнуться, и понял, что напрасно
я выжидал так долго: короля
и вовсе не было, — одно преданье,
волшебное и властное! Очнувшись,
чернь ворвалась сюда, и только эхо
рассыпалось по мертвому дворцу!..

Ганус

Ты звал меня.

Тременс

Ты прав, давай о деле:
в тебе я, Ганус, угадал когда-то
мне родственную огненность; тебе
я одному все помыслы доверил.
Но ты был женщиной гоним; теперь
она ушла; я спрашиваю, Ганус,
в последний раз: что, помогать мне будешь?

Ганус

Напрасно ты призвал меня...

Тременс

Обдумай,
не торопись, я срок даю...

Поспешно входит Клиян.

Клиян

Мой вождь,
там этих самых, что намедни пели
на улицах, пытаются... Никого нет,
кто б допросил... Помощников твоих —
как бы сказать — подташников...

Тременс

Ладно,
иду, иду... Ты у меня, Клиян,
ведь молодец!.. Давно известно... Кстати,
на днях я удивлю тебя: велю
повесить.

Клиян

Тременс... Вождь мой...

Тременс

Ты же, Ганус,
подумай, я прошу тебя, подумай...

Тременс и Клиян уходят.

Ганус (один)

Меня томит единственная дума:
здесь жил герой... Вот эти зеркала —
священные: они его видали...
Он тут сидел, в могучем этом кресле.
Его шаги остались во дворце,
как в памяти — смолкающая поступь
гекзаметра... Где умер он? Где выстрел
его раздался? Кто слышал? Быть может,
там — за городом, в траурной дубраве,
в снегах ночных... и бледный друг в сугробе
похоронил горячий труп... Грех, грех
немыслимый, как искупаю тебя?
Вся кровь моя благодарит за гибель
соперника и вся душа клянет
смерть короля... Мы двойственны, мы слепы, —
и трудно жить, лишь доверяя жизни:
земная жизнь — туманный перевод
с божественного подлинника: общий
понятен смысл, но нет в его словах
их первородной музыки... Что страсти?
Ошибки перевода... Что любовь?
Утраченная рифма в передаче
на несозвучный наш язык... Пора мне
за подлинник приняться!.. Мой словарь?
Одна простая книжечка с крестом
на переплете... Каменные своды
я отыщу, где отгулы молитв
и полный вздох души меня научат
произношенью жизни...

Вон в дверях
остановилась Элла, и не смотрит,
задумалась, концы перебирая
ленивой шали... Что бы ей сказать?
Тепла ей нужно. Милая. Не смотрит...

Элла (в сторону)

Вот весело!.. Я вскрыла и прочла
письмо чужое... Почерк, словно ветер,
и запах юга... Склеила опять,
как мне, шутя, показывал однажды
отец... Морн и Мидия вместе! Как же
мне дать ему? Он думает, — она
живет в глуши родимой, старосветской...
Как дать ему?..

Ганус (подходит)

Вы встали спозаранку,
я тоже... Мы теперь не часто, Элла,
встречаемся: иное торжество
совпало с вашей свадьбой...

Элла

Утро — чудо
лазурное — не утро... каплет... шепчет...
Ушел Клиян?

Ганус

Ушел... Скажите, Элла,
вы счастливы?

Элла

Что счастье? Шум крыльев,
а может быть, снежинка на губе —
вот счастье... Кто это говорил?
Не помню я... Нет, Ганус, я ошиблась,
вы знаете... Но как светло сегодня,
совсем весна! Все каплет...

Ганус

Элла, Элла,
вы думали когда-нибудь, что дочь
бунтовщика беспомощного будет
жить во дворце?

Элла

О, Ганус, я жалею
былые наши комнатки, покой,
камин, картины... Слушайте: на днях
я поняла, что мой отец безумен!
Мы даже с ним поссорились; теперь
не говорим... Я верила вначале...
Да что! Мятаж во имя мятежа
и скучен, и ужасен — как ночные
объятия без любви...

Ганус

Да, Элла, верно
вы поняли...

Элла

На днях глядели в небо
все площади... Смех, крики, гул досады...
От пламени спасаясь, летуны
со всех сторон взмывали, собирались,
как ласточки хрустальные, и тихо
скользила прочь блистающая стая.
Один отстал и замер на мгновенье
над башнею, как будто там оставил
свое гнездо, и нехотя догнал
печальных спутников, — и все они
растаяли хрустальной пылью в небе...
Я поняла, когда они исчезли,
когда в глазах заплывали — от солнца —
слепые кольца, вдруг я поняла...
что вас люблю.

Пауза. Элла смотрит в окно.

Ганус

Я вспомнил!.. Элла, Элла...
Как страшно!..

Элла

Нет, нет, нет — молчите, милый.
Гляжу на вас, гляжу в дворцовый сад,
в себя гляжу, и вот теперь я знаю,
что все одно: моя любовь и солнце
сырое, ваше бледное лицо
и яркие текучие сосульки
под крышею, янтарное пятно
на сахаре сугроба ноздреватом,
сырое солнце и моя любовь,
моя любовь...

Ганус

Я вспомнил: было десять
часов, и вы ушли, и я бы мог

вас удержать... Еще один слепой,
мгновенный грех...

Элла

Мне ничего не нужно
от вас... Я, Ганус, больше никогда
вам не скажу. — А если вот сейчас
сказала вам, так только потому,
что нынче снег такой сквозистый... Право,
все хорошо... За днями дни... А после
я буду матерью... Другие мысли
меня займут невольно. Но сейчас
ты — мой, как это солнце! Протекут
за днями дни. Как думаешь — быть может,
когда-нибудь... когда твоя печаль...

Ганус

Не спрашивайте, Элла! Не хочу
и думать о любви! Я отвечаю,
как женщина... простите. Но иным
пылаю я, иного я исполнен...
Мне снятся только строгие крыла,
прямые брови ангелов. На время
я к ним уйду — от жизни, от пожаров,
от жадных снов... Я знаю монастырь,
опутанный прохладой глициний.
Там буду жить, сквозь радужные стекла
глядеть на Бога, слушать, как меха
органа выдыхают душу мира
в торжественную вышину, и мыслить
о подвигах напрасных, о герое,
молящемся во мраке спящих миртов
среди гефсиманских светляков...

Элла

Ах, Ганус...

Забыла... вот письмо вчера пришло...
на имя моего отца, с припиской,
что это вам...

Ганус

Письмо? Мне? Покажите...

А! Так и знал! Не надо...

Элла

Значит, можно

порвать?

Ганус

Конечно.

Элла

Дайте...

Ганус

Подождите...

не знаю... этот запах... Этот почерк,
летающий опрометью в память, в душу
ко мне... Стой! Не впусу.

Элла

Ну что ж, прочтите...

Ганус

Впустить? Прочсть? Чтоб снова расклубилась
былая боль? Когда-то вы спросили,

идти ли вам... Теперь я вас спрошу,
прочеть? Прочеть?

Элла

Отвечу: нет.

Ганус

Вы правы!

Так! На клочки... И эту горсть сухих
падучих звезд сюда... Под стол... в корзину
с гербом витым... Духами пахнут руки...
Вот. Кончено.

Элла

О, как светло сегодня!..
Сквозит весна... Чирикание... Снег тает.
На черных сучьях капельки... Пойдемте,
пойдемте, Ганус, погулять... хотите?

Ганус

Да, Элла, да! Свободен я, свободен!
Пойдем!

Элла

Вы подождите здесь... Оденусь...
недолго мне...
(Уходит.)

Ганус (*один, смотрит в окно*)

А правда — хорошо;
прекрасный день! Вон голубь пролетел...
Блеск, сырость... Хорошо! Работник
забыл лопату... Как-то ей живется
там, у сестры, в далеком захолустье?
Известно ль ей о смерти... Бес лукавый,
покинь меня! Из-за тебя отчизну
я погубил... Довольно! Ненавижу
я эту женщину... Ко мне, назад,
о музыка раскаянья! Молитвы,
молитвы... Я свободен, я свободен...

Медленно возвращаются Тременс, четверо мятежников, сади — Клиян.

Первый мятежник

Будь осторожней, Тременс, не сердись,
пойми — будь осторожней! Путь опасный...
Ведь ты слышал: они под пыткой пели
о короле... все тоньше, все блаженней...
Король — мечта... король не умер в душах,
а лишь притих... Мечта сложила крылья,
мгновенье — и раскинула...

Клиян

Мой вождь,
девятый час; проснулся город, плещет...
Тебя народ на площадь призывает...

Тременс

Сейчас, сейчас...

(К Первому мятежнику.)

Так что ж ты говоришь?

Первый мятежник

Я говорю — летит, кренясь на солнце,
крылатая легенда! Детям сказку

нашептывают матери... За брагой
бродяги именуют короля...
Как ты поставишь вне закона ветер?
Ты слишком злобен, слишком беспощаден.
Опасный путь! Будь осторожней, просим,
нет ничего сильнее мечты!..

Тременс Я шею
скручу ей! Вы не смеете меня
учить! Скручу. Иль, может быть, и вам
она мила?

Второй мятежник
Ты нас не понял, Тременс,
хотели мы предупредить...

Кляня Король —
соломенное пугало.

Тременс Довольно!
Отстаньте, траурные тусы! Ганус,
ну что же, ты... обдумал?

Ганус Тременс, право,
не мучь меня... сам знаешь. Мне молитву,
мне только бы молитву...

Тременс Уходи,
и живо! Долго я терпел тебя...
Всему есть мера... Помоги, Кляня,
он дверь открыть не может, тербит...

Кляня
Позвольте, вот — к себе...

Ганус ...Но, может быть,
она меня зовет! А!
(Бросается к столу.)

Кляня Стойте... Тише...
Спасайся, Тременс, он...

Ганус Пусти! Ты только
меня не трогай, понимаешь — трогать
не надо... Где корзина? Отойдите.
Корзину!..

Тременс
Сумасшедший...

Ганус Вот... клочки...
в ладонях... серебро... о, этот почерк
стремительный!
(Читает.)
Вот... вот... «Мой веер... выслать...
замучил он»... Кто он? Кто он? Клочки

все спутаны... «Прости меня»... Не то.
Опять не то... Какой-то адрес... странно...
на юге...

Клиян

Не позвать ли стражу?

Ганус

Тременс!..
Послушай, Тременс! Я, должно быть, вижу
не так, как все... Взгляни-ка... После слов
«и я несчастна»... Это имя... Видишь?
Вот это имя... Разбираешь?

Тременс

«Марк
со мною»... Нет, не Марк... Морн, что ли? Морн...
Знакомый звук... А, вспомнил! Вот так славно!
Вот так судьба! Так этот шалопай
тебя надул? Куда? Постой...

Ганус

Морн жив,
Бог умер. Вот и все. Иду я Морна
убить.

Тременс

Постой... Нет, нет, не вырывайся...
Мне надоело... слышишь? Я тебе
о безднах говорил, об исполинах...
А ты... как смеешь ты сюда вносить
дух маскарада, лепет жизни, писк
мышинной страсти? Стой... Мне надоело,
что ставишь ты свое... томление — сердце,
червонный туз, стрелой пробитый, — выше
моих, моих грохочущих миров!
Довольно жить тебе в томлении этом!
Ревную я! Нет, подними лицо!
Гляди, гляди в глаза мне, как в могилу.
Так, значит, хочешь пособить судьбе?
Не вырывайся! Слушай-ка, ты помнишь
один веселый вечерок? Восьмерку
треф? Так узнай, что я — проклятый Тременс,
твою судьбу...

Элла (*в дверях*)

Отец, оставь его!

Тременс

...твою судьбу... жалею. Уходи.
Эй, кто-нибудь! Он ослабел — под локти!

Ганус

Прочь, воронье! Труп Морна — мой!
(*Уходит.*)

Тременс

Ты двери
закрой за ним, Клиян. Плотнее. Дует.

Второй мятежник (*тихо*)

Я говорил, что есть любовник...

Первый мятежник

Тише,
мне что-то страшно...

Третий мятежник
Как нахмурен Тременс.

Второй мятежник
Несчастный Ганус...

Четвертый мятежник
Он счастливей нас...

Клиян (громко)
Вождь! Я осмелюсь повторить. Народ
на площади собрался. Ждет тебя.

Тременс
Сам знаю... Эй, за мной, бараны! Что вы
притихли так? Живей! Я речь такую
произнесу, что завтра от столицы
останется лишь пепел. Нет, Клиян,
ты с нами не пойдешь: кадык твой слишком
открыто на веревку намекает.

Тременс и мятежники уходят. На сцене Клиян и Элла.

Клиян
Ты слышала? Отец твой славно шутит.
Люблю. Смешно.
Пауза.

Ты, Элла, в белой шляпе.
Куда-нибудь уходишь?

Элла
Никуда.
Раздумала...

Клиян
Жена моя прекрасна.
Не успеваю говорить тебе,
как ты прекрасна. Только иногда
в моих стихах...

Элла
Я их не понимаю.

За сценой крики.

Клиян
Чу! Гул толпы... Приветственный раскат!

Занавес

АКТ IV

Гостиная в южной вилле. Стеклянная дверь на террасу, в причудливый сад.

Посредине сцены накрытый стол с тремя приборами.

Ненастное весеннее утро. Мидия стоит спиной, смотрит в окно.

Где-то слуга бьет в гонг. Звуки затихли. Мидия все неподвижна.

Входит слева Эдмин с газетами.

Эдмин
Опять нет солнца... Как вы спали?

Мидия

Навзничь,
и на боку, и даже в положеньи
зародыша...

Эдмин

Мы кофе пьем в гостиной?

Мидия

Да,
как видите. В столовой мрачно.

Эдмин

Вести
еще страшнее прежних... Не газеты,
а саваны, пропитанные смертью,
могильной сыростью...

Мидия

Их промочило
у почтальона в сумке. Дождь с утра.
И темен гравий. И поникли пальмы.

Эдмин

Вот слушайте: горят окраины... толпы
разграбили музеи... жгут костры
на площадях... и пьют, и пляшут... Казни
за казнями... И в пьяную столицу
вошла чума...

Мидия

Как думаете, скоро
дождь кончится? Так скучно...

Эдмин

Между тем,
их дикий вождь... вы дочь его знавали...

Мидия

Да, кажется... не помню... Что мне гибель,
разгромы, кровь, когда я так тоскую,
что некуда деваться! Ах, Эдмин,
он бриться перестал, в халате ходит,
и сумрачен, и резок, и упрям...
Мы словно переехали из сказки
в пошлейшую действительность. Все больше
тускнеет он, сутулится, с тех пор
как тут живем, в болоте этом... Пальмы
мне, знаете, всегда напоминают
прихожие купцов богатых... Бросьте,
Эдмин, газеты... глупо... Вы со мною
всегда так сдержанны, как будто я
блудница или королева...

Эдмин

Нет же...
Я только... Вы не знаете, Мидия,
что делаете!.. Господи, о чем же
нам говорить?

Мидия

Я смех его любила:
он больше не смеется... А когда-то
казалось мне, что этот вот высокий,
веселый, быстрый человек, должно быть,

какой-нибудь художник, дивный гений,
скрывающий свои виденья ради
любви моей ревливой, — и в незнании
был для меня счастливый трепет... Ныне
я поняла, что он пустой и скучный,
что в нем мечта моя не обитает,
что он погас, что разлюбил меня...

Эдмин

Так сетовать не нужно... Кто же может
вас разлюбить? Такая вы... ну, полно,
ну, улыбнитесь же! Улыбка ваша —
движение ангела... Прошу!.. Сегодня
у вас и пальцы неподвижны... тоже
не улыбаются... Ну вот!..

Мидия

Давно ли?

Эдмин

Давно ли что, Мидия?

Мидия

Так. Занятно...

Я вас таким не видела. Нет, впрочем,
однажды я спросила вас, что толку
вам сторожить на улице...

Эдмин

Я помню,

я помню только занавеску в вашем
мучительном окне! Вы проплывали
в чужих объятьях... Я в метели плакал...

Мидия

Какой смешной... И весь растрепан... Дайте,
приглажу. Вот. Теперь смеются пальцы?
Оставьте... ах, оставь... не надо...

Эдмин

Счастье

мое... позволь мне... только губы... только
коснуться... как касаются пушка,
биеня бабочки... позволь мне... счастье...

Мидия

Да нет... постой... мы у окна... садовник...

.....

Мидия

Мой маленький... не надо так дышать...
Стой, покажи глаза. Так... ближе... ближе...
Душе бы только нежиться и плавать
в их мягкой тьме... Постой... потише... после...
Вот! Гребень покотился...

Эдмин

Жизнь моя,

любовь моя...

Мидия

Ты — маленький... Совсем,
совсем... Ты — глупый мальчик... Что, не думал,
я так умею целовать? Постой,

успеешь ты, ведь мы с тобой уедем
в какой-нибудь громадный, шумный город
и будем ужинать на крыше... Знаешь,
внизу, во тьме, весь город, весь в огнях;
прохлада, ночь... Румяный отблеск рюмки
на скатерти... И бешеный скрипач,
то скрюченный, то скрипку в вышину
взвывающий! Ты увезешь меня?
Ты увезешь? Ах... шарканье... пусти же...
он... отойди...

Входит Господин Морн, в темном халате, взъерошенный.

Морн

Ночь? Утро? Перехода
не замечаю. Утро — продолженье
бессонницы. Виски болят. Как будто
мне в голову вдавили, завинтили
чугунный куб. Сегодня выпью кофе
без молока.

(Пауза.)

Опять газеты всюду
валяются! Однако... ты невесел,
Эдмин!.. Вот удивительно: мне стоит
войти, и сразу вытянуты лица —
как тени при вечернем солнце... Странно...

Мидия

Ненастная весна...

Морн

Я виноват.

Мидия

...и новости ужасные...

Морн

И в этом
я виноват, не правда ли?

Мидия

Столица
горит. Все обезумело. Не знаю,
чем кончится... Но, говорят, не умер
король, а в подземельи замурован
крамольниками.

Морн

Э, Мидия, будет!
Я, знаешь, запрещу, чтоб приносили
газеты. Мне покоя нет от этих
догадок, слухов, новостей кровавых
и болтовни досужей. Надоело!
Передо мной, поверь, Мидия, можешь
не умничать... Скучай, томись, меняй
прически, платья, удлиняй глаза
чертою синей, в зеркало глядись, —
но умничать... Да что с тобой, Эдмин?

Эдмин *(встает из-за стола)*

Я не могу...

Морн

Что с ним? Что с ним? Куда ты?
Там на террасе сыро...

Мидия

Ты его
оставь. Я все скажу тебе. Послушай,
я тоже больше не могу. Его
я полюбила. С ним уеду. Ты
привыкнешь. Я тебе ведь не нужна.
Друг друга мы замучим. Жизнь зовет...
Мне нужно счастья...

Морн

Я понимаю,
где сахарница?... А, вот. Под салфеткой.

Мидия

Ты что ж, не хочешь слушать?..

Морн

Нет, напротив —
я слушаю... вникаю, постигаю,
чего же боле? Ты сегодня хочешь
уехать?

Мидия

Да.

Морн

Мне кажется, тебе
пора и собираться.

Мидия

Да. Ты можешь
не гнать меня.

Морн

По правилам разрывов —
через плечо еще должна ты кинуть:
«Я проклинаю день...»

Мидия

Ты не любил...
Ты не любил!.. Да, проклинать я вправе
неверный день, когда в мой тихий дом
твой смех вошел... Зачем же было...

Морн

Кстати,
скажи, Мидия, ты писала мужу
отсюда?

Мидия

Я... Я думала — не стоит
докладывать... Да, мужу написала.

Морн

Что именно? Гляди же мне в глаза.

Мидия

Так, ничего... Что я прошу прощенья,
что ты со мной, что не вернусь к нему...
что тут дожди...

Морн

И адрес свой послала?

Мидия

Да, кажется... Просила веер выслать...
там, у себя, забыла...

Морн

Ты когда же
отправила?

Мидия

Недели две тому.

Морн

Отлично...

Мидия

Я пойду... там надо... вещи...

Уходит направо.

Морн один. На террасе, сквозь стеклянную дверь
видна неподвижная спина Эдмина.

Морн

Отлично... Ганус, получив письмо,
мой долг напомнит мне. Он проберется
из марева столицы сумасшедшей,
из сказки исковерканной, сюда,
на серый юг, в мои глухие будни.
Недолго ждать. Должно быть, он в пути.
Мы встретимся опять, и, протянув
мне пистолет, он, стиснутый и бледный,
потребует, чтоб я себя убил,
и буду я готов, быть может: смерть
созреет в одиночестве...

Мне дивно...

не верится... так резко жизнь меня
покинула. И только бы не думать
о родине, — не то метаться буду
в темнице с тюфяками вместо стен
и с цифрой безумия над дверью...
Не верится... Как жить еще? Эдмин!
Поди сюда! Эдмин, ты слышишь? Руку,
дай руку мне... Мой верный друг, спасибо.

Эдмин

Что мне сказать? Не кровь — холодный стыд
течет по жилам... Чувствую: ты должен
глядеть теперь в глаза мне, как глядят
на те срамные снимки, что за грош
увидеть можно в щелку... Стыдно сердцу...

Морн

Нет, ничего... Я только изумлен...
Смерть — изумленье. В жизни иногда
нас так же изумляют: океан,
цвет облака, изгиб судьбы... Как будто
на голове стою. Все вижу так,
как, говорят, младенцы видят: пламя
свечи, концом направленное вниз...

Эдмин

Мой государь, что мне сказать тебе?
За женщину ты царство предал: дружбу
я предаю за женщину — все ту же...
Прости меня. Я только человек,
мой государь...

Морн

А я, я — Господин
Морн — вот и все; пустое место, слог
неударяемый в стихе без рифмы.

О, королю никто бы никогда
не изменил... Но — Господину Морну...
Ты уходи. Я понял — это кара.
Я не сержусь. Но уходи. Мне тяжело
с тобою говорить. Одно мгновение,
и словно в трубке стеклышки цветные
встряхнул, взглянул — и жизнь переменялась...
Прощай. Будь счастлив.

Эдмин Я вернусь к тебе,
лишь позовешь...

Морн Тебя я встречу только
в раю. Не раньше. Там, в тени оливы,
тебя представляю Бруту. Уходи...

Эдмин уходит.

Морн (один)
Так. Кончено.

Пауза.
Проходит слуга.

Морн Тут надо со стола
убрать. Живей... Заказана коляска?

Слуга
Да, сударь.

Морн Завтра утром чтоб пришел
из города цирюльник — тот, усатый,
неразговорчивый. Все.

Слуга уходит. Пауза. Морн смотрит в окно.

Морн Небо мутно.
В саду дрожат цветы... Чернеет грот
искусственный, по черному струнами
протянут дождь... Теперь одно осталось:
ждать Гануса. Душа почти готова.
Как лоснится сырая зелень... Дождь
играет, точно в старческой дремоте...
А дом проснулся... Суетсяя слуги...
Стук сундуков... Вот и она...

Входит Мидия с открытым чемоданом.

Морн Мидия,
ты счастлива?

Мидия Да. Отойди. Мне нужно
тут уложить...

Морн Знакомый чемодан:
я нес его однажды на заре.
И снег хрустел. И мы втроем спешили.

Мидия

Сюда пойдут вот эти вещи — книги,
портреты...

Морн

Это хорошо... Мидия,
ты счастлива?

Мидия

Есть поезд ровно в полдень:
я улечу в чужой чудесный город...
Бумаги бы: пожалуй, разобьется...
А это чье? твое? мое? не помню,
не помню я...

Морн

Не надо только плакать,
прошу...

Мидия

Да, да... ты прав. Прошло... не буду...
Не знала я, что так легко, покорно
меня отпустишь... Я рванула дверь...
Я думала, ты крепко держишь ручку
с той стороны... Рванула что есть сил, —
ты не держал, легко открылась дверь,
и падаю я навзничь... Понимаешь,
я падаю... в глазах темно и зыбко,
и кажется, погибну я, — опоры
не нахожу!..

Морн

С тобой Эдмин. Он — счастье...

Мидия

Я ничего не знаю!.. Только странно:
любили мы — и все ушло куда-то.
Любили мы...

Морн

Вот эти две гравюры
твои, не правда ли? И этот пес
фарфоровый.

Мидия

...Ведь странно!..

Морн

Нет, Мидия.

В гармонии нет странного. А жизнь —
громáдная гармония. Я понял.
Но, видишь ли, — лепная прихоть фриза
на портике нам иногда мешает
заметить стройность общую... Уйдешь —
забудем мы друг друга; но порою
название улицы или шарманка,
заплакавшая в сумерках, напомнят
живее и правдивее, чем может
мысль воскресить и слово передать,
то главное, что было между нами,
то главное, чего не знаем мы...
И в этот час душа почует чудом
очарованье мелочи былой,
и мы поймем, что в вечности все вечно —
мысль гения и шуточка соседа,

Тристрамово старанье колдовское
и самая летучая любовь...
Простимся же без горечи, Мидия:
когда-нибудь узнаешь, может быть,
причину несказанную моей
глухой тоски, холодного томленья...

Мидия

Мечтала я вначале, что под смехом
скрываешь тайну... Значит, тайна есть?

Морн

Открыть тебе? Поверишь ли?

Мидия

Поверю.

Морн

Так слушай вот. Когда с тобой в столице
мы виделись, я был — как бы сказать? —
волшебником, внушителем... я мысли
разгадывал... предсказывал судьбу,
хрусталь вертя; под пальцами моими
дубовый стол, как палуба, ходил,
и мертвые вздыхали, говорили
через мою гортань, и короли
минувших лет в меня всеялись... Ныне
я дар свой потерял...

Мидия

И это все?

Морн

И это все. Берешь с собою эти
тетради нот? Дай всуну, — нет, не лезут.
А эту книгу? Торопись, Мидия,
до поезда осталось меньше часу...

Мидия

Так...

Готова я...

Морн

Вот твой сундук несут.
Еще. Гроба...
(Пауза.)
Ну что ж, прощай, Мидия,
будь счастлива...

Мидия

Все кажется мне — что-то
забыла я... Скажи — ты пошутил
насчет столов вертящихся?

Морн

Не помню...
не помню... все равно... Прощай. Иди.
Он ждет тебя. Не плачь.

Оба выходят на террасу.

Мидия

Прости меня...
Любили мы — и все ушло куда-то...
Любили мы — и вот любовь замерзла,

и вот лежит, одно крыло раскинув,
поднявши лапки, — мертвый воробей
на гравии сыром... А мы любили...
летали мы...

Морн

Смотри, выходит солнце...
Не оступись — тут скользко, осторожно...
Прощай... прощай... ты помни... помни только
блеск на стволе, дождь, солнце... только это...

Пауза.

Морн на террасе один. Видно, как он медленно поворачивает лицо
слева направо, следя за уезжающей. Затем возвращается в гостиную.

Морн

Так. Кончено...

(Вытирает платком голову.)

На волосах остался
летучий дождь...

(Пауза.)

Я полюбил ее
в тот самый миг, когда у поворота
мелькнули шляпа, мокрое крыло
коляски, — и в аллее кипарисной
исчезли... Я теперь один. Конец.
Так, обманув свою судьбину, бесу
корону бросив на потеху, другу
возлюбленную уступив...

(Пауза.)

Как тихо

она по ступеням сходила, ставя
вперед все ту же ногу, — как дитя...
Стой, сердце! Жаркий, жаркий клетот, гул
встает, растет в груди... Нет! Нет! Есть способ:
глядеться в зеркало, чтоб удержать
рыданье, превращающее в жабу
лицо... А! Не могу... В пустынном доме
и с глазу на глаз с ангелом холодным
моей бессонной совести... как жить?
что делать? Боже мой...

(Плачет.)

Так... так... мне легче.

То плакал Морн; король совсем спокоен.
Мне легче... Эти слезы унесли
соринку из-под века — точку боли.
Я Гануса, пожалуй, не дождусь...
Душа растет, душа мужает, — к смерти,
что к празднику, готовится... Но втайне
пускай идут приготовления. Скоро
настанет день — я Гануса, пожалуй,
и не дождусь, — настанет, и легко
убью себя. А мыслью напряженной
не вызвать смерти; смерть сама придет.
И я нажму курок почти случайно...
Да, легче мне, — быть может, это солнце,
блестящее сквозь дождь косой... иль нежность —
сестра меньшая смерти — та, немая,
сияющая нежность, что встает,
когда навеки женщина уходит...
А эти ящики она забыла
задвинуть...

(Ходит, прибирает.)

...Книги повалились на бок,
как мысли, если вытянет печаль

и унесет одну из них: о Боге...
Рояль открыт на баркарале: звуки
нарядные она любила... Столик,
что скошенный лужок: тут был портрет
ее родных, еще кого-то, карты,
какая-то шкатулка... Все взяла...
И — словно в песне — мне остались только
вот эти розы: ржавчиною нежной
чуть тронуты их мятые края,
и в длинной вазе прелью, смертью пахнет
вода, как под старинными мостами.
Меня волнует, розы, ваша гниль
медовая... Воды вам надо свежей.
(Уходит в дверь направо.)

Сцена некоторое время пуста.
Затем — быстрый, бледный, в лохмотьях — с террасы входит Г а н у с.

Ганус

Морн... Морн... где Морн?... Тропую каменистой,
между кустов... Какой-то сад... и вот —
я у него в гостиной... Это сон.
Но до того как я проснусь... Здесь тихо...
Неужто он ушел? На что решиться?
Ждать? Боже, Боже, Боже, ты позволь мне
с ним встретиться наедине!.. Прицельюсь
и выстрелю... И конечно!.. Кто это?..
Ах, только отражение оборванца...
Я зеркала боюсь... Что делать дальше?
Рука дрожит, напрасно я вина
там выпил, в той таверне, под горою...
И шум в ушах... А может быть? Да, точно!
Шуршат шаги... Теперь скорей... Куда бы...

Прячется слева за угол шкафа, выхватив пистолет.
Возвращается Морн. Возится с цветами у стола, спиной к Ганусу.
Ганус, подавшись вперед, дрожащей рукой целится.

Морн

О, бедные... дышите, пламенейте...
Вы на любовь похожи. Для сравнений
вы созданы; недаром с первых дней
вселенной в ваших лепестках сквозила
кровь Аполлона... Муравей... Смешной:
бежит, как человек среди пожара...

Ганус целится.

З а н а в е с

АКТ V

Сцена I

Комната Дандилио. Клетка с попугаем, книги, фарфор.
В окнах — солнечный летний день. По комнате тяжело мечется К л и я н.
Слышна отдаленная стрельба.

Клиян

Как будто умолкает... Все равно:
я обречен! Ударит в мозг свинец,
как камень в грязь блестящую — раз — мысли

разбрызгаются! Если б можно было жизнь прожитую сочно отрыгнуть, прожвкать вновь и проглотить, и снова воловьим толстым языком вращать, выдавливать из этой вечной гущи былую сладость трав хрустящих, пьяных от утренней росы, и горечь листьев сиреневых! О, Боже, если б вечно смертельный ужас чувствовать! И это — блаженство, Боже! Всякий ужас значит «я ем», а выше нет блаженства! Ужас — но не покой могильный! Стон страдания — но не молчанье труп! Вот где мудрость, и нет другой! Готов я, лязгнув лирой, ее разбить, мой звучный дар утратить, стать прокаженным, ослабеть, оглохнуть, — но только помнить что-нибудь, хоть шорох ногтей, скребущих язву, — он мне слаще потусторонних песен! Я боюсь, смерть близится... тугое сердце тяжело подскакивает, как мешок в телеге, гремящей под гору, к обрыву, к бездне! Не удержать! Смерть!

Из двери справа входит Д а н д и л и о.

Дандилио

Тише, тише, тише...

Там Элла только что уснула; кровью бедняжка истекла; ребенок умер, и мать второй души лишилась — главной. Но лучше ей как будто... Только, знаешь, не лекарь я, — какие книги были, использовал, но все же...

Клиян

Дандилио,

мой добрый Дандилио! Мой прекрасный, мой светлый Дандилио!.. Не могу, я не могу... меня ведь тут поймают! Я обречен!

Дандилио

Признаться, я не ждал таких гостей; вчера меня могли бы предупредить; я клетку попугаю украсил бы: он что-то очень мрачен. Скажи, Клиян, — я Эллою был занят, не понял хорошенько, — как же это ты спасся с ней?

Клиян

Я обречен! Ужасно...

Какая ночь была! Ломились... Элла все спрашивала, где ребенок... Толпы ломились во дворец... Нас победили: пять страшных дней мы против урагана мечты народной бились; в эту ночь все рухнуло: нас по дворцу травили — меня и Тременса, еще других... Я с Эллою в руках из зала в залу, по галереям внутренним, и снова назад, и вверх, и вниз бежал и слышал гуд, выстрелы. Два раза — холодный смех Тременса... А Элла так стонала,

стонала!.. Вдруг — лоскут завесы, шелка
за ней, — рванул я: ход! Ты понимаешь, —
ход потайной...

Дандилио

Я понимаю, как же...
Он, думаю, был нужен королю,
чтоб незаметно улетать — и, после
крылатых приключений, возвращаться
к трудам своим...

Клиян

...и вот я спотыкался
в могильной тьме и шел, и шел... Внезапно —
стена: толкнул — и оказался чудом
в пустынном переулке! Только выстрел
порой стучал и разрывался воздух
по шву... Я вспомнил, что живешь ты рядом, —
и вот... к тебе... Но что же дальше делать?
Ведь оставаться у тебя безумно!
Меня найдут! Ведь вся столица знает,
что с сумасшедшим Тременсом когда-то
ты дружен был и дочь его крестил!..

Дандилио

Она слаба: еще такой прогулки
не вынесет. А где же Тременс?

Клиян

Бьется...
Не знаю, где... Он сам мне накануне
советовал, чтоб я к тебе мою
большую Элу... но ведь тут опасно,
я обречен! Пойми, — я не умею,
я не умею умирать. И поздно —
не научусь, нет времени! За мною
сейчас придут!..

Дандилио

Беги один. Успеешь.
Дам бороду поддельную, очки...
пойдешь себе.

Клиян

Ты думаешь?..

Дандилио

А хочешь —
есть у меня и маски, что носили
на масленицу в старину...

Клиян

...Да, смейся!
Ты знаешь сам, что никогда не кину
моей бессильной Элы... Вот где ужас —
не в смерти, нет, — а в том, что в кровь вселилось
какое-то рыдающее чувство,
смесь ревности неведомой и жажды
отверженной и нежности такой,
что все закаты перед нею — лужи
малярной краски, — вот какая нежность!
Никто не знал! Я — трус, гадюка, льстец,
но тут, — вот тут...

Дандилио

Друг, будет... успокойся...

Клиян

Любовь в ладони сжала сердце... держит...
не отпускает... Потяну — сожмет...
А смерть близка... но как мне оторваться
от своего же сердца? Я — не ящер,
не отращу...

Дандилио

Ты бредишь, успокойся,
тут безопасно... Улица пустынна
и солнечна... Ты где же смерть приметил?
На корешках моих уснувших книг —
улыбка. И спокоен, как виденье,
мой попугай святой.

Клиян

От этой птицы
рябит в глазах... Пойми, сейчас нагрянут —
нет выхода!..

Дандилио

Опасности не чую.
Слепая весть, повеявшая с юга,
что жив король, так опьянила души
неслыханною радостью, — столица
от казней так устала, — что, покончив
с безумцем главным, с Тременсом, едва ли
начнут искать сообщников его.

Клиян

Ты думаешь? Да, правда, светит солнце...
И выстрелы умолкли... Не открыть ли
окно, не посмотреть ли? А?

Дандилио

К тому же
есть у меня одна вещица... хочешь,
я покажу? Вот тут, в футляре мягком...
Мой талисман... Вот посмотри...

Клиян

Корона!

Дандилио

Постой, уронишь...

Клиян

Слышишь?.. Боже... Кто-то...
По лестнице... А!

Дандилио

Говорил — уронишь!

Входит Т р е м е н с.

Тременс

Гром золотой! Я тронут. Но напрасно
вы собрались меня короновать.
Поздравь, Клиян: обещано полцарства
за плешь мою!..

(К Дандилио.)

Скажи-ка, светлый старец,
как и когда тебе достался этот
кусочек сверканья?

Дандилио

Продал за червонец
один из тех, кто некогда дворец
обыскивал.

Тременс

Так, так... Давай-ка. Впору.
Но я сейчас, признаться, предпочел бы
ночной колпак. Где Элла?

Дандилио

Рядом. Спит.

Тременс

А... хорошо. Кляян, чего ты стонешь?

Кляян

Я не могу... Зачем я, Тременс, Тременс,
шел за тобой?.. Ты — смерть, ты — бездна! Оба
погибнем мы.

Тременс

Ты совершенно прав.

Кляян

Мой друг, мой вождь... Ведь ты мудрее всех.
Спаси меня — и Элу... Научи —
что делать мне?.. Мой Тременс, что мне делать?

Тременс

Что делать <мне>? Я снова зябну; снова
наложница нагая — лихорадка —
льнет к животу холодной ляжкой, спину
ладонью ледяной мне гладит, гладит...
Дай на плечи мне что-нибудь накинуть,
старик. Вот так. Да, милый мой Кляян,
я убедился — правы были наши
друзья, когда предупреждали... Кстати,
всех четверых я истребил — предать
они меня пытались... Очень нужно!
Я буду спать! Пускай солдаты сами
найдут меня.

Кляян (кричит)

А!..

Дандилио

Не кричи... не надо...
Вот. Так и знал.

Входит Элла, справа.

Тременс

Дочь, Элла, ты не бойся:
все хорошо! Кляян тут распевает
последние свои стихи...

Элла

Отец,
ты ранен? Кровь...

Тременс

Нет.

Элла

У тебя рука
опять, опять холодная... а ногти,
как будто ел ты землянику... Я
останусь, Дандилио, здесь... Прилягу,
подушку дайте... Право, лучше мне...
Всю ночь палили... мой ребенок плакал...
А где же ваша кошка, Дандилио?..

Дандилио

Шутник какой-то каменной бутылкой
хватил ее... Иначе попугая
я б не купил...

Элла

Да, огненный... Да, помню...
Мы пили за его здоровье... Ах!.. *(Смеется.)*
«...И все же я тебя боюсь... Как смерть,
бываешь страшен ты...» — откуда это?
Откуда? Нет, забыла.

Клиян

Полно... Элла...
моя любовь... Прикрой глаза...

Элла

...Ты — белый,
как свежая сосновая доска...
и капельки смолы... Мне неприятно...
ты отойди...

Клиян

Прости меня... не буду,
я только так... Хотел тебе подушку
поправить... Вот...
(Он поникает у ее изголовья.)

Тременс

Что бишь я говорил?
Да, плохо ищут; там, вокруг сената,
вокруг дворца народ толпится: чистят
покои королевские, ковры,
вытряхивают и мои окурки,
и шпильки Эллы выметают... Очень
занятно! И какой занятный слух,
что будто бы грабитель — где-то там
на юге, видите ли, в дом забрался
и бац в башку хозяина, — а тот —
извольте — объявился властелином,
свою столицу кинувшим полгода
тому назад... Я знаю, знаю, — это
все выдумки. Но выдумкой такой
меня смели... Вот Элла спит. Мне тоже
пора бы... Гладит, крадется озноб
вверх по спине... А жалко, Дандилио,
что вымышленный вор не уничтожил
придуманного короля!.. Смеешься?
Что, славно я шучу?

Дандилио

Да, бедный Ганус.
Не повезло...

Тременс

Как — Ганус?..

Дандилио

Он письмо
ведь получил... Мне Элла говорила...
Как хорошо бедняжка спит... Кляян,
прикрой ей ноги чем-нибудь...

Тременс

Послушай,
послушай, Дандилио, может быть,
есть у тебя среди твоих игрушек
старинных, безделушек пыльных, книг
магических — поддюжины хороших
горячечных рубашек? Одолжи...

Дандилио

Давно бы дал, да были бы они —
малы тебе... Но что сказать ты хочешь?

Тременс

Когда-то, Дандилио, мы дружили,
о живописи спорили... Потом
я овдовел... потом мятеж — тот, первый,
увлек меня, — и мы встречались реже...
Не склонен я к чувствительности праздной,
но я прошу во имя этой дружбы,
такой далекой, расскажи мне ясно,
что знаешь ты — о короле!..

Дандилио

Как, разве
не понял ты? Все очень просто было.
Однажды я — тому четыре года, —
зайдя к тебе, замешкался в передней
среди вешалок, в шершавой темноте,
и входят двое; слышу быстрый шепот:
«Мой государь, опасно, он мятежник
безудержный...» Другой в ответ смеется
и — шепотом: «Ты обожди внизу,
недолго мне...» И снова смех негромкий...
Я спрятался. Через минуту — вышел
и, хлопая перчаткою, сбежал
по лестнице твой легкий гость...

Тременс

Я помню...
Конечно... Как же я не сопоставил...

Дандилио

Ты погружен был в сумрачную думу.
Я промолчал. Мы виделись не часто:
я хмурых и холодных не люблю.
Но помнил я... Прошло четыре года —
все помнил я; и вот, встречаясь с Морном
на вечерах недавних, я узнал
смех короля... Когда же в день дуэли
ты подменил...

Тременс

Позволь, позволь, и это
заметил ты?

Дандилио

Да, к мелочам случайным
мой глаз привык, исследуя прилежно
ходы жучков и ссадины на теле

старинной мебели, чешуйки красок,
пылинки на полотнах безымянных.

Тременс

И ты молчал!..

Дандилио

Из двух — то сердце было
дороже мне, чья страсть была острей.
Есть третье сердце: посмотри — с печалью
и нежностью, не свойственной ему,
Клиян глядит на дремлющую Эллу,
как будто с ней и страх его уснул...

Тременс

О, мне смешно, что втайне от меня
работали моя же мысль и воля,
что как-никак я сам, своей рукою
смерть королю — хоть мнимую — послал!
И в Ганусе я втайне не ошибся:
он был слепым орудием слепца...
Не сетую! С холодным любопытством
разглядываю хитрые узоры —
причины и последствия — на светлом
клинке, приставленном к груди... Я счастлив,
что хоть на миг людей я научил
уничтоженья сладостному буйству...
Да, не пройдет урок мой без следа!
И то сказать, нет помысла, мгновенной
нет слабости, которые в грядущем
поступке не сказались бы: король
еще обманет явно...

Клиян

Ты проснулась?

Спи, Элла, спи... Так страшно думать, Элла...

Тременс

О, мне смешно! Когда б я знал все это,
народу бы я крикнул: «Ваш король —
пустой и слабый человек. Нет сказки,
есть только Морн!»

Дандилио

Не надо, Тременс, тише...

Элла

Морн и... король? Ты так сказал, отец?
Король в карете синей — нет, не то...
Я танцевала с Морном — нет... позволь...
Морн...

Дандилио

Полно, он шутил...

Тременс

Клиян, молчи,
не всхлипывай!.. Послушай, Элла...

Дандилио

Элла,
ты слышишь?

Тременс

Сердце бьется?

Дандилио

Да. Сейчас
пройдет.

Тременс

Глаза открыты... видит... Элла!
Столб соляной... Не знал я, что бывают
такие обмороки...

Клиян

Голоса!
На улице... Они!..

Тременс

Да. Мы их ждали.
Посмотрим-ка...

Открывает окно; с улицы внизу слышны быстрые голоса.

Первый голос

...дом.

Второй голос

Ладно! Не уйдет он.
Все выходы?

Первый голос

Все...

Тременс

Можно и захлопнуть...
(Закрывает окно.)

Клиян (мечется)

Спаси меня... скорее... Дандилио...
куда-нибудь... я жить хочу... скорей...
успеть бы... А!
(Кидается прочь из комнаты в дверь направо.)

Тременс

Как будто и конец?

Дандилио

Да, кажется.

Тременс

Я выйду к ним, чтоб Элла
не видела. Ты чем питаешь эту
оранжевую птицу?

Дандилио

Ей полезны
яички муравьиные, изюм...
Хорошая, не правда ли? А знаешь,
попробуй на чердак, затем — по крыше...

Тременс

Нет, я пойду. Устал я.

Направляется к двери, открыл ее, но Капитан
и четверо солдат оттесняют его обратно в комнату.

Капитан

Стой! Назад!

Тременс

Да, да, я — Тременс; только потолкуем
на улице...

Капитан

Назад. Так.

(Солдату.)

Обыщи-ка

обоих.

(К Дандилио.)

Ваше имя?

Дандилио

Вот, табак
просыпали, эх вы! Кто ищет имя
у человека в табакерке? Можно
вас угостить?

Капитан

Вы тут хозяин?

Дандилио

Как же.

Капитан

А это кто?

Дандилио

Больная.

Капитан

Вы напрасно
скрывали тут преступника...

Тременс *(с зевком)*

я убежал... Случайно

Капитан

Вы — Тременс, бунтовщик?

Тременс

Спать хочется. Скорее...

Капитан

По приказу,
сенатом изданному нынче,
июня девятнадцатого, будет
на месте... Ба! там кто-то есть еще.
(Солдатам.)
Держите их. Я погляжу...

Уходит в дверь направо. Тременс и Дандилио говорят между собой,
окруженные безмолвными, как бы неживыми солдатами.

Тременс

Спать хочется... Вот медлит...

Дандилио

Да, выспимся...

Тременс

Мы? Полно,
тебя не тронут. Смерти ты боишься?

Дандилио

Все это я люблю: тень, свет, пылинки
в воронке солнца; эти лужи света
на половицах; и большие книги,
что пахнут временем. Смерть — любопытна,
не спорю...

Тременс

Элла словно кукла... Что с ней?..

Дандилио

Да, так нельзя.

(К солдату.)

Послушай, братец мой,
снеси-ка вот больную рядом, в спальню,
а погода за лекарем пошлем.
Ты что — оглох?

Тременс

Оставь его. Не нужно.

Меня уложат где-нибудь в сторонке,
она и не увидит. Дандилио,
ты говорил о солнце... Это странно,
мне кажется, мы — схожие, а в чем —
не уловлю... Давай сейчас рассудим.
Ты принимаешь смерть?

Дандилио

Да. Вещество

должно истлеть, чтоб веществу воскреснуть.
И вот ясна мне Троица. Какая?
Пространство — Бог, и вещество — Христос,
и время — Дух. Отсюда вывод: мир,
составленный из этих трех, наш мир —
божественен...

Тременс

Так. Продолжай.

Дандилио

Ты слышишь,

какой там топот в комнатах моих?
Вот сапоги!

Тременс

И все-таки наш мир...

Дандилио

...божественен; и потому все — счастье;
и потому должны мы распевать,
работая; жить на земле и, значит,
на этого работать властелина
в трех образах: пространство, вещество
и время. Но кончается работа,
и мы на праздник вечности уходим,
дав времени — воспоминанье, облик —
пространству, веществу — любовь.

Тременс

Вот видишь —

в основе я согласен. Но мне рабства
счастливого не нужно. Я бунтую,
бунтую против властелина! Слышишь!
Я всех зову работу бросить! Прямо
валяй на праздник вечности: там в безднах
блаженных отдохнем.

Дандилио

Поймали. Крик.

Тременс

Я и забыл Клияна...

Врывается справа Клиян.

Клиян

А! Западня!

И здесь они!

Кидается обратно, в комнату направо.

Элла (*приподнимаясь*)

Морн... Морн... Морн... Я как будто
во сне слыхала голос: Морн — король...

(*Снова застыла.*)

Голос Капитана (*в комнате направо,
дверь которой осталась открытой*)

Довольно вам по комнатам носиться!

Голос Клияна

Я умоляю...

Голос Капитана

Имя!

Голос Клияна

Умоляю...

Я молод... Я так молод! Я велик,
я — гений! Гениев не убивают!..

Голос Капитана

Вы отвечайте на вопросы!

Голос Клияна

Имя

мое Клиян... Но буду королю
служить... Клянусь... Я знаю, где корона...
Отдам... Клянусь...

Голос Капитана

Э, не хватай за икры,
я прострелю себе сапог.

Голос Клияна

Поца-а...!

Выстрел.

Тременс и Дандилио, окруженные неподвижными солдатами,
продолжают свою беседу.

Тременс

Пространство — Бог, ты говоришь. Отлично.
Вот объяснение крыльев — этих крыльев,
которыми мы населяем рай...

Голос Клияна

А!.. Нет конца... конца...

Голос Капитана

Живуч, бедняга.

Дандилио

Да. Нас волнуют быстрые полеты,
колеса, паруса и в детстве — игры,
и в молодости — пляски.

Офицер зовет солдат и пленных.

<...>

[Морн]

Не следует убитых пульей в сердце
бить этой мелкой дробью толков... Ночь
сегодня будет синяя, как триста
июльских дней, сгущенных, потемнелых
от густоты, скрипящих под нажимом
то сладострастьем жабым на прудах,
то маслянистой судорогой листьев...
Когда б я не был королем, то стал бы
поэтом, жаркой лирой в эту ночь,
насыщенную синевою, в эту
живую ночь, что вздрагивает длинно
под роем звезд, как чуткая спина
Пегаса — вороного... Мы не будем —
не правда ли? — о смерти говорить, —
но светлую беседу о царстве,
о власти и о счастье моем
мне освежайте душу, отгоняйте
широких мягких бабочек от света —
и за глотком вина еще глоток,
чтоб искренней и слаще раздавались
слова души... Я счастлив.

Дама

Государь,

а танцы будут?..

Морн

Танцы? Негде, Элла.

Дама

Меня зовут не Элла...

Морн

Я ошибся...

так... вспомнилось... Я говорю, что негде
тут танцевать. Но во дворце, пожалуй,
устрою бал — громадный, при свечах,
да, при свечах, под пышный гул органа...

Дама

Король... король смеется надо мною.

Морн

Я счастлив!.. Если я и бледен — это
от счастья!.. Повязка... слишком... туго...
Эдмин, скажи... нет, впрочем, сам... поправь...
так... хорошо...

Седой гость

Король устал, быть может?

Быть может, гости...

Морн

Ох, как он похож!..

Ты погляди, Эдмин, — похож как!.. Нет,
я не устал. Давно ты из столицы?

Седой гость

Мой государь, я был грозой гоним:
чернь, от тебя шарахнувшись, случайно
меня толкнув, едва не отдала
мне душу. Я бежал. С тех пор я мыслил
и странствовал. Теперь я возвращусь,
благословляя скорбное изгнание
за сладость возвращения... Но в вине
есть крылышки пчелиные; в отраде —
есть для меня прозрачная печаль:
мой старый дом, где сыздетства я жил,
мой дом сожжен...

Эмин

Но спасена отчизна!

Седой гость

Как объясню? Отчизна — божество
бесплотное; а наш любимый угол
на родине — вот это зримый образ
бесплотного. Мы только знаем Божью
бородку раздвоенную; отчизну
мы узнаем в чертах родного дома.
От нас никто ни Бога не отнимет,
ни родины. Но теплый образок
жаль потерять. Мой дом погиб. Я плачу.

Морн

Клянусь, такой же дом, на том же месте
я для тебя построю. И не зодчий —
твоя любовь проверит чертежи;
не плотники — твои воспоминанья
помогут мне; не маляры — глаза
живые твоего же детства: в детстве
мы видим душу красок...

Седой гость

Государь,
благодарю. Я знаю — ты волшебник.
Я счастлив тем, что понял ты меня,
но мне не нужно дома...

Морн

Клялся я...
Что́ клятва? Лепет гордости. А смотришь —
смерть тут как тут. Что клятва? И звезда
обманывает душу звездочета,
в условный срок порой не возвращаясь.
Постой... скажи... Ты знал ли старика
такого — Дандилио?

Седой гость

Дандилио?
Нет, государь, не помню...

Второй посетитель (тихо)

Посмотри
на короля, он чем-то недоволен...

Третий посетитель (тихо)

Как будто тень — тень птицы — пролетела
по ясному, но бледному лицу...
А это кто?

Налево у двери движение.

Голос Позвольте... ваше имя?
Сюда нельзя!

Иностранец
Я — иностранец..

Голос Стойте!

Иностранец
Нет... я пройду... я — так. Я — ничего.
Я только сплю...

Голос Он пьяный, не пускайте!..

Морн
А, новый гость! Сюда, сюда, скорее!
Так счастлив я, что принял бы с улыбкой
и ангела, под траурным горбом
сложенных крыл влачащегося скорбно;
и нищего блестящего лжеца;
и палача, в опрятный свой сюртук
затянутого наглухо... Гость милый,
что ж, подходи!

Иностранец
Вы, говорят, король?

Эдмин
Как смеешь ты!..

Морн Оставь. Он — иноземец.
Да, я король...

Иностранец
Так, так... Приятно мне:
я хорошо вас выдумал...

Морн Молчи,
Эдмин, — занятно. Ты издадека,
туманный гость?

Иностранец
Из обиходной яви,
из пасмурной действительности... Сплю...
Все это сон... сон пьяного поэта...
Повторный сон... Однажды вы мне снились:
какой-то бал... какая-то столица...
веселая, морозная... Но только
иначе звались вы...

Морн Морн?

Иностранец Морн. Вот, вот...
Нарядный сон... Но знаете, я рад был
проснуться... Помню, что-то было в нем
неладное. А что — не помню...

Морн Все ли
у вас в стране так говорят... дремотно?

Иностранец

О, нет! У нас в стране нехорошо,
нехорошо... Вот я проснусь — скажу им,
какой король мне грезился прекрасный...

Морн

Чудак!

Иностранец

Но отчего же мне неловко?
Не знаю... Как и в прошлый раз... Мне странно...
Должно быть, в спальне душно. Отчего-то
страх чувствую... обман... Я постараюсь
проснуться...

(Уходит.)

Морн

Стой!.. Куда же ускользнул
мой призрак?.. Стой, вернись...

Голос (слева)

Держи!

Второй голос

Не вижу...

Третий голос

Ночь...

Эдмин

Мой государь, как можешь
выслушивать...

Морн

У прежних королей
шуты бывали: говорили правду
хитро, темно, — и короли любили
своих шутов... А у меня вот этот
сомнительный сомнамбула...
Что ж вы
притихли, дорогие гости? Пейте
за счастье мое! И ты, Эдмин,
эй, прояснись! Все пейте! Сердце Вакха —
граненое стекло: в нем кровь и солнце...

Гости

Да здравствует король!

Морн

Король... король...
В земном глаголе рокотанье грома
небесного... Так! Выпито! Теперь
я подданных порадую: намерен
я завтра же вернуться!

Эдмин

Государь...

Гости

Да здравствует король!

Эдмин

...прошу тебя...
врачи...

Морн

Довольно! Я сказал, что — завтра!
Назад, назад, — в гробу летучем! Да,
в стальном гробу, на вычисленных крыльях!
И вот еще: вы говорили «сказка»...
А мне смешно... Со мною Бог смеется!
Не знает одураченная чернь,
что скованное в сказочные латы
темно и потно рыцарское тело...

Голос (тихо)

Что говорит король?..

Морн

...она не знает,
что бедная восточная невеста
едва жива под тяжестью косматой.
Но за морем бродяги-трубадуры
о сказочной любви запоют, —
солгут векам, чуть пальцами касаясь
овечьих жил, — и грезой станет грязь!
(Пьет.)

Голос

Что говорит король?

Второй голос

Он во хмелю!..

Третий голос

Его глаза безумием сияют!..

Морн

Эдмин, налей еще...

Дама (кавалеру)

Уйдем... Мне страшно...

<...>

Сон прерванный не может продолжаться,
и царство, плывшее в мечте передо мной,
вдруг оказалось просто на земле
стоящим. Вторглась вдруг реальность. Та,
которая <и> плоть, <и> кровь, казалось,
ступала, как эфир прозрачный, вдруг
растопавшись, как грубый великан,
вошла в мой сон, устойчивый, но хрупкий.
Я вижу вокруг меня обломки башен,
которые тянулись к облакам.
Да, сон — всегда обман, все ложь, все ложь.

Эдмин

Она и мне лгала, мой государь.

Король

Кто лгал, Эдмин?

(Спохватывается.)

Ах, ты о ней?.. Нет, царство
мое обманом было... Сон был ложью.

<...>

Эдмин, отдай!.. Как мне еще просить?
Пасть на колени? Хочешь? Ах, Эдмин,

я должен умереть! Я виноват
 не перед Ганусом, а перед Богом,
 перед тобой, перед самим собою,
 перед моим народом! Я дурным
 был королем: незримый, без придворных,
 обманом правил я... Вся мощь моя
 была в моей таинственности... Мудрость
 законов? Творчество и радость власти?
 Любовь толпы? Да. Но пуста и лжива,
 как бледный гаер в лунном балахоне,
 душа у властелина! Я являлся
 то в маске на престоле, то в гостиной
 у щегольской любовницы... Обман!
 И бегство — ложь, уловка — слышишь? — труса!
 И эта слава только поцелуй
 слепого... Разве я король? Король,
 убивший девушку? Нет, нет, довольно,
 я падаю в смерть, в огненную смерть!
 Я только факел, брошенный в колодец,
 пылающий, кружащийся, летящий,
 летящий вниз, навстречу отраженью,
 растущему во мраке, как заря...
 Молю тебя! Молю тебя! Отдай мне
 мой черный пистолет! Молчишь?

(Пауза.)

Ну, что же,

не надо... В мире есть другие смерти:
 обрывы и водовороты! яды,
 и лезвие, и узел! нет! Не можешь
 ты помешать — ни гению родиться,
 ни грешнику убить себя!

(Пауза.)

Да, впрочем,

я просьбами напрасно унижаюсь...
 Скучна такая сложная игра
 с такой простой развязкою.

(Пауза)

Эдмин,

я — твой король. Дай. Понял ты?

Эдмин, не глядя, протягивает ему пистолет.

Морн

Спасибо.

Я выйду на террасу. Только звезды
 меня увидят. Счастлив я и ясен;
 сказать правдивей не могу... Эдмин,
 твой легкий лоб легко я поцелую...
 Молчи, молчи... Твое молчанье слаще
 всех слышанных напевов. Так. Спасибо.

(Идет к стеклянной двери.)

Ночь синяя меня уносит!

*(Выходит на террасу. Его фигура, озаренная
 лучами ночи, видна сквозь стеклянную дверь.)*

Эдмин

.....

...Никто не должен видеть,
 как мой король являет небесам
 смерть Господина Морна.

[ИЗЛОЖЕНИЕ ТРАГЕДИИ]

<АКТ> I

Картина 1

Комната. У огня, закутанный в ягуаровый плед, сидит Тременс. Его всегда трясет лихорадка (...я такого дня не помню, чтоб не ползли змееныши озноба вдоль по спине, чтоб не стучали зубы, как костяные кастаньеты смерти, танцующей без роздыху). Его монолог. Входит дочь его Элла. Говорит, что звана на вечер, что должна переодеться. Вся она — широко открытые девичьи глаза, а Тременс — груб, тяжел, но по-своему любит дочь. Она уходит к себе. Слуга приносит вино, лекарства. Затем докладывает, что пришел неизвестный человек. Входит Ганос. Тременс плохо видит, не различает его черты. Тот заговорил, и Тременс узнал одного из той шайки мятежников, которой он, Тременс, руководил. Ганос, как и все остальные крамольники, кроме вождя их, был сослан на дальние рудники. Ганос бежал. Тременс рассказывает, что, когда суд вынес приговор над пойманными мятежниками, он, Тременс, написал королю письмо, в котором отдавал себя королевской власти. На следующий день вечером в комнату к Тременсу вошел человек, который себя не назвал и лица которого Тременс не разобрал из-за сумерек и полуслепоты своей. Человек спокойно объявил Тременсу, что король не преследует ума, будь он и тлетворен, а карает глупость, слушающуюся чужого ума. То есть умный вождь прощен, а все его подчиненные сосланы. Пусть же Тременс продолжает свои незаконные попытки — все будет тщетно, так как он только помогает королю собирать, сосредоточивать в одно место мятежные части народа, которые и караются нужным образом. Король поощряет Тременса, как невольного своего помощника. Сказав все это, человек поклонился и вышел. С тех пор Тременс все собирается с силами, у него одна мечта: истребить, разрушить, придать стране красоту развалин. Ганос призывает Тременсу, что за время трехлетней ссылки он понял, что напрасно пытался свергнуть власть, что король какой-то волшебной силой своей создал из страны, истерзанной войнами и мятежами, громадное и гармоническое государство, управляемое пристально и твердо. «Ты меня не понял, — говорит Тременс, — я проповедовал власть народную, но разумел под этим безвластие, божественный хаос. Король, — продолжал он, — все по-прежнему никогда не показывается, и эта таинственность дает ему новую силу, какой не имел ни один король». Тременс признает, что король — первый работник в стране, что он один властвует над вялым сенатом, над обществом, над чернышью, и что все законы его — глубокие, мудрые; что в стране нет обездоленных; что смертная казнь отменена; что государство подобно исполинской житнице, полной душистого, золотого хлеба. «Но, — повторяет Тременс, — мне беззаконие нужно, а не закон, как бы мудр он ни был, ибо довольство — тупик. Чтоб горел живой огонь человечества, нужно топливо. Разрушить нужно, и тогда будет наслаждение — в страданиях. Говорят, — продолжает он, — что король часто мешается с толпой, посещает кабаки, рынки, мастерские, дабы точно знать, что кому нужно». Ганос замечает, что все это еще больше убеждает его в преступности мятежа. Тременс шагает из угла в угол, дрожа под пледом и проповедуя свою истребительную веру. Ганос сразу же, как прибыл в город, зашел к Тременсу и еще не знает, в том же ли доме, как прежде, живет его — Ганосова — жена и что делала она эти три года. На его вопрос, что делает она, Тременс коротко отвечает: «Блудит». Входит Элла в золотистом газе, готовая ехать, и отец к ней грубо и тяжело обращается с вопросом: «Ведь правда, Мидия блудит?» Элла привычно отделяется шуткой. Ганос, давно знающий Тременса, все же поражен его нарочитой грубостью. С трудом узнает он Эллу, которая за эти три года превратилась, как говорят, из девочки в женщину. Ганос взволнован тем, что она едет на вечер к его же жене, а он сам ехать не может: там много людей, узнают его. Случайный ответ Тременса, который, кстати, у Мидии не бывает, все же смутил Ганосу, но он не решаетя что-либо спросить у Эллы. Элла, которая учится в драматической школе, предлагает Ганосу загримировать его, и тогда он может поехать — как жених ее, что ли, — и, оставшись после ухода всех гостей, изумить и обрадовать Мидию. Тременс вставляет несколько массивно-грубых замечаний. Ганос соглашается. Садится перед зеркалом, и Элла начинает мазать ему лицо маслянистыми театральными красками. Между ними шуточный разговор. А между тем Тременс снова заговорил о своей жажде разрушения, о том, что он ждет только предлога, чтобы начать, о том, что Ганос должен ему помогать. И Ганос старается одновременно отвечать шуткам Эллы, мажущей ему губы и глаза, и возражать ее отцу, тяжело шарахающемуся по комнате в припадке огневиды; из угла в угол хищно и зябко шагает он, барабаня пальцами по столам, по спинкам стульев, шелестя пальцами по корешкам книг, когда проходит он мимо полки.

«Готово!» — кричит Элла. И Ганос в зеркале не узнает себя. Тременс сердится на него, что он не загорается ознобом, трясущим его, Тременса — вождя мятежников. Ганос повселел, зная, что сейчас увидит жену, и вспоминая другие дни, маскарады, танцы. Элла прощается с отцом, который хмуρο рухнул в кресло. Ганос обещает его часто посещать и уходит вместе с Эллоу. Монолог Тременса.

Картина 2

Вечер у Мидии. Поэты, артисты. Звонко, пьяновато, в воздухе пузырьки шампанского. Когда занавес поднимается, только что кончил читать свою поэму длинноволосый человек с сумасшедшими бычьими глазами, встает из-за стола в глубине сцены, говорит: «Конец», — и дрожащими длинными пальцами перебирает листки на столе. Быстрая тишина, затем восторженный всплеск голосов. Молодого поэта сравнивают с тем таинственным поэтом, который живет при дворе, — и потрясает, и нежит страну своими безымянными стихами. Это — неоромантика. И король, и общество, и толпа, и вся жизнь, и самые улицы в этой столице, блистательно очнувшейся после годин гнева и грома, — романтичны. Есть в ней что-то от венецианского XVII столетия времен Казановы и от тридцатых годов петербургской эпохи. Романтическое уныние перешло в романтическую радость жизни. Разговоры по этому поводу среди гостей. Веселый белый старичок Дандэли, весь мягкий и легкий, как одуванчик, рассказывает о прошлом. Мидия с каким-то искристым волнением ждет главного гостя — Господина Морна. Затем другой писатель — Клиян — читает свое произведение. Но оно банальное, отжившее, то есть в стиле Пиальняков, Лидиных и т.д. Его чтение прерывается добродушным смехом гостей. Клиян, который сперва отказывался читать, ожидая прихода любимой им Эллы, теперь рад, что чтение произошло без нее. Вот она входит — легкая, прохладная, в золотистом газе, в сопровождении заgrimированного Ганоса, которого она представляет как своего знакомого актера. Ганос сперва с лукавым и беспечным удовольствием играет свою роль, хотя ему не терпится остаться наедине с Мидией. Говорит он глуховатым голосом, ходит осторожно и не показывает рук, по которым Мидия могла бы его узнать. Мидия счастлива: сейчас придет ее любовник, которого сопровождает всегда тихий, молчаливый человек с мечтательными, но быстрыми глазами — Эдмин. В глубине комнаты — игры, песни. Мидия летает от одного гостя к другому. К ней подходит Элла, наивно замечает: «Как ты можешь быть так весела, когда муж твой томится в тюрьме?» Мидия обнимает ее, целует в лоб, ладонями откинув ей волосы, и отвечает, что Элла маленькая, что, может быть, когда-нибудь она поймет, что бывают в жизни часы, когда потухли солнце, как фонарь, разбитый хулиганом, все равно душа счастлива, слепо мчится куда-то. Наконец за дверью раздался раскат знакомого мягкого смеха и вошел Господин МORN, за ним — тихий Эдмин. Гости еще больше повселели, и нетрудно заметить, что Мидия и МORN опьянены друг другом. Меж тем Клиян несколько раз подходил к Элле, ревнуя и мучаясь. Она отделяется легучими движениями, шутками. А Ганос начинает тускнеть и томиться, смутно понимая, что Мидия от него ушла. Элла мимолетно подошла к нему, кинула: «Я всегда гуляю по утрам в Серебряном саду, вы приходите как-нибудь, я покажу вам мое любимое дерево и статую одну со снегом в складах одежды». Ганос занят думами своими. Оба они не заметили, что Клиян подслушал. Господин МORN и Мидия руководят вечером. МORN рассказывает о странах, которые он видел, показывает фокусы, играет на гитаре, со всеми одинаково приветлив какой-то лучистой приветливостью. Гости начинают расходиться, к тайной радости Морна и Мидии. Клиян, хмурый и тяжкий, увлек с собой Эллу. Старик, похожий на одуванчик, уходит в лавровом венце, который ему нацепили. Один гость — кроме Морна — не уходит. Это Ганос. Он сидит у стола, прямой и неподвижный, с лицом лоснистым и восковым из-за душного грима. Морна сперва смешит эта неучтивость гостя, который должен бы понять, что хотят, чтобы он поскорее убрался. Мидия сперва натянуто занимает его. Он отвечает глухо и тихо и сидит как деревянный, заложив руки за сюртук, данный ему Тременсом. Мидия начинает смутно бояться чего-то, как бы подсознательно догадываться. МORN, все еще благодушный, прозрачный, намекает гостю, что, мол, пора и честь знать. Ганос вдруг тяжело задыхался, встал, опустил ладонь на стол. Мидия глянула на его руку, в его глаза, мгновенно поняла, обращается к любовнику: «Господин МORN, позвольте вам представить моего мужа». Ганос не знает, что сказать, путается. Господин МORN с улыбкой поклонился. Ганос, тяжело вспыхнув, кинулся к нему, пытается ударить. Борьба между ними. Падает столик. Завернулся край ковра. Мидия кинулась в углубление сцены, распахнула окно. Хлынула морозная звездная ночь. Мидия зовет: «Эдмин!» (Она знала, что Эдмин всегда сторожит под окном, когда МORN у нее.) МORN и Ганос дерутся, Ганос — по-мужичьи, МORN — как атлет, и притом смеется отрывисто и беззаботно, словно борется с ребенком. Наконец Ганос, оглушенный прямым ударом, рухнул в угол. МORN, весело блестя глазами, оправляет галстук, белый жилет. Врывается Эдмин с черным револьвером в руке, который он, впрочем, тут же сует себе в задний карман. Мидия закрыла лицо руками, дрожит у окна. Ганос поднимается, вытирает лицо платком, стирая кровавый жир грима. МORN в двух словах объясняет другу положение и шепотом просит быть его секундантом. Затем идет в глубину сцены к Мидии, которая склонилась в полуобмороке. Вбегают слуги, служанки, кладут Мидию на кушетку у окна, над ней нагибается МORN и все смеется, легко и нежно. Ганос, подступив к Эдмину, требует дуэли на пяти шагах. Эдмин, оглянувшись, уводит его в угол и ше-

потом, тревожно и убедительно говорит ему что-то. Ганос рванулся, смотрит через комнату на Господина Морна в изумлении, в тоске, борется сам с собой. Эдмин продолжает шептать ему что-то. Ганос решился, твердо закачал головой. Морн, когда Мидия очнулась, подошел к другу и к противнику. Ганос подошел вплотную и тихо сказал: «Что ж! Не хочется мне быть убийцей, мы будем драться à la courte paille!» Морн кинул быстрый укоризненный взгляд на друга (тот отвечает: «Простите, долг мой был сказать ему, предупредить»), затем добродушно поклонился. Учтиво простился с Мидией, которая словно хочет удержать его. Говорит, что они с Ганосом помирились. «Не правда ли?» — «Да, сударь...» — отвечает Ганос. Затем Морн и Эдмин уходят. Акт заканчивается сценой между Ганосом и его женой. Он умоляет ее хоть позволить ему иногда видеть ее. Мидия как бы оскорблена тем, что муж ее так слаб, позволил себя избить, а теперь в кротком отчаянии унижается перед ней. Она холодно разрешает ему жить в том же городе, в гостинице, что ли... Поникнув и шатаясь, как хмельной, Ганос уходит. Мидия взглянула, усмехнулась: «Шут!»

Картина 3

Городской сад — так называемый Серебряный сад. Чугунные решетки, деревья в узорном снегу, статуи. На скамье сидит человек, уткнув лицо в каракулевый воротник. Поднимает лицо — это Ганос. Его монолог — философский: «Что же, смерть, иди...» Затем о тайне. Приходит Элла, садится рядом с ним. Он рассказывает ей только, что жена его разлюбила. Элла гладит ему руки, предлагает муфту, так как пальцы у него оледенели. Ганос говорит о любви, о своей изломанной неудачной жизни. По синеватой тропинке, по гололедице, окропленной посередине рыжеватым песком, проходят люди с портфелями, школьники, дети, тянущие за собой санки, и т. д. Проходит и старик Дандэлио. Он стучит палкой по статуям, стряхивая снег, смеется, скользит по ледку. Ганос отсел, уткнув нос в воротник. Старик узнает Эллу, мягко и нежно беседует с ней (скрывает, что узнает и Ганоса, которого он несколько раз встречал до тюрьмы. Впрочем, он узнал его еще раньше, на вечере, добродушно и тонко подшутил над ним тогда). Старик говорит Элле, что получил от Тременса приглашение на следующий день, что он придет непременно. Говорит о Тременсе (она тоже все знает про него, но хранит тайну). Дандэлио, объяснив, что ему нужно пойти очистить от снега еще много статуй по бокам других тропинок, уходит. Тут Ганос говорит Элле, что раньше встречал Дандэлио, но что он, Ганос, так изменился за эти три года, что вряд ли старик признает в нем его случайного знакомого. Элла любовно говорит о старике, стараясь развеселить Ганоса, подводит его к одной из статуй, рассказывает о ней. Ганос вспоминает, как он на этом месте встречал когда-то Мидию, и, зарывав, снова садится на скамейку... Элла утешает его, гладит по руку. Он наклоняется к ее плечу. Элла быстро рассказывает ему что-то свое, девическое, безотносительное. Но в ее словах просвечивает любовь к усталому, оскорбленному человеку. Выходит Клиян, стараясь казаться непринужденным, он подходит к Элле, здоровается с ней. Холодно и удивленно повернулся к Ганосу, который встал, нервно запахивая шубу. Элла (как бы боясь, что Ганос понесет новое оскорбление, что еще осложнит его положение) громко говорит, указывая мотком головы на Клияна: «Мой жених». Ганос грустно и мягко улыбается, кланяется, говорит, что ему нужно уйти. Скользя и горбясь, уходит. Клиян удивленно смотрит ему вслед, спрашивает грубо у Эллы, кому еще она назначает тут свидания. Много ли их, молодых таких? Встречалась ли она с тем шутом, который был тогда на вечере у Мидий? Элла вдруг разрыдалась. Клиян меняет тон свой. Просит ее объяснить, почему она изменилась к нему и будет ли она его женой. «Буду», — отвечает Элла. Клиян повеселел, безвкусно говорит о славе, ожидающей его как поэта. По набережной, видной в глубине сада, проносится карета, за нею всадники. В окне штора спущена. Карета пронеслась в снеговом вихре. Мелькнула огненная корона на темно-синей дверце. Клиян снял меховую шапку. Говорит: «Это король поехал в сенат». Элла злобно прижимает муфту к подбородку. Клиян поставил одну ногу на скамью, говорит о том, что жаль, Элла не приехала на вечер раньше, а то услышала бы, как он великолепно читал, как рукоплескали ему. Элла говорит: «Мне холодно, мне холодно, пойдем». Клиян уходит с ней, говорит, как он счастлив — счастлив как вот король, что только что проехал.

NB. Иногда в карете никого не бывает. Это для виду — король ходит пешком.

АКТ II

Картина 1

Та же комната, что в первом действии. Так же закутанный в пестрый плед, сидит Тременс у огня. У ног его на шкуре плащия лежит Элла и, подперев лицо руками, читает. Ганос, очень бледный, с прядью волос на лоснистом лбу, раскладывает пасьянс. Тременс доканчивает фразу — все о том же: о хаосе. Элла захлопывает книгу, встает, потягиваясь, говорит, ни к кому не обращаясь: «А я невеста». Искося взглянула на Ганоса. Он мешает колоду, смотрит на часы. Элла обращается к нему: «Что же вы меня не поздравите?» Ганос рассеяно улыбается ей. Снова тревожно взглянул на

часы. Встал, прошелся по комнате. Тременс заговорил о любви — грубо и пламенно, как всегда. Ганос, хрустя пальцами, ходит по комнате. Повернулся на каблук к Элле, которая устало поправляет прическу, глядясь в наклонное зеркало. «Элла, принеси мне стакан воды, прошу вас...» Тременс засмеялся трескучим смехом, встал перед камином, сильно забило его. Как только Элла вышла, Ганос обращается к Тременсу, прося его, умоляя услыть дочь, ибо сейчас должны прийти Господин Морн, Эдмин и Дандэлио, арбитр дуэли, о которой он, старик, не знает. Тременс, дрожа от вечной своей лихорадки, пожимает трясущимися плечами, отвечает: «Пусть она привыкнет видеть смерть». Ганос смотрит на часы, осталось десять минут до назначенного срока, умоляет Тременса. Тот качает головой, потирает руки перед огнем. Входит Элла, осторожно неся на подносе стакан воды и изображая театральную субретку. Ганос осторожно пьет, умоляюще смотрит на Тременса, на часы стенные и опять на Тременса, который сел снова в кресло и прикрыл глаза... Элла быстро подходит к Ганосу, старается успокоить его, думая, что причина его тоски — уход жены. Рассказывает, что читала только что, как женщина ушла от любившего ее, а затем вернулась. Тременс, не открывая глаз, нехорошо улыбнулся. Ганос сел у стола, ерошит волосы, сыплет сквозь пальцы карты. Элла тоже стала волноваться, тоже смотрит на часы, на мигающий маятник. Тихо спрашивает у Ганоса: «Да? Нет?» Ганос, барабанив пальцами по стулу, отвечает: «Да... да... да». Элла быстро и тихо говорит ему: «Знаете, что я загадала? Меня ждет Клиан у себя. Если я пойду, то уже неизбежно стану его женой. Понимаете? И вот вы сказали: да! Так. Я пойду». Ганос просветлел, странно просиял, повторяет: «Да, да, да, идите... пока не проснулся Тременс». Элла взглянула на Ганоса, изменилась в лице. «Нет, — говорит, — отец меня не отпустит. Папа, я должна уйти». Тременс открыл глаза, снова улыбнулся, говорит, зябко потягиваясь: «Останься, Элла. Почитай мне что-нибудь». Элла обернулась к Ганосу. Тот, вцепившись в стол, жарко шепчет ей: «Да... да... так нужно». Тременс повторил: «Я говорю тебе, останься». Но Элла сорвалась с места. Посмотрела на отца, кинула: «Нет, папа, я должна», — и вышла. Ганос тяжело дышит, говорит: «Теперь легче». Тременс кричит: «Элла, Элла...» Ганос: «Нет, дверь внутрь захлопнулась». Тременс: «Что же, будь по-твоему». Снова закрыл глаза. Пауза. Монолог Ганоса. Пауза. Входит слуга, вводит Господина Морна и Эдмина. Тременс встал, Ганос отошел к камину, греет руки, став спиной к остальным. Тременс, дрожа и шурясь, здоровается с Морном и Эдмином. Эдмин спрашивает: «Что же старика еще нет, пора». Тременс, вглядываясь в Господина Морна, говорит: «Странно, я как будто где-то видел вас, не знаю...» Проводит ладонью по лбу. Отходит к огню, сел в кресло. Морн искоса усмехнулся, сказал: «Что же, подождем». Тихо ходит по левой стороне комнаты, заложив руки за спину, осматривает картины на стенах. Все четверо ждут. Налево — Господин Морн и Эдмин. Направо — Тременс и Ганос. Морн и Эдмин тихо переговариваются между собой о стихах, о картинах и т. д. Стрелка часовая движется. Тременс, зевнув, спрашивает: «Что же, видно, судьба ваша не придет». Морн спокойно засмеялся. Тременс опять зевнул. Стал говорить о смерти. Ганос почти крикнул: «Перестань, прошу тебя». Он и Эдмин волнуются больше всех. Стук в дверь, все взглянули. Входит слуга. Ганос вздрогнул, напрягся. Тременс затрещал смехом. Слуга ставит на стол вино, рюмки. Тременс приглашает отпить. Один Ганос не пьет. Снова входит слуга, выпускает Дандэлио. Старик весел, как дитя, радостно и доверчиво шурится на всех, здоровается. Ставит на стол белую коробку, перевязанную цветной лентой, — конфеты, принесенные им для Эллы. Спрашивает, где она. Тременс отвечает: «Ушла, и все тут». Старик пьет вино, шутит, лукаво поглядывает на всех. Морн шутит вместе с ним. Тременс наслаждается напряженным состоянием Ганоса и Эдмина. Эдмин не выдержал. Подходит к старику. Говорит: «Тут у нас вышел спор, кому платить за ужин и так далее. Будьте добры завязать узел на платке и протянуть господину Морну и господину Ганосу два ушка, зажав платок в кулаке». Старик блеснул на всех очками, говорит беспечно: «Нет, что вы, я сам заплачу...» Тременс грубо говорит: «Коли просят они, слушайся их, старик». Дандэлио вытаскивает просторный платок в клетку, повернулся спиной к зрителям. Обернулся, протягивает платок: «Ну что же, тащите». Ганос сорвался с места, выгацил, хрипло крикнул: «Пустое, Морн, узел ваш». Морн схватился за ручку стула, но продолжает улыбаться. Тременс привстал, зевая, и, сгорбленный, поправляет на плечах плед. Ганос, шатаясь, отошел к камину, бормочет что-то: «Я не могу... могу». Эдмин схватил Морна за руку, заглядывает ему в глаза нежно. Старик, стоявший посередине комнаты, вдруг рассмеялся, показывая платок, на котором узла и не было. Закружился на одной ноге, помахивая платком, смеется: «А узла и нет, узла и нет...» Эдмин кинулся вперед, страстно говорит, обращаясь к Морну и к Ганосу: «Господа, это сама судьба, слепая судьба, не знающая, что она делает. Она пощадил вас, послушайте ее». Морн сложил руки на груди. Ганос закрыл голову руками. Тременс, тяжело вставая: «Давай платок». Старик: «Простите, у меня насморк». Сморгается. Ганос истерически хохочет, захлебывается. Тременс оттолкнул старика. Плед сполз с его плеч. Он очень худ. Вынул свой платок. У всех на виду завязал крупный узел. Протянул костлявый кулак. Морн и Ганос оба разом подошли, выхватили ушки. Ганос, посмотрев, закачался, рухнул в обморок, стяннув скатерть со стола. Посыпались карты. Господин Морн, держа в руке платок, говорит: «Узел у меня». Тременс: «Он больше вас испугался». Старик под руки держит Ганоса, говорит: «Ганос, Ганос, успокойся. Ты был спокойней, когда жена твоя... да, да, я знаю все, я знаю все». Ганос сразу очнулся. Тременс, обращаясь к Морну: «Не стреляйтесь, пожалуйста, здесь». Морн поклонился. «Сегодня в полночь я выполню

условия дуэли». Швырнул скожанный платок на пол. Вышел с Эдмином. Тременс сел в кресло, прикрыл глаза. Старик сидит у стола, бережно раскладывает псыанс. Ганос мечется по комнате — сумасшедший диалог: «Я погубил мир целый за тебя...» Входит Элла, снимая шляпу на ходу, вяло встряхнула головой. Дандэлио потянулся к ней. Она всхлипывает, говорит: «Все кончено, я отдала свой дивный мир». Тременс улыбается во сне. Ганос поник в кресле, налево.

Картина 2

Кабинет короля во дворце. Три громадных окна. В проймах тяжелых штор морозная звездная ночь, черные тонкие сучья среди звезд. Дубовый письменный стол посередине, боком. Налево и направо двери. Когда занавес поднимается, на сцене темно. Затем дверь, что налево, открывается и входят две фигуры. Та, что поменьше и потоньше, зажигает электрическую лампу на столе, под опаловым куполом абажура. Видно: это Господин Морн и Эдмин. Оба в шубах. Эдмин обращается к Господину Морну как подданный к королю. Морн во всех своих движениях — властитель. Их разговор. Господин Морн (король) твердо и почти весело отдает последние приказания относительно наследника — племянника его, которого воспитывают мудрые старые сенаторы: относительно Мидии, относительно государственных бумаг и т. д. Затем все так же бодро прощается с Эдмином, просит его пройти в спальню направо. Теперь Господин Морн один. И внезапно вся его бодрость исчезает. Он из особой породы трусов. Трус, который на людях, в минуты волнения и блеска способен на величайшие подвиги, на веселье безумца. Но теперь в пустой, одинокой, огромной комнате он чувствует, что сил нет в нем исполнить условие поединка. Сперва с какой-то брезгливой решительностью, еще играя перед самим собой, он выхватывает из ящика стола небольшой черный пистолет и тотчас же опускает его на стол. Монолог Морна. Он вспоминает то громадное, романтическое царство, которое он создал, вспоминает простую сладость жизни. Знает, что если он себя не убьет, то не сможет остаться королем. Мысль, не подослать ли убийцу к Ганосу или попросту схватить его — как бежавшего из ссылки, приходит к нему, но сразу же исчезает. Морн — трус благородный. Снова он берется за пистолет, снова опускает его. Просматривает бумаги на столе, говорит о них с любовью. Ходит по комнате. Схватил телефонную трубку, звонит Мидии, держа в другой руке пистолет. Если б Мидия откликнулась, то он нашел бы в себе силы застрелиться, ибо это было бы подвигом в ее глазах. Но ответа не следует (номеров телефонных нет в столице, вместо них как бы названия стихотворных сборников — «светлое озеро», «белая ночь» и т. д.). Он бросает трубку, снова садится за стол, прикладывает в третий раз дуло к виску... и затем решительно встает, подходит к двери направо, зовет: «Эдмин!» Снова зовет, плачущим голосом: «Эдмин!» Эдмин входит. Господин Морн стоит спиной к нему посреди сцены, говорит, словно дитя: «Я не могу...» И затем начинает объяснять Эдмину, почему. Но дает не истинную, коренную причину (боязнь и т. д.), а причину побочную: любовь к Мидии. Эдмин сам волнуем глубоко возлюбленной своего короля и друга. Он даже видит великолепное геройство, неслыханную доблесть в том, что король готов пожертвовать царством ради жизни, то есть ради Мидии, которая умерла бы без него. Эдмин просит Морна взять его с собой, несмотря на то, что Морн просит его остаться, ибо опытом своим он помогает государству, — быть может, предотвратит мятежи, развал. Просьбу же его Морн, конечно, понимает так, как Эдмин хочет быть понятым, то есть как желание не покидать короля. Личность ставится выше целой страны в обоих случаях: Морн, по понятию Эдмина, отдает царство за женщину. Эдмин, по понятию Морна, отказывается от долга своего по отношению к государству ради друга. Оба лгут. Эдмин просто не может жить без Мидии. И Господин Морн медленно наполняется обычной своей радостной бодростью, как бы убедив себя, что все именно так, как понял Эдмин. А это — подвиг. Господин Морн решил бежать. Эдмин должен будет тотчас отправиться к Мидии (которая к тому же давно молила Морна увезти ее) и с ней приехать на вокзал, где будет ждать их Господин Морн. Морн решил никогда объяснений не оставлять и как бы предаться молве. Он берет только чемодан, заполняет его бумагами, ценностями, украдкой сует туда же пистолет — и вот готов. Но тут — Эдмин прислушался. Слева, за дверью (то есть с той стороны, откуда вошел он, и там тайный выход прямо на улицу. Этим выходом пользуется король, когда не хочет проходить через главную дверь, где всегда стоит дворцовая стража), послышались шаги. Господин Морн потушил свет, метнулся к окну. Он и Эдмин прыгают в звездный сумрак. Слева входит старый лакей в пышном фраке, в белых чулках. Говорит, что послышались ему голоса. Сегодня король дома, и вот надо его «уложить». Зевает в ладонь. Прикрывает раму окна, качая головой: стар, мол, забыл запереть. Его сонный монолог. Он подходит к двери спальни направо. Слушает, стоя боком. Ему кажется, что король уже спит. Тихо и дремотно проходит обратно, справа налево, через сцену.

Картина 3

Мутная полоса зари, но еще темно. Горят газовые фонари. Часть станционной платформы. Холодный длинный блеск рельсов. Снег на шпалах, на навесе. Господин Морн с чемоданом, в черной шубе. Его монолог. Он понимает весь ужас того, что он делает, но старается забыть, что он король, говорит себе: «Я просто Господин Морн,

бегущий на юг с чужой женой». И как преступник, он долго и невнятно объясняет носильщику, который предложил свои услуги, что он деловой человек, что едет туда-то и вот ждет международного. Носильщик заспанный, глуховатый, но Господину Морну кажется, что он на него поглядывает подозрительно. Резко гонит его. Проходят два других ожидающих поезда, — господин и дама. Господин вежливо спрашивает у Морна: «Позвольте закурить». Морн пугается опять. Те проходят. До поезда осталось всего несколько минут. Морн бесконечно волнуется. Уже носильщики прокатывают сундуки на железных тележках. Начальник станции прошел, зевая в кулак... (<NB>. Дворец короля находится за городом, так что это не столичный вокзал, а просто платформа под навесом). Толчками движется стрелка станционных часов. Черные тучи заволокли узкую зимнюю зарю. Морн ходит взад и вперед. Его монолог. Неужели Мидия и Эдмин не приедут? (Это опять ожидание — мотив первой картины). Мелодично прозвучал звонок. Вдалеке вспыхнули два круглых желтых огня и третий, повыше их, алый. Это поезд. Морн засмеялся безнадежным смехом. Кругом обычное станционное волнение, но притушенное сумерками, холодом. Огни растут, близятся. По платформе бегут Мидия и Эдмин. Мидия кидается к Морну, обнимает его. Быстрый, страстный разговор. Огни растут.

АКТ III

Картина 1

Угол площади. Солнечный морозный день. В отдалении легкая тугая трескотня перестрелки. Вдоль углового дома крадутся встревоженные люди. Голоса. Никто ничего не может понять. Порхают нелепые слухи. Пробегают солдаты, ложатся, стреляют вдоль площади. Скрываются. Суматоха горожан. Старичок Дандэлю семенит бесстрашно через площадь, приговаривая что-то свое и бережно неся в руках конус, обернутый рогожей. Рогожа сползает, видно — это большая клетка и в ней громадный, невозмутимый яблочно-зеленый попугай. Старичок торопливо поправляет рогожку, приговаривает что-то и проходит. Бегут навстречу испуганные горожане, один без шапки. Их возгласы. Перестрелка вдали смолкла. Вдоль стены проходят Клиян и Элла. Клиян крепко трусит. Дать почувствовать разницу между его трусостью и трусостью Морна. Элла радостно встревожена. Кровь отца как бы восклицает в ней. Из их слов — <так же>, как из предыдущих возгласов — только одно понятно: где-то стреляют, где-то мятеж. Клиян тянет Эллу обратно домой. Она сопротивляется. Их догоняет Тременс, весь пылающий, взволнованный, в распахнутой шубе. Он молча машет Элле и Клияну, уходите, мол, и радостно пробегает по направлению вновь застучавшей перестрелки. Элла рвется за ним, но Клиян, решительно сгорбясь, уводит ее направо. Сцена пуста. Затем слева, размахивая тростью, не обращая никакого внимания на снующих людей и на дальние звуки барабанного боя и выстрелов, размашистой, но неверной походкой проходит Ганос — пьяный. Он всходит по ступеням крыльца (углового дома), садится на каменный выступ, чертит по снегу тростью, судорожно закидывает голову. Его монолог. Он только что был у Мидии, жены своей. Хотел было в последний раз умолить ее (ведь Морн теперь убит — Морн! Морн! — а вовсе не король. Кто говорит, что Морн — король? Бред! Бред! Просто Господин Морн, осужденный на смерть. Ганос бросает шапку оземь, как мужик во хмелю), умолить хотел ее, а нашел пустой дом и письмо Мидии, в котором она пишет ему, что уехала о д н а, навсегда, навеки, просит не разыскивать ее. Отчаяние Ганоса как бы изнутри разогрето и окрашено вином. Его несколько раз прерывают исполненные прохожие, стараются убедить его, что стреляют, опасно... Он в громадной пьяной тоске отмахивается. Он ничего не признает, кроме личного своего горя. Снова (обратно) вбегает Тременс, потный, медно-блестящий, с прядью черно-седых волос, выбившейся из-под брововой шапки. С ним взволнованные солдаты и офицеры, которых он посылает куда-то. Повернулся на каблучке, как человек, у которого тысяча дел и их надо быстро разрешить. Заметил Ганоса. Тот припал к его плечу, выпаливает рассказ об окончательном уходе жены. Тременс еле слушает его, не замечает сперва, что Ганос пьян, и в радостной тревоге начинает говорить о том, что происходит. Дело сводится к следующему. По слухам, короля задушили честолобивые старики-сенаторы. Толпа восстала за своего короля против дворянства и сановников. И вот Тременс улучшает момент, чтобы пустить восстание по тому пути, о котором он давно мечтал. Тременс дышит полнее в этом воздухе смуты и суеты, он освободился от своей лихорадки, как бы передает ее городу. Он знает, что добьется того, что каждый будет против каждого. И тогда великолепно рухнет стройное государство. Ганос сразу трезвеет, вообразив то, о чем раньше как-то не думал, ибо Морн для него был просто соперник, а не король. Он воображает теперь, что король застрелился, скрывшись где-то. И так как Ганос человек *единой мысли*, то, уцепившись за эту мысль, он развивает, углубляет ее, а отнюдь не старается найти какие-либо противоположные мысли. Он не умеет сомневаться. Ведь его путь был таков. 1). Он верил, что жена ждет его, любит его. 2). Он сразу понимает, что она ему изменила. 3). Он, говоря с Элой, верит, что жена «перебесится» и позволит пока хотя бы видеть ее. 4). Он понял, что она совершенно для него потеряна. Во время четырех этих стадий король был, главным образом, соперник. И Ганос подавлял в себе те чувства благоговения перед гениальным

властелином, которые вызывала в нем просто внешняя причина — голос, вид, походка, весь облик яркого Господина Морна. 5). Жена забыта. Все заглушает новое чувство, исполненное какое-то чувство, что вот из-за него, Ганоса, погибла его дивная мелодичная родина. Таким образом, он сперва видит только следствия, и в этой картине его, главным образом, занимает он сам. А через него, то есть через следствие, он приходит к причинам. И это стадия шесть. 6). Ганос понимает, что он преступник, так как заставил застрелиться того человека, который столько сделал для отчизны и еще рос, обещая новые достижения. Находясь в пятой стадии, он и отшатывается от Тременса, предлагающего ему помочь разрушению. И тут, когда Ганос отрезвился, Тременс видит, что он пил. Вскользь упомянув о Мидии, покидает его, спешит куда-то, сказав, что, когда Ганос выпится, пусть придет туда-то и туда-то. Ганос остается один на площади. Опять вдали вспыхнула перестрелка. Ганос вступил в свою шестую стадию. Безмерное отчаяние. Снова набежала толпа (со знаменем). Толпа захлестнула его.

Картина 2

Большая комната в вилле. В глубине налево большая стеклянная дверь, выходящая на открытую белую террасу. Направо высокое окно с подушками на очень низком подоконнике. За стеклами видны тусклые, озябшие пальмы, качающиеся на ветру. Серая морось южной зимы. Утро. Спиной к зрителям, показывая белый нежный затылок, сидит Мидия у подоконника за столиком с выгнутыми ножками и пишет. Ее слова. Стук. Входит с террасы благодушный почтальон — принес газеты. Мидия дает ему запечатанное письмо, которое при нем же докончила. Почтальон ушел. Мидия заламывает руки перед окном. Ее слова — она все написала мужу. Тоска и новая надежда. Входит Эдмин. Слуга принес кофе, поставил на стол посередине комнаты. Войдя, Эдмин долго и молча глядит на Мидию, стоящую к нему спиной, издали здоровается с ней (он живет в той же вилле и сошел к утреннему завтраку). Она не ответила, не обернулась, застыла с раскинутыми, как крылья, локтями (она в легком кружевном просторном платье с широкими открытыми рукавами). Эдмин рывком берет газету, разворачивает, восклицает, читая вслух о том, что на родине небывалый мтеж и у власти стоит безумный Тременс. Мидия круто оборачивается и, вовсе не вникая этим страшным вестям, начинает говорить о своей тоске. Эдмин пытается занять ее и себя чтением газет. Она прерывает его. Он не выдерживает, предупреждает ее, что она, мол, давно знает, что ему очень трудно спокойно говорить с ней. Она опять прерывает его. Эдмин, потеряв голову, обнимает ее. Она блаженно изогнулась, выпал гребень. Эдмин, как человек, который долго и напряженно сдерживался, умоляет Мидию бежать с ним, наступил на газету, вспомнил, спохватился, сжал голову, восклицает, как низко он поступает по отношению к Морну, к другу своему. Мидия пламенно говорит о том, как Морн опустил, потускнел непонятно. Она, как ребенок, сердится, что Морн поникает, как старик. И кричит во сне, даже ходит. Входит Морн. Мидия отошла от Эдмина, дрожащей рукой разливает кофе. Морн — в халате, неряшлив, небрит. Берет газету, пробегает глазами, бросил, в тоске сел у накрытого стола, мнет волосы рукой. Эдмин не глядит на него. Мидия деланно и быстро говорит о пустяках. Морн заметил гребень на полу и бледность Эдмина, и блеск в глазах Мидии. Как все люди с нечистой совестью, он болезненно подозрителен. Сказал: «Тут словно возился кто-то». Эдмин встал, не отвечая на странный взгляд Морна, сказал: «Я уезжаю». Мидия, встретив взгляд Морна, говорит: «Я уезжаю тоже...» И начинает ему признаваться во всем: в том, что ошиблась, не может жить в какой-то унылой дыре с ипохондриком и т. д. Эдмин отошел к двери террасы, стал спиной. Морн все понял. Говорит Мидии: «Уезжай тотчас». Она выходит из комнаты, спокойно согласившись. Эдмин все стоит у окна. Морн говорит: «Спасибо, Эдмин». Тот бросается к нему, объясняет, просит прощения. Морн понимает, что это — кара. Кроток и спокоен. Но говорит: «Прошу тебя, уходи, я не могу, ведь мне очень тяжело видеть тебя». Эдмин, зарывав, уходит (он тоже — обманщик). Морн один. Вдруг превратился в зверя — топчет газеты, мечется по комнате. В дорожном платье, в синей вуали, входит Мидия с открытым чемоданом, сует в него разные безделушки с этажерки и т. д., не глядя на Морна. Затем Морн, снова как-то светло и лирически поникнув (не униженно, как Ганос), начинает ей помогать. Их тихий разговор. Одно мгновение Морн открыл было Мидии, кто он, но спохватился, промолчал. Продолжают тихо разбирать вещи. Через комнату горничная и лакей проносят сундук. Снова Морн и Мидия одни. Тихо прощаются. Мидия склонилась, просит прощения, говорит о глазах Эдмина. Уходит. Морн постоял посередине комнаты. Затем быстро вышел на мокрую от дождя террасу. В глубине, в проеме открытой белой двери виден он, стоящий на балюстраде: он глядит вниз, медленно поворачивая голову слева направо, как человек, следящий за уходящим. Затем, бережно закрыв за собой стеклянную дверь, он возвращается в комнату, платком вытирает волосы, намоченные косым дождем, начинает аккуратно прибирать комнату, задвигает ящики и т. д. Его монолог. Тихая и бесконечная скорбь. Все рухнуло. Но убить себя он не в силах.

Картина 3

Кабинет короля во дворце. Яркая оттепель. В углу окна видны крученые прозрачные бирюзовые сосульки. С них стекают алмазные капли. В прежнем королевском кабинете, в сизых волнах папиросного дыма сидят пятеро: Тременс, Клян и еще трое.

Только что окончилось чрезвычайное заседание. Разговор о том, что романтика в стране еще осталась: ходит в народе легенда, что король жив, вернется. Ее нужно вытравить, задушить — романтику эту. Тременс уверен, что он это сделает. Ему возражают: мечту убить невозможно. Трое уходят. Кляня говорит Тременсу о том, что Ганос, когда-то самый рьяный из заговорщиков, теперь не желает принимать никакого участия в делах. Тременс отвечает, что он как раз послал за Ганосом. Кляня — всецело орудие Тременса. Это слабый, трусливый, речистый человек. Тременс дает ему поручение, тот уходит. Тременс один. Его монолог. Он достиг своего, только вот эта сказка, что живет в глубинах народа, тревожит пламенного истребителя. Входит Ганос. Он находится в шестой своей стадии: в экстатическом и скорбном настроении, он волнуем раскаянием и громадной любовью к королю, им погубленному. Слушая смутную его речь, Тременс приходит к заключению, что Ганос сошел с ума (сперва пьяный, теперь безумный). Ганос просит Тременса простить его. Входит Элла и, слыша обидные и жестокие слова Тременса, закрывает ему ладонью рот. Входят к Тременсу люди, зовут его на собрание. Ганос и Элла остались одни. Ганос в стадии семь. Он говорит о том, что собирается в монастырь, что на душе его громадный грех, он чувствует милосердную нежность ко всему: к легкой, взволнованной Элле, к бирюзовому текущему льду в окне и даже к грозному Тременсу. Элла просто и почти спокойно признается ему в том, что она любит его, говорит, что искала забвения в гражданской буре, но вот теперь поняла: 1) как не прав, как преступен отец; 2) как некрасив, незвучен мятеж и 3) как глубоко и беззаветно любит она Ганоса. Он говорит ей, какую нежность он к ней чувствует, но объясняет, что жизнь его кончена. В жизни для него осталась только лучистая печаль, мучительная прозрачность. Элла, как бы вспомнив, вынимает из мешочка письмо: «Я к вам заходила, захватила письмо, которое вам пришло, лежало на вашем столе». Ганос берет: почерк Мидии! Короткий монолог Ганоса. Он рвет письмо, не читая. Элла чудесно повеселела, а Ганос потух. Возвращается Тременс, разгоряченный, довольный. Элла к нему весело ластится. Ганос хмуро отвечает на шутки Тременса. Тременс сел у стола, пишет. Элла смотрит через его плечо. Входят другие корявые возбужденные люди. Внезапно Ганос кидается к столу, хватает из-под него корзину, роется в ней, находит и складывает вместе разорванные лоскутки. Его обступили. Он кидается вперед — он все понял. Кричит бессвязные слова, что он обманут, что прольется, прольется кровь! Обращается к Тременсу. Говорит, что уезжает за границу. Тременс пожимает плечами, говорит друзьям: «Уберите этого буйно помешанного». Ганос уходит. Он в стадии 8, тождественной с 2, но еще более острой: опять жена, опять соперник, только соперник, которого нужно убить. Тременс заговорил с подчиненными о делах. Кляня косится на Эллу, которая поникла, плачет.

АКТ IV

Картина 1

Сад, облитый металлическими потоками луны. Синеватый гравий, черные кусты. В глубине — терраса виллы, белесая балюстрада и справа ступеньки, веером заворачивающиеся вниз. За террасой — стеклянная дверь. Из сочной черноты цветущих кустов выходит на лунный гравий фигура Ганоса. Он принужден ждать утра, чтобы войти в дом и убить Господина Морна. Проникнуть в спящий дом он не решается — слишком рискованно, примут за грабителя, расположение комнат он не знает — разбудит челядь. А ждать у себя в гостинице он не может — слишком привлекает его эта белесая каменная вила, где, по словам встреченного по пути почтафона, живет его соперник. Не король, а хищный и хитрый соперник — этот Господин Морн, который сперва увлек, а затем бросил (так, по крайней мере, Ганос понял из довольно смутного письма, им разорванного на клочки), бросил Мидию. Монолог Ганоса. Его ожидание. Лунное наводнение. И вдруг, тихо поблескивая, медленно раскрывается стеклянная дверь на меловой террасе, появляется фигура Господина Морна в легких, светлых ночных одеждах (белые шелковые штаны и такая же рубашка) и, с медленной гибкостью поднявшись на белую балюстраду, что тянется вдоль довольно высокой террасы, ступает босыми серебристыми ногами по балюстраде этой, блаженно и дико улыбаясь полной луне и чуть покачивая раскинутыми руками. Ганос гакнул и выстрелил. Господин Морн зашатался и соскользнул по ту сторону балюстрады. Пуля звонко вывездила стекло двери за террасой. Господин Морн, скрытый балюстрадой, светло смеется, поняв, что вот он ходил во сне, что-то разбудило его. И как хорошо, что он упал налево, а не направо, вниз, на крепкий гравий садовой площадки. Ганос окликает его, подбежав к лестнице. Смех Морна затих. Он подымается из-за балюстрады и медленно и твердо начинает спускаться по ступеням к Ганосу. Как все люди, только что проснувшиеся, Морн ясен и безбоязнен. Ганос говорит ему: «Я смерть твоя, я пришел за тобой». Морн внезапно попытлся назад, кричит: «Стреляй, стреляй, пока я не проснулся!» Меж тем на террасу из стеклянной двери выбежали двое полуодетых слуг. Ганос спрашивает: «Ты боишься?» Морн: «Да, но я готов. Стреляй!» Ганос метнулся, выстрелил и тотчас скрылся в лунной черноте. Господин Морн рухнул на ступень. К нему кидаются слуги. Поднимают его. Тревожно и суетливо переговариваясь, уносят в дом.

Картина 2

Комната Дандэлио. Клетка с попугаем в глубине между двух окон. Голубые розы стенных обоев. По комнате, по серому ковру, шагает, мечется Кляян. Монолог из междометий. Он в безудержном, открытом животном ужасе. Заглядывает в окно. Осторожно прикрыв за собой дверь справа, входит на цыпочках Дандэлио. Кляян, дрогнув, круто обернулся. Дандэлио: «Элла уснула». Кляян: «Что же это такое... Боже мой... Что же это такое...» Из их диалога выясняется: вспыхнул новый мятеж против Тременса. Ибо пришла весть, что король жив, собирается вернуться и, по слухам, уже в пути. Романтической бурей чернь хлынула на диктаторов. Кляян и Элла бежали и нашли приют у тихого, ясного Дандэлио. Тременс еще борется где-то. Но бури не остановить. Народ уже занял дворец, выметает сор, моет окна, рассыпает цветы, готова дворец к въезду страстно ожидаемого короля. Дандэлио мало занимается все это. Он весел и легок, как всегда, и только заботится о том, чтобы Кляян своими вскриками — вскриками затравленного, кружащегося зверя — не разбудил бы Эллу, уснувшую после бессонной ночи в соседней комнате. Дверь налево вылетает: в разорванном, окровавленном пальто тяжело врывается Тременс: «Все кончено». Дандэлио: «Тсс... Элла спит». Тременс рассказывает, как ему удалось бежать от законных мятежников; как старики уже собрались в сенате; как толпы на площадях поют песни, сочиненные королем. Кляян жалок Тременсу своей трусостью. Сам Тременс холодно принимает неудачу и почти неизбежную гибель. Лихорадка снова трясет его. Выходит из двери направо Элла, бросается к отцу. В первый раз за всю трагедию он обращается с ней, как отец с дочерью. Продолжает рассказывать: пришла достоверная весть, что король, бежав с женщиной, им любимой, но имени которой не знает никто, прожил эти три месяца за границей, а теперь объявился и будет назад. Элла начинает в глубокой тоске сообщать что-то. У ней вырывается имя Морна. Тременс мучительно дрожит от лихорадки, трет лоб рукой. Дандэлио спокойно и весело рассказывает, что однажды в передней у Тременса он видел двоих вошедших, из которых один обращался к другому «Ваше величество», не заметив Дандэлио, который зашел за вешалку. Тот, к которому так обратился говоривший, рассмеялся чему-то и стал подниматься по лестнице, другой остался внизу на улице. Дандэлио остался спрятанным, пока «его величество» не сошел вниз. Тогда, как, может быть, Тременс вспомнит, он, Дандэлио, зашел к нему, но Тременс ничего не сказал ему о своем госте. Теперь Тременс, слушая беспечный рассказ Дандэлио, начинает все понимать. «Морн, Морн!» — кричит Элла. Дандэлио весело кивает. Тременс вдруг проясняется, тихо говорит старику: «Но ведь помнишь дуэль? Он ведь должен убить себя». Дандэлио спокойно кивает головой: «Жизнь сильнее смерти». Кляян, за все время этого разговора не принимая в нем никакого участия, мечется по комнате, подходя то к одному, то к другому, упрасывая, заклиная бежать. И все по-своему отталкивают его. Элла, поняв, что Морн завлек жену Ганосу (и теперь узнав об их столкновении), прониклась сразу женским истерическим презрением к личности короля (перед которым она благоговела, несмотря на ее участие в работе отца, каковое участие имело другую подкладку: забыть). У Эллы только одно — любовь к Ганосу. У Тременса: холодное улыбка, холодное сознание гибели и какое-то злорадное чувство, основанное на том, что король такой же слабый человек, как все, и что рано или поздно эта слабость скажется и в правлении его, ибо каждая духовная черта в человеке должна — даже будь она ревностно тайма — выразиться когда-то в каком-нибудь действии — в дурном, если черта эта дурная, в хорошем, если наоборот. У Кляяна все растущий страх перед смертью. У Дандэлио — спокойное и как бы лучистое отношение ко всему. Для него все в мире — игра, всегда одинаково занятая, всегда одинаково случайная. Кляян шарахнулся от окна. Кричит: «Идут, идут!» Метнулся в дверь направо. Тременс говорит спокойно дочери: «Только помни — молчи. И тебя тогда не тронут». Дандэлио сыплет зерно попугаю, щелкает пальцами сквозь решетку. Слева вошли пятеро солдат с офицером. Офицер подходит к Тременсу. Офицер: «Оружие». Тременс пожал плечами. Офицер обратился к солдатам: «Расстрелять». Дандэлио все играет с попугаем. Офицер с пистолетом в руке подходит к нему. Спрашивает: «Вы кто?» Старик отвечает спокойной шуткой, объясняет наивно, что вот он, Тременс, его друг. Элла метнулась к отцу, который стоит посреди комнаты. Офицер, указав на Дандэлио: «Расстрелять». Элла, захлебываясь, закричала, что народ обманут, что король просто пошлый искатель приключений, похититель чужих жен, трус. «Расстрелять», — говорит офицер тем же тоном. Те троем стоят посреди комнаты, вокруг — спокойные солдаты. Офицер толкает дверь справа дулом пистолета, выходит. Через мгновение слышен отчаянный лепет Кляяна, который клянется, что хоть он и принадлежал к мятежникам, но всегда стоял за короля. Офицер зовет солдат и пленных. Солдаты, Тременс, Элла и Дандэлио проходят направо. Слышен опять голос офицера: «Всех четырех расстрелять». Офицер затем выходит, проходит справа налево. Сцена пуста. За дверью направо слышен дикий, нестерпимый вопль Кляяна, который захлебывается, молит, клянется, рыдает. Два-три раза Тременс прерывает его холодным окриком. Нараспев вдруг заговорила Элла, выливая свою тоску, словно она одна и вот бредет. Выстрел — голос Эллы оборвался. Снова кричит Кляян. Выстрел — Кляян продолжает неистово вопить. Выстрел — голос Кляяна что-то и как-то буднично говорит. Выстрел — все тихо. Выходит и, как офицер, проходит справа налево солдаты, хмурые, спокойные. Сцена опять пуста. Затем слышен стон справа, и ползком из открытой двери, зажимая грудь, тянется Тременс. Его прерывистый монолог: «Мечта, ты победила». Упал ничком. Умер.

Картина 3

Комната на вилле Господина Морна. Только теперь в стеклянной двери, ведущей на террасу, звездообразная дыра от выстрела Ганоса. Широкий солнечный день. Пальмы лоснятся. На террасе пятна солнца. Одна половина стеклянной двери — цельная — открыта. На кушетке у распахнутого окна лежит Господин Морн в черном шелковом халате с белыми отворотами. Голова в черной повязке. У кушетки с бюваром в руке стоит Эдмин. Господин Морн необычайно весел и бодр, как человек, переживший тяжелую болезнь. Из их разговора выясняется следующее: Морн был только слегка ранен в голову пулей Ганоса. Узнав о том, что будто бы грабитель напал на Морна (так поняли слуги), Эдмин сразу же пришел к нему и нашел прежнего, лучезарного властелина своего, который решил открыть тайну о том, кто он, и оповестить мир о своем возвращении. Эдмин тотчас же принял надлежащие меры. И вот на родине короля ждут, и весь мир потрясен романтическим подвигом короля, отдавшего царство за женщину (и при этом причину вспыхнувшего мятежа видит не в этом побеге, а в нерешительности сената, который вместо того, чтобы... и т.д.). Король говорит Эдмину, что после выстрела (а с тех пор прошла неделя) он свободен. А у бедного Эдмина горе, которое, однако, было заглушено радостью видеть в Морне короля и знать, что, как только доктора позволят, Морн как король вернется в свою страну, где снова налажен порядок, хоть и тут и там жестокость смирителей еще вызывает мятежи. Горе же Эдмина заключается в том, что Мидия, лукавая и лживая, ищущая в жизни только блеска и смеха, не любит его, хотя с ним и ушла. А Морну теперь Мидия не нужна, он весь полон новым планом, весь охвачен славой своего возвращения и едва слушает Эдмина, когда тот говорит о Мидии. Начинают являться посетители, сановники других дворов, изгнанники, бежавшие от буйства Тременса, а также и журнальные прониры, фотографы и т. д. Эдмин и слуги помогают Господину Морну переключать на солнечную террасу, а в комнате толпятся люди, по одному впускаются к королю. Их разговор, расспросы. Эдмин рассказывает им о том, как король бежал, невольно приукрашивая действительность, когда его тихо спрашивают, а где же она — героиня царского романа? Он говорит, что она отказалась от любви короля, дабы он мог спокойно возвратиться и царствовать. Затем доктор говорит, что королю еще нужен покой, и посетители расходятся. На террасе видны: Эдмин у кушетки Морна, который продолжает отдавать приказы. В комнате пусто. Вдруг справа выходит дама в синей вуали — Мидия. Ее монолог. Она долго боролась с собой, раньше чем прийти. Эдмин замечает ее, идет к ней с террасы, где Морн задремал. Мидия говорит Эдмину, что ей нужно видеть Морна. Эдмин спрашивает: «Но скажи, любишь ли ты меня?» Она машет головой. У Мидии такая душа: она снова по-своему полюбила Морна, когда узнала, что он будто бы сделал ради нее. Тут, конечно, есть мысль, что король на ней женится и она станет королевой. Эдмин понимает это. Меж тем король на террасе своей проснулся, поднялся, входит в комнату. Одну минуту вид Мидии пробудил в нем соленое, острое воспоминание любви, музыку прошлого. Но сразу же величавое и радостное настроение возвращается к нему. Эдмин, поникнув, уходит на террасу. Король говорит Мидии о том, что будет делать, приехав обратно. Мидия говорит: «Я ошиблась. Я вернулась к тебе. Прости меня. Я только тебя люблю». Морн качает отрицательно головой: «Поздно, Мидия, я слишком горько думал о тебе, любовь моя умерла, не возбуждай ее опять. Мы будем оба несчастны». Мидия растерялась, заплакала, говорит о письме, которое получила от Ганоса из дальнего монастыря, куда он навсегда скрылся после неудачного (он знает, что он был неудачный, и об этом не жалеет) своего выстрела. Король, видя ее растерянность, окончательно умиленный, обнимает ее. Говорит: «Пойди в свою комнату, в нашу комнату, там все осталось по-прежнему. Подожди меня там, я должен подумать». Мидия целует ему руку. Уходит, повеселев. Король зовет: «Эдмин!» — и опять: «Эдмин!» — и звучит та же плачущая нота, что звучала тогда, когда, не будучи в силах убить себя, звал друга. Эдмин с террасы вернулся в комнату (он сидел на балюстраде, лихорадочно курил, глядел в сад во время разговора короля и Мидии) и молчит, не глядя на Морна. Морн стоит посреди комнаты, затем метнулся, замер вновь. Говорит: «Эдмин, ведь это все ложь!..» Эдмин: «Да, государь». Король: «Ты что сказал?» Эдмин: «Я говорю: она теперь полюбила в твою корону». Король: «Я не про то, Эдмин, пойми, все ложь... ложь, не только любовь Мидии». Эдмин: «Успокойся, государь...» Король: «Все ложь, обман необычайный...» Бесконечное отчаяние, непонятное Эдмину, завладевает королем. Эдмин не знает, что сказать. Монолог короля. Он говорит, что он, король, обманщик, обманул смерть, обманул судьбу и теперь будет тайно обманывать свою страну. «Ты создал мечту, государь...» — говорит Эдмин. «Мечта, — повторяет король тоскливо, — трусы мечты не создают». Он сел у стола. Эдмин не смотрит на него, занятый другой тоской — своей любовью к Мидии. Начинает о ней говорить — говорит, что и он обманывает теперь короля тем, что вернулся к нему, ибо, благодаря любви своей к Мидии, он тайно возненавидел соперника. Король отвечает ему односложно, занятый тем, что, вынув пистолет из ящика стола, вкладывает патроны; втолкунул обойму. Что-то щелкнуло. Эдмин быстро обернулся. Король улыбнулся, казал последние свои слова, приложил дуло к груди — глухой выстрел — выпрямился король — и рухнул. Эдмин кинулся к нему. В дверях появилась Мидия, говоря что-то свое, житейское. Оцепенела, увидя.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

САША АНОСОВА

ИЗ ЦИКЛА, ПОСВЯЩЕННОГО А. АХМАТОВОЙ

1

Белым по черному жизнь я рисую свою,
белым по черному — верю, страдаю, скорблю.
Что б я ни сделала, где-то останется след...
Черным по белому жизнь мне напишет ответ.

2

Нет, я жаловаться не стану!
Видно, участь моя такова —
лишь чужие зализывать раны,
а свои... превращать в слова.

3

Вхожу неслышно
в свой старый сад —
цветущих вишен
и яблонь ряд.

И ветер плачет
и гонит вслед
пепел горячий
минувших лет.

4

Опять бреду заросшею тропею,
петляющей, зовущей в тишину.
И все полузабытое бывшее
я вижу сквозь туманов пелену.

В который раз я сквозь туман ступаю
безрадостно, бесцельно, в никуда...

А по пятам преследует шальная
извечная попутчица — беда.

Я от нее бегу — она за мною.
Как странен этот наш бесцельный путь!
Смыкают ели лапы за спиною,
и страшно мне обратно повернуть.

Саше Аносовой — четырнадцать лет. Стихи пишет с тех пор, как научилась читать. Мать Саши, историк, работала экскурсоводом в Новгородском кремле. Исторические книги, старинные соборы и жизнь в бывшей монастырской келье (за неимением другого жилья) привили девочке интерес к старине и поэзии. В С.-Петербург семья переселилась в 1996 году.

Редакция желает Саше Аносовой осуществления ее надежд на нелегких путях российской поэзии.

* * *

Л. Е.

В тот светлый миг, когда в тиши
я облакаю душу в строчки,
где в каждом слове, в каждой точке
страдания, боль и плач души,

улыбку вижу я твою,
твой образ милый предо мною,

и я тебе их подарю —
листки с начертанной душою.

И ты прочтешь их не спеша,
все эти вздохи и стенанья.
В твоих руках — моя душа
и все мои воспоминанья.

* * *

В этой жизни мы все короли,
и шуты, и паяцы, и франты.
Мы интрижки свои заплели,
как заправские комедианты.

Мы играем одну за другой
и смешные, и жалкие роли,
и смеемся порой над собой,
а порой изнываем от боли.

Так зачем эта вся суета?
Не пора ли кончать с маскарадом?
Мы играем, а зала пуста —
ни единого зрителя рядом!

Так давайте закончим игру,
сбросим всем надоевшие маски.
А завтра, с зарей поутру
мир окрасится в яркие краски...

* * *

— Зачем живешь на свете ты?
И мой ответ таков:
— Чтоб розы дивной красоты
найти среди сорняков;
чтоб ошибаться и прощать
нападки злой молвы;
среди пены облаков искать
осколок синевы;
чтоб нежно целовать уста
того, кто сердцу мил;
чтоб рассказать, как жизнь чиста,
тем, кто о том забыл.

ИЛЬЯ ЗАМЕШАЕВ

РАССКАЗЫ

МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ КУКЛЫ

Раньше она одевалась в глаза цвета приборя, в руки, что носят охотницы на невидимых рыб, и кожу, как у обыкновенных, только начинающих первые сигареты восьмиклассниц. Теперь на ней черные зрачки в пол-лица, под зрачками черные гады, а вместо кожи черные вены, что едва держат бледные желтые кости. Вот она, по-прежнему кокетливо и смущенно переминаясь с ноги на ногу, стоит на моем пороге, бессмысленно теребит спичечную коробку, пугает ресницами сонную пыль.

Что ж, входи: жена отправилась на очередные соревнования или сборы и будет неизвестно когда. Посмотрим видео, поболтаем и — так далее.

— Не-е-т, — тянет она, — мы пойдем гулять.

Под джинсовкой — нестираная майка с истертой Мадонной, под майкой два чернеющих острых соска; нитки обрезанных шорт, шершавые, как у подростка, коленки. Я знаю это наизусть. Моя жена разрезает неустанющим телом воду шведских бассейнов, смеется сейчас с соперницами, зарабатывает стране медали, а мы спускаемся по ступеням, ее непослушные штиблеты пишат шаманские ритмы, она цепко ухватывается обеими руками за мое предплечье; я ощущаю тонкие, холодные и глупые пальцы.

Высохший серый весенний асфальт; цепляются за облака ветви хрупких, не одетых еще деревьев; куда идти — не знаем.

Молчим. Парк. Скамейки. Тени, ветки, мусор, палые листья, облака. Набегает теплый, душный ветерок, в котором трудно дышать. Под ногами цветными мелкими детские рисунки. Кошки, собаки, зайцы, золушки, гномы. Все как всегда. Расчерченные и пронумерованные для игры в классики неровные квадраты. Тихо, пусто; старушки, коляски, бездомные игрушки, мертвые аттракционы. Нужно заплатить за телефонные переговоры и квартиру, думаю я, и, если успею, заглянуть в офис — что-то там у них с принтером приключилось. Вряд ли, конечно, это серьезно, но...

— А ты в классики играла? — спрашиваю, разглядывая разукрашенный асфальт, и сворачиваю на узкую тропку к небольшой, поросшей тиной и грязью запруде.

Есть дни с лицами пасмурными и трезвыми, есть медленные и задумчивые, есть злые, торопливые, веселые. Сегодня день молчаливый, беззвучный, легкий. Лишь провисшие, слегка сырые облака, далекий и призрачный скрип колясок, изредка ветерок. Больше ничего.

Илья Викторович Замешаев (род. в 1973 г.) публикуется впервые. Живет в Москве.

© Илья Замешаев, 1997.

Наугад выбираем одну из покосившихся скамеек, холодные пальцы отпускают меня, садимся. На земле пивные банки, битое стекло, прошлогодние листья; деревья сухие, колючие, тонкие, — и как будто бы осень, будто бы вечер, как будто не расставались никогда. Но в спину греет уже робкое солнце, перед нами наши вытянутые тени, над головой растет рог, ветвится, колышется; набегают ветерок — рог рассыпается.

— Не помню, — лениво отвечает она. Молчит и нехотя добавляет: — Не помню. Может, играла, а может, и нет. — И, наполнив обыкновенную паузу задумчивой водой молчания, добавляет еще: — А если играла, то недолго. Ты же знаешь, все мои подруги — сплошь дуры. Бывшие подруги.

У тебя под каждым глазом по гаду. Твои подруги прекрасно устроились и, вероятно, довольны жизнью. Но, впрочем, я не мама с папой. О чем болтать будем?

— Встретила на днях одну. Ой, говорит, так интересно, так интересно. Страшно, с одной стороны, а с другой — так попробовать хочется. Скажи честно — это больно? Отвечаю, что нет, не больно, лишь бы отвязалась поскорее. А потом что-то вдруг завелась, давай гнать, что так только, немного неприятно струну из вены вытаскивать, а затем отлично, затем усаживаешься неторопливо в кресло, делаешь чуть громче музыку и погружаешься на дно океана. Как в аквариуме: и рыбы вокруг плавают, и мебель, и пластинки, и удивительный дождь. И лев, говорю, приходит прозрачный, и лижет между ног. Горячо лижет, преданно, до одури. Не верит. Не хочет. У самой слюни текут, а не верит. Надоело мне тут, пойдём гулять.

— Так не бывает, — говорю зачем-то и с неохотой встаю.

Можно вернуться в парк, где тебе скучно, можно во дворы к домам, поможкам и окнам. Можно пройтись дальше, к кладбищу, куда совсем не хочу уже я.

— Ну вот. И ты туда же. Конечно, никаких львов нигде не бывает. Разве что в зоопарке или по телеку... Перевернуть бы весь этот чудесный мир к ребятам, а?

Нам давно плевать на приличия, и мы так и говорим. А ведь ты, скорее всего, ни разу не была в зоопарке. И в планетарии не была. И в Кунсткамере, где тебе бы понравилось.

— Не советую. Один мой знакомый попытался и перевернул.

— И что? — Зрачки недоверчиво сужаются, пальцы впиваются вопросительно в мякоть мышцы. Нам бы всё телеги гнать.

— А ничего. Все осталось по-прежнему. Только ему самому пришлось на руках висеть, чтобы не сорваться. Потом научился на четвереньках ползать, сейчас учится ходить на ногах. Так-то.

Надоевшая и потерявшая смысл церквушка. Сколько себя помню, столько ее реставрируют. Памятник архитектуры, охраняется государством. Один бок разодран — торчит багровый кирпич, вместо глаз — ржавое железо ставень, лицо заштукатурили, а лоб побелили; дальше — кладбищенские кресты, кочки, рывины, камни, прогнившие пни и лавки. Разглядываем буквы, цифры, года. Вычитываем спрятанные под тлеющими временами и листьями имена, фамилии. Вычитываем. Скучно и грустно. Она подходит к каждому памятнику, к каждой могиле, внимательно вглядывается в почерневшие фотографии, о чем-то, кажется, размышляет. Истично вскрикивает грач; вычерчивая замысловатые круги, разлетаются в перепуге воробьи, бестолково топорщится кустарник, перешагнув через низкую ограду, она подходит к чуть ли не единственной здесь прибранной могиле, замирает перед золотыми буквами на темном шлифованном граните. Минута, две. Еще дольше. Неслышно приближаюсь к ней, кладу руки на плечи. Вздрагивает. Странно и больно чувствовать в ладонях чужое, одинокое.

— Пойдем отсюда, — говорю.— Кругом весна, а ты... а здесь как будто бы вечная осень.

— Четыре годика.

Молчим.

— Наверное, четыре года назад у меня тоже мог бы быть ребенок.

Мог бы. Могла бы. Почему ты ничего не можешь, я знаю, а вот почему моя жена, здоровая, сильная и умная, не может завести ребенка, мне непонятно. Тренер, тренировки, спортивные карьера и честолюбие запрещают рожать. Мне непонятно. И у меня мог бы. Четыре года назад. Она заменяет нахлынувшую тему другой мелодией, не более радостной и известной мне, как все ее старые песни:

— Знаешь, придешь домой, а мать начинает: когда, детка, за ум возьмешься, когда о жизни задумаешься, когда жить начнешь по-человечески, нормально, как все твои подруги. Такое зло берет, — запрешься в сортире, ширнешься, и уже так интересно становится маму слушать, и тяготы жизни так страшны и ужасны, что все мамины действия просто смешны. Часами могу выслушивать советы, нотации, вздохи. Или сяду с папой телевизор смотреть: у него глюки, и у меня тоже, вроде как за компанию. Он как телевизор спрашивает, я как газета отвечаю. Вечер и пролетает... А когда с тобой, мне совсем не хочется торчать. Совсем-совсем не хочется.

Не хочется, а торчишь. Не в сортире, так в моем подъезде, а задвинуться успела. Твои честные зрачки никогда не лгут мне. Благодарю. Пойдем, наконец, отсюда. Зачем нам знать безвестные, забытые, ничего для нас не значащие имена? Зачем беспричинно падать в бездну тоски и молчания? Что за прихоть сиять голыми ляжками по мрачным, непролазным дорожкам? Ни с места... Будто бес какой привязал ее к ржавеющему, с язычком искусственной гвоздики кресту.

— Не хочу, — речь жестка, чеканна, зла, — не хочу здесь. Не хочу так. Придешь со своей женой и скажешь: вот она, смотри. Бросишь пару дурацких роз и подумаешь: да, такой она и была. Ннне-н-н-нехочу. Противно. Буковки, циферки, цветочки, крестики, слезки.

— Умоляю, прекрати, не надо. Посмотри в какую-нибудь другую сторону. Вернемся в парк, купим тебе мороженое, покачаем тебя на качелях. Какое место, такие и мысли. Уйдем.

Нет, нет и нет. Вот канитель развела. Сегодня же ты не собираешься умирать? Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Послезавтра и поплачем. А сейчас нечего и думать. Пошли.

— Нет, не пошли. Надо обо всем заранее думать. Хочу, чтоб меня не хоронили. Понял? Ты меня понял? Скажи, что делать, и я успокоюсь.

— Что делать, что делать? Откуда я знаю? Продай себя какую-нибудь институту, где любопытства ради разбирают тебя по частям, а части сваливают в общую яму. Наверное, сваливают. Во всяком случае тебя никто не найдет и не узнает.

У-у-у, какую гадость я могу сказать.

— Прямо сейчас.

— Что — прямо сейчас? Ты спятила? Остановись.

— Поехали прямо сейчас. В институт. Я продам себя. У меня пройдет дурное настроение, и будем веселиться, как ты того пожелаешь. На полную катушку. Поехали. Ведь у тебя есть деньги? Я знаю, у тебя всегда есть деньги. Возьмем такси, быстренько смотаемся, продадим меня, получим справку, что я не принадлежу никаким похоронным бюро, и свободны. Ну, поехали, я же говорю тебе, поехали, а?

Тебя лечить надо. Хочешь, отправимся в ресторан? Ну, ладно, съездим на Пушкинскую, где продают гашиш, а затем купим два билета в рай. Все мы живем от зарплаты до зарплаты. Пока жена в разъездах, я согласен на любые подвиги.

Подать сюда такси, подать научно-исследовательские институты, подать бронь на операционный стол.

— Хорошо, такси ловлю я, куда ехать — объясняешь ты.

Кончается кладбищенская ограда, кончается аллея, кончается тишина. Тяжко, нелепо. В психиатрическую лечебницу нас обоих, мы боимся превратиться в безликие лживые памятники. Лучше вообще исчезнуть. Да,

нужно государственное такси: частник не поймет. А таксист понимать не обязан. Ему, как и государству, должно быть наплевать, куда ехать.

— В институт, — бодро говорит она.

Водитель в полувопросительном обороте.

— Ну или в больницу, — менее уверенно, но по-прежнему бодро объясняет она, — где можно продать труп. Будущий труп. Понимаете? Нет, вы не понимаете. Себя, мертвую. Себя продать. Получить деньги и справку. Нам справка нужна.

— У вас нет денег?

Показываю кошелек. Таксист в недоумении.

— В центральную больницу, — говорю, — там разберемся.

Она облегченно вздыхает.

Наплывают, сменяя друг друга, фасады, витрины, мелькают люди, машины, светофоры, реклама, гаишники. За каким чертом едем? Ничего из этого, кроме неприятностей, не выйдет. Но неприятности, кажется, тебя всю жизнь веселили. Хорошо.

Расплачиваюсь. Таксист не то презрительно, не то сочувственно улыбается. Поднимаемся по длинным ступеням. Больничный запах хуже, кажется, чем кладбищенская тишь. Но что делать? Куда? Куда теперь?

Ловим какую-то врачиху. Может быть — обыкновенную медсестру. От глупости, безрассудства и собственно стремления немного страшновато и неловко.

— Да вы что, спятили, что ли, молодые люди?

— Спятили.

— Спятили, — поддакиваю.

— А ну-ка, марш отсюда, ишь чего надумали. Денег вы все равно много не получите. Ну-ка марш. Любите друг друга на здоровье, а по больницам рано слоняться. Не доросли еще.

— Доросли. — Она показывает черные дыры рук, черные, изрытые иглами разнокалиберных проигрывателей вены, показывает свои бесконечные пробоины и красиво и жестоко ухмыляется.

— Вон главный врач, к нему обратитесь, — советует потемневшая и постаревшая на глазах женщина, поворачивается к нам задом и медленной походкой удаляется в длину неоновом коридора.

Несмело подходим к главному. Объясняем ситуацию. Никаких возражений. Второй этаж, налево, до конца, крайняя дверь, от Павла Петровича, с его разрешения. Быстро поднимаемся, без единого лишнего вопроса получаем справку, спускаемся в регистратуру, ставим печать. Все очень просто. Забегаем на последний этаж к Павлу Петровичу, получаем деньги и — на свежий воздух, в уличный гам.

— Довольна?

Светит в лицо солнце, пахнет бензином, бесшабашностью и теплым асфальтом.

— Хо-хо, у меня есть теперь честные деньги. Мы пьем шампанское!

Извини, но тебя и правда надо лечить. На такси мы потратили больше, чем у тебя в руках.

— Последняя блядь и та больше получает.

— Последняя блядь думает только о собственном удовольствии, а после подыкает, как положено последней бляди. А я ведь думаю о будущем, о науке, медицине, о всем грешном человечестве. Обними меня скорее, а то, глядишь, завтра уже будут лапать меня и щупать безмозглые студенты и их профессора.

— Они станут тебя резать, — говорю, — расчленять, копать в кишках, гениталиях, мозгах, селезенках.

— Глупости, ничего такого у меня нет.

У подъезда сидят старухи — вечные мои вечерние соглядатаи, высматривают, запоминают, обсуждают, додумывают, дополняют. Такого-то числа

весеннего месяца я с дамой весьма распутного вида с бутылкой шампанского, с огромным букетом из трех маленьких тюльпанов, поднялся на свой этаж, в свою квартиру, темноло, на кухне загорелся свет, жены целый месяц никто не видел.

Она скидывает джинсовку, из-под майки высвечивают два черных соска, щуплые мальчишеские плечи. Не плечи — плечики. Под прозрачной кожей тонкие кости, по которым в пору вспоминать курс школьной анатомии.

— Я останусь сегодня у тебя?

— Я догадался.

— А я не утверждаю, а спрашиваю раз-ре-ше-ни-я. Ты ведь у нас же-на-тый. Приедет твоя ненаглядная, морду мне набьет.

Очень ей нужна твоя морда, ангел. Бить будут меня.

Когда мы только познакомились, она слушала не то Ника Кэйва, не то Элиса Купера. И теперь она ставит ту же кассету. У меня ворох фирменных записей, которые я не успел даже раз прокрутить, а приходится проводить вечер под осточертевшего Купера. «Миллион долларов для куклы» — ее любимая песня, одна и та же любимая песня, а мне — наказание.

— Когда придет утро, ты разбудишь меня, ладно? Как тогда. Мы будем смотреть рассвет. Помнишь, как ты говорил? Это уже не ночь, но еще не утро. Так? Ангелы накрыли для нас землю фиолетовыми крыльями, и белые перья их снегом падают на замерзшие дома, деревья, но скоро поднимется бледнолицее солнце и мы увидим, что крылья ангелов прозрачны и чисты. Зима была. Проснемся пораньше, правда? Я вновь хочу видеть фиолетовое небо, какого не знает никто.

Любишь ты всякую чепуху. Даже позавидовать можно. Нет, небо, как море, два раза одинаковым не бывает. Завтра мы увидим розовое молоко однорогих кобылиц, мерцанье умирающей звезды и тихий-тихий восход янтарного солнца. Так? Так тебе нравится?

— Как скажешь, так хоть всю ночь не спи. Обманываешь, наверное, малоумную девочку, а она уши развесит и пьянеет, пьянеет. Придумал, да? Давно? Но, впрочем, пора бутылку открыть. Ой, послушай, вот это. Послушай, послушай: очень хорошая песня. Я, правда, слов не понимаю.

А я слышу ее в тысячный раз. И тоже уже ничего не понимаю.

Когда-то она одевалась в глаза цвета прибой, в руки, что носят охотницы на невидимых рыб, и кожу, как у обыкновенных, только начинающих первые сигареты восьмиклассниц.

«КАРЕНИНА»

Обещалось, что на выходные Ленкины родители укатят на дачу. Хотя мать терзалась и заявляла, что весна, что Лена вот-вот выпускница, что половину ее одноклассников она видит почти каждый вечер еле стоящими на ногах, что устроится обязательно какая-нибудь вечеринка, и всякое такое, и битая посуда, и соседи, но ничего не замечающий папа сказал, что если ездил на дачу в седьмом и в восьмом классах, то теперь тем более можно. А восьмой класс — самый опасный. Так или иначе, никто ни в чем уверен не был, вечеринка то намечалась, то нет, все ждали, Леха, не дожидаясь выходных, купил вина наперед, купил, говорят, на всех, и, не дожидаясь выходных, не торопясь его выпил. И сказал, что если уж его родаки укатывают, то, значит, и всем прочим невтерпеж посмотреть, что случилось с ихними домами за осень и зиму.

Они — уехали.

Шел урок математики. Не шел, а медленно, напряженно и тихо шелест черновиками и тетрадками. Кажется, писали предэкзаменационную контрольную. Сергей смотрел в окно на выясняющих отношения голубей и

переваривал последние сплетни. Леха... Ленку. Но, во-первых, слишком много там всех было, чтобы могло произойти что-то конкретное, во-вторых, ушли все вместе, и Леха тоже, хотя, говорят, он немного погодя вернулся, но скорее всего вранье, — это третья.

Впереди прилежно сопела никогда ни у кого не списывающая Светлана, и — вместе с тем — никогда ничего толком не знающая, ее спрашивать бесполезно. За десять минут до конца она обменяется с Сергеем черновиками, но не ответит ни на один вопрос. Учительница тоже на десять минут выйдет из класса, чтобы Сергей — вслед за пятеркой Светланы — имел возможность получить свою привычную твердую четверку с минусом за небрежность, но просчитать, какова вероятность того, что Алексей сумел-таки — Елену, даже она не в состоянии.

Ох, Сергею было тошно. Ну, почему он не отправился к Ленке в субботу? Они же говорили по телефону, и она звала. Раньше всех.

Сколько прошло с начала урока? Полчаса? Пятнадцать минут? Десять? Пять? Надо валить отсюда, и поскорее. К Джону.

— Светка... Светка, — на коротком выдохе шепнул Сергей, сам еще не зная зачем.

— Чего тебе? — так же коротко, не оборачиваясь, нервно спросила Светка.

Сергей расстегнул... Сергей расстегнул ширинку, вынул... Прикрыл свитером.

— Светка.

— Ну чего?

— Глянь под парту.

— Зачем?

— Ну, глянь.

Она послушно пошарила глазами под своим и соседним стульями и, ничего удивительного не обнаружив, оглянулась. Сергей потянул свитер.

— Дур-рр-рак!

— Что у тебя там такое, Счастливецва?

— Зайцев чуть черновик не отнял. — И, не оборачиваясь, с возмущением, лично Сергею:

— Придурок.

— Зайцев, кол.

— Это же предэкзаменационное.

— Ну и что? Я не шучу. Придешь в пятницу — исправишь.

Учительница открыла журнал и в колонке, отведенной для контрольных, вывела по-армейски вытянутую, строгую и стройную фиолетовую единицу.

— Я свободен?

— Свободен.

И он встал между парт. И как Горец, как Дункан Мак-Лаут, вынул из невидимых ножен невидимый меч, рассекая косые лучи света, совершил несколько ритуальных жестов ... Нет, Сергей не желал убивать никакого воображаемого противника, он жаждал большего: рассечь действительность надвое, вырубить в реальности, в реальном воздухе дверь и уйти от всего, уйти от математики, от мыслей, от собственных осязаемости и телесности.

Срعب резко тетрадки и вышел. К черту. Если Ленка такая, то всякая математика после этого ни в одно место не упирается.

Только на лестнице Сергей понял, что произошло, только на лестнице ему стало стыдно. Стыдно и весело. (Кому было по-настоящему стыдно, так это Счастливецвой Светлане, влюбленной, кстати, в Сергея. Но об этом оба они пока не догадываются. Может, никогда не догадаются.) Сергей был не особенно смущен, не особенно весел. Скорее, он не знал, куда направиться дальше. Куда? Это серьезней. Это почти метафизика, теософия и оккультизм. Сергей, петляющий между родных домов, Сергей, пересекающий ясельные клумбы, Сергей, огибающий качели, помойку, деревья; в конце концов, с час бездумно сидящий на скамейке. Это почти первобытная ма-

гия. То ли черная, то ли белая. Ясным и стремительным движением освободить себя от контрольной, чтобы встретиться с мыслью о тщете всего сущего.

Подвалил Грачев. Открыл сумку и, настороженно озираясь, показал пару автомобильных объемных зеркал.

— Вот. Надо бы скинуть поскорее.

— Скинь, — равнодушно отрезал Сергей. И тут же, кривляясь, глупо и чуть ли не истерично напел: «Би-би такси, би-би. Это хаос и мечты. Би-би такси».

Разумеется, Ленка не девочка. С полгода за ней ухлестывал какой-то урод, не то из автосервиса, не то из сервисной охраны, а уроды, как известно, ни с того ни с сего цветов дарить не будут. Хотя, кто знает, кто ее знает, — может, и не было ничего. Какая разница? Цветы, вино, на машинах катал, в клубы возил. Нет, ни в какие клубы не возил, врет. А теперь ухажер пропал. Конкретно пропал. Так, что даже менты ищут. Теперь можно что угодно врать. И цветы, и клубы, и что хочешь.

— Ты по сколько травой торгуешь? — спросил Грачев.

— Для своих — по восемьдесят. А так — сто... А что?

— Значит, двадцатку навариваешь. Ясно. Отдашь за восемьдесят?

— Я тебя и так угощу. Мне моего не жалко. Хочешь? Есть немного.

— Да я, в общем, не для себя, — замялся Грачев, — кое-кто просил. За недорого, понимаешь?

Сергей его хорошо понимал. Никто, ни кое-кто его ни о чем не просил. Он себе покупал. Только побаивался. Побоялся, что с ним что-нибудь не такое выйдет. Для начала в одиночку попробовать, а там, если что...

— Сто, — сказал Сергей.

Итак, он, кажется, собирался к Джону. Но к Джону он заходил в субботу. Чем это закончилось — всем известно. Тоже долго раздумывал и собирался, будто что удерживало. Никто не знал его имени. Раньше, когда он бегал, то на репетицию, то с репетиции, и ему можно было задавать разные вопросы, он то сквозь зубы представлялся Джимми Хендриком, неизменно добавляя, что второй Хендрикс мало кому нужен, но он и не навязывается; то, благодушно улыбаясь, говорил: «Обращайтесь ко мне просто, по-дружески — Иосиф Виссарионович»; то с подкупающей серьезностью называл себя Шакьямуни.

— Кто, кто?

— Шакьямуни. О, это древний царский род! Если кто решится копать прошлое, то уйдет во времена, когда рождение Будды только-только смутно предсказывалось. Так-то. А дело было в Индии. Сон, непорочное зачатие, чудеса, больной, старик, смерть. Полный аскетизм и грубое невоздержание. Вывод: срединный путь. Я горжусь своим предком. Хотя точно не уверен, оставил ли он потомство. Но лично для меня это не имеет значения.

А уже позже, когда гитарист перестал ходить с гитарой, замкнулся, позже, когда он выползал на улицу либо стрельнуть сигарет, или собирал пустые бутылки, или бережно нес трехлитровку разбавленного донельзя пива, его уже никто ни о чем не выспрашивал: вести с ним разговоры было все сложнее и сложнее — музыкант изъяснялся притчами да огрызнулся. Дурацкий непонятный юмор, с полпачки потерянных сигарет, а на вопросы — вопросы. Сергей же звал его Джоном. (Музыканта звали Иван.) Ни Иван, ни Джон не обижались.

У него можно было молчать часами напролет. Или часами без умолку говорить. И не нужно торговаться по всяким пустякам. Сто, значит, сто. И кури́м прямо сейчас.

— Пока мы не приступили к основной теме, хочу сказать, что за последнее сочинение весь класс получает «два». Кроме Зайцева. В журнал я еще ничего никому не выставляла. Оценку можно исправить в течение двух недель. А сегодня...

Класс загудел. Сергей спросил, что ему.

— Не буду говорить, что Зайцев умнее всех прочих, но после него мне за ваши отписки просто стыдно думать об оценках. А тебе, Сергей, скажу, что «Хочу быть бомжом» — произведение, может быть, достойное «Новой Юности», но, как ты и сам понимаешь, бомж — не профессия. Так что, будь добр, постарайся уложиться в двухнедельный срок. Неужели ты не видишь применения себе? Ладно, об этом как-нибудь после. Итак: «Каренина».

— Что?

— Ничего страшного, Маша. Открой тетрадь и запиши: Лев Толстой, «Анна Каренина».

— Вы не те темы даете, Татьяна Васильевна. О работе давным-давно никто не думает. Думают сразу о деньгах.

— И о вкусной здоровой пище.

— И Зайцев напишет тогда «Сто блюд из гашиша».

— И вы опять ему ничего не поставите. Он ведь в кулинарии — как рыба в воде.

— Оставим Зайцева и вернемся к Толстому.

— А правда, что у него первый раз было — в шестнадцать лет?

— Что было?

— Ну, это... там... деревенская баба, сеновал.

— На этот вопрос я вам отвечу, когда все сдадут зачет по «Карениной». А сейчас нам Тимохин расскажет, что там и с кем было у Анны.

— Я не прочел еще.

— И что же тебе, мой дорогой, помешало?

— Светка... Светка...

— Чего тебе?

— Глянь под парту.

— Идиот! Какой же ты дурак все-таки.

— Счастливецва!

— Это не я, это Зайцев.

— Неужели, Зайцев, ты способен на такую глупость, что Счастливецва пожаловала тебе титул классного идиота?

— Да я, Татьяна Васильевна, объясняю ей, что вместо того, чтобы тратить время на ужасы Кинга, лучше бы ознакомилась с ужасами Берроуза.

— Любые ужасы обождают до пенсии. А сейчас нужно читать здоровую литературу.

— Светка!

— Отстань. Сказала: отстань!

— Действительно. Отстань от Счастливецвой. Сколько можно? Не понимаешь?

— А я, Татьяна Васильевна, безбашенный. Я все понимаю, только не так. И не сразу.

— Итак, «Каренина», которую никто, разумеется, так и не прочел.

— А зачем?

— Зайцев, объясни-ка Грачеву, зачем читать «Каренину».

— Не знаю, зачем читать именно «Каренину», но мне кажется, что книги нужны, чтобы получать удовольствие. И находить всякие ответы на вопросы. А если у Грачева нет никаких вопросов, и если он умеет получать удовольствие без посторонней помощи, то я считаю, что ему не нужны никакие книги. Ни Кинг, ни Берроуз.

После звонка, в коридоре, Грачев зло сказал:

— Еще раз что-нибудь такое в мой адрес будет — получишь, понял?

— Пошел ты! — невесело бросил Сергей и, не дожидаясь дальнейших разборок, потопал вниз по лестнице, в холл, во двор, прикидывая и соображая — отправиться ли домой обедать, дожидаться Светку и извиниться, или выкурить остатки косяка и там уже все равно: болтать ли со Счастливецвой, обедать ли, обедать и болтать, и так далее. Или не курить? Итак, «Ка-

ренина». Нет, она ни при чем. Барышников рассказывал, что целовался с Ленкой в лифте. Ничего удивительного. Во-первых, в одном подъезде живут, во-вторых, Елене, насколько известно, Барышников насколько не нравится, даже противен, а в-третьих, он утверждает, что она начала первая. Что он и опомниться не успел и сообразить что к чему. В ее стиле. А чего я-то переживаю? Да просто Леха гад, вот и все. А может... А может, мне Ленка нравится?

Ленка делала все в жизни наперекор самой себе, наперекор тому, что о ней думали и знали. Значит, она Сергею как сестра. Так сказать — астральная сестренка. А Леха гад.

— О чем задумался, алхимик?

— Задумался? Я? А-а-а... Думаю я вот что. Думаю: виолончель.

— Что? Виолончель?

— Понимаешь, Светка, такому дню нужна виолончель. Солнце. Раскрашенный цветными мелками асфальт. Красивые машины. Вон, вон, глянь туда — на четвертом этаже — тетка окна моет. Так о чем я? А, да. И ты, представь, играющая на виолончели или, на худой конец, на скрипке. А за твоей спиной хор празднично одетых деток. И вкушающий ананас бродяга. А ты играешь только для него. Он сидит на высоком троне, ну, скажем, вон там, у той помойки, неторопливо шелушит семечки, а перед ним — ты. Трогательно пиликаешь на скрипочке. Импровизируешь. Ты умеешь импровизировать?

— Я не умею на скрипке.

Бывают же дуры.

— А ты учишься. Я буду с удовольствием слушать все, что ты для меня начиняешь.

— Ишь ты. Почему это для тебя?

— Потому что ты меня любишь, — просто сказал Сергей. Не он сказал, а язык как-то сам собой повернулся. И он своему языку поверил. И еще подумал: потому что последний класс, потому что вместе больше никогда не будем, потому что...

— Еще чего... Ладно, до завтра.

В детской песочнице валялся синий мужик, не то уснувший со вчерашнего вечера, не то с ночи мертвый, не то с утра пьяный; прогуливались редкие мамы с колясками. Напополам деля небо, далеко-далеко летел самолет.

Оконные стекла отражают солнце. Промчался на скейтах пара прогуливающих семиклассников; выполз из-за угла потрясающий, медленный джип. Великолепная, сверкающая сталью машина. Не машина — летающая тарелка. Проплыла вдоль подъездов и там исчезла. Вместо нее выскочил откуда ни возьмись спанисель, схватил в пасть обрубок противопожарного шланга, поволок его к детской площадке, к качелям, к синему мужику, к оранжево-красной паутине, у паутины шланг бросил, подобрал голову куклы, улегся, стал остервенело рвать синтетические волосы. Мужик перевернулся.

На химию идти не хотелось.

Поэтому Сергей отправился к Джону. Хотя тот скорее всего еще спал.

Иван ничего не сказал. Ни слова. Вместо приветствия, как был в трусах, пошел в кухню ставить чайник, затем умываться, а когда оделся, тогда заговорил:

— Уехали хозяйева, сволочи, а кошку одну дома забыли. Бродит кошка по пустой квартире — жрать хочет. Нашла лук, чеснок, картошку. Но обычная кошка ничего такого не потребляет. И необычная, кстати, тоже. Голодно ей до слез. Эх, подумала кошка, делать нечего: надо есть картошку с луком. Иначе умру. Но, чуть поразмыслив, сказала себе бедное животное, если я начну жрать всякую баяду, то перестану быть кошкой. А стану черт-те чем, вроде человека. Напиши рассказ о кошке.

— Я не пишу рассказов.

— Жаль. Сейчас никто не пишет таких рассказов. А это деньги. Поверь

мне — это деньги. Окончишь школу, год-два проканителиться, полтора года на армию, потом несколько лет дурака повалешь. И что? Журналы опустеют, люди до литературы оголодают, тут-то ты и вынешь свою трогательную повесть. И скажешь: пока вы друг друга грабили, я изящной словесностью занимался. Прошу ссыпать все наворованное в мой праведный карман. Как миленькие послушаются. Люди не могут долго жить без рассказа про кошку.

— Больно ты разговорчив сегодня.

— Ага. Там в холодильнике пиво со вчерашнего. И, если не изменяет память, — грамм сто водки. Чего хочешь?

— Не знаю. Наверное, — всего.

— Правильно. Освободившийся от догм и морали человек просто обязан хотеть всего сразу. Если он чего-то не хочет, значит, он сыт. А сытый человек — мертвый человек. Он не способен двигаться, не способен искать и находить, он тут же ограждается от мятущегося с похмелья мира опять же догмами и моралью. А любая мораль по природе своей буржуазна.

— Слушай, я наверное пойду... У меня — школа. Скоро экзамены.

— Конечно, иди. Чего попусту время терять. Важно не то, что ты-таки обожрался водкой или прогулял школу, а то, что у тебя был выбор: прогулять или обожраться. Когда есть выбор, чувствуешь себя легче, свободней. Я тебе завидую. Вот я, например, никакой возможности не имею ни прогулять школу, ни работу, ни репетицию, ни институт. Остается мне водку пить с утра пораньше. И то не всегда. Но сегодня я могу смело выбирать между водкой и пивом. Изумительный миг. Потому-то ты сейчас не особенно свободнее меня. Так что: пиво или водка? Я думаю, мы их смешаем.

— Нет... Я, пожалуй, пойду.

Иван кивнул.

— Иди... — И вдруг неожиданно спросил: — Скажи, а у тебя не возникает желания пострелять из автомата? Ну, не конкретно в кого-то, а хотя бы по витринам?

— Возникает, — бездумно ответил Сергей, но, уже стоя в лифте, несколько раз повторил вопрос, повертел его так и эдак, и ничего ответить не смог. Всплыл вопрос посложнее: кто лучше — Светлана или Елена? Не вообще, разумеется, лучше, а так, — как мне кажется. Одна — божественная загадка и сволочь, другая понятна и проста, но дура душой, хотя и прет прямиком на золотую медаль. Так-то. А я? Интересно, сколько стоит кокаин? Химия кончилась, на алгебру не пойду. Вот по алгебре точно уж полный завал. А кончится все джазовским буддизмом, то есть твердой тройкой по всем предметам. Местами даже с уклоном к четверке. Никто не позволит тебе прогуливать школу до конца жизни.

Иван же вечером выкинулся из окна. Но когда-то давным-давно насадили под окнами кустов, Иван переломал кости и остался жив. Его успели отвезти в больницу.

Подернутый тревожными облаками, будничным, ничем не примечательным днем. Жгут черную, дымящую, собранную в кучи листву. У пришкольной ограды, на фоне футбольного поля, беседуют учительница русского языка и литературы и ее выпускник. Вокруг гоняет на маленьком велосипеде маленький гонщик. Ленивые голуби лениво шарахаются. Вспархивают гроздьями шумные воробьи. Учительница вынимает пачку «Честерфилда», но, несколько подумав, убирает ее обратно в сумочку. Ученик тоже не решается закурить. Но несмотря на то, что они связаны еще предстоящими экзаменами, между ними разворачивается диалог равного с равным. Сбивчивый весенний диалог.

— Может, тебе попробовать в Литинститут поступить? Жизнь ты знаешь... А что у тебя, кстати, по английскому?

— Ничего... Мне бы, Татьяна Васильевна, надо выбрать дом повыше, да попробовать с него прыгнуть. Как Джон. Английского я все равно не знаю, какая бы оценка там ни стояла. Надоело.

— И ты о таких вещах так спокойно говоришь? Или шутишь? Я тебя не понимаю.

— А я, наверное, циник.

— Да, хочешь, могу дать предположительные темы экзаменационных сочинений.

— А я их и так знаю.

— Интересно?

— Удивительный город Лос-Анджелес, где никогда не будет меня.

— Нет, это по географии. А у нас: «Влияние слов-паразитов на будущее России».

— Ого, здóрово. Я буду ее писать. Я подготовлюсь.

— Послушай... А может, марихуаны покурим?

— Вы? У меня с собой нет.

— Ни разу не пробовала. А то Грачев говорит, что ты без нее ничего не соображаешь, вот и мне подумалось: может, по этой же причине и я многого не понимаю.

— Ага... Татьяна Васильевна, а как вы думаете — есть в этом паршивом мире Бог?

— Ты прочитал «Каренину»?

— Не-а. Вон Ленка идет. Она все, что надо, читала.

ГРИГОРИЙ МАРК

* * *

Как мост над одиночеством — стихи.
Жизнь превратилась в буквы на листочках,
в словах овеществленные грехи
и рифмами остриженные строчки.

В чужую жизнь овеществленных слов
мой карандаш ныряет наудачу...
Я написал уже пятьсот стихов,
когда вдруг вспомнил, что писать не начал.

1995

* * *

Вылезают из книг человекостиhi.
В них кавычки — крючки оперенья двойного —
ощетинясь торчат возле каждого слова.

Восклицательных знаков дубинки в сухих
перепончатых лапах зажаты сурово.

Человекостиhi голосят невпопад.
Полукругом садятся на корточки, быстро
разжигают костер. Пляшут острые искры.

Головешки обутленных строчек трещат,
отражаясь все ярче в зрачках студенистых.

Нарастает гудящий молитвенный звук.
И святая Грамматика в огненной славе,
из костра возникая, становится явью.

И струится кириллица с поднятых рук
звездопадом в глаза человечков плюгавых.

Перевитые искрами гимны звенят.
И метафорой Божьей, ожившей в народе,
пресвятая Грамматика к небу восходит,
превращаясь в далекую точку огня.

1996

Григорий Марк (псевдоним, род. в Ленинграде в 1940 г.) — поэт. По профессии — математик. Печатается с конца 80-х гг. в эмигрантских изданиях («Грани», «Континент», «Русская мысль» и др.), а также — в московских журналах («Знамя», «Дружба народов»). Автор сборника «Гравер» (Нью-Йорк, 1991). Живет в США.

© Григорий Марк, 1997.

СВЕРХУ

Весь город, как текст, как посланье,
где в набранных густо подряд
кварталах — абзацах из зданий —
вкрапленья античных цитат.

И фраза из камня одна,
пытаясь в слова воплотиться,
блуждает в мозгу у меня
как сон, не нашедший сновидца.

1996

ТТТ

Три Твердые Точные «Т» —
тот мост, по которому «Я»
с осколком живого огня
шагает назад в темноте.

Вращается нимба кольцо,
над лысиной тихо гудя.
Тяжелые нити дождя
ему оплетают лицо.

Но красный живой огонек
не гаснет в дожде проливном.
И глухо шумит под мостом
просодии мощный поток.

С другой стороны тишины
из праязыковых болот
процессия гласных ползет
на кладбище следом за ним.

Там в склепах на черном холме
нетленные мощи лежат
букв — Ижицы, Ять и Фиты —
и свет источают во тьме.

И «Я», приносящий огонь,
подходит к подножью холма,
садится на землю впотьмах
и вверх поднимает ладонь.

Проходит двенадцать минут.
Стихает просодии звук.
И гласные строятся в круг,
бормочут молитвы и ждут,

что чудо свершится для них,
и мясом начнут обрастать
вновь Ижица, Ять и Фита.
И встанут из склепов своих...

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

РУТ РЕНДЕЛЛ

ОДИН ПО ВЕРТИКАЛИ, ДВА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Роман

Моему сыну

Выйди в сад, Мод,
Птица-ночь ведь уже прилетела,
Выйди в сад, Мод,
Жду тебя у ворот.

А. Теннисон

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НЕРЕШЕННЫЙ КРОССВОРД

1

Вера Мэннинг очень устала. Она даже не ответила матери, когда та велела ей поторопиться с чаем.

— И нечего дуться, — сказала Мод.

— Я не дуюсь, мама. Я устала.

— Конечно, ты устала. Само собой. Всем понятно, ты измоталась на работе. Если бы только у Стэнли была хоть капля разума, он бы нашел себе хорошее место с приличным жалованьем и тебе не пришлось бы работать. Слышанное ли дело — женщина твоего возраста, далеко не девочка, целый день топчется на ногах в химчистке. Я не раз говорила и еще повторю: будь Стэнли мало-мальски стоящим человеком...

— Ладно, мама, — сказала Вера. — Давай передохнем немного, хорошо?

Но Мод, которая почти никогда не замолкала, если вдруг рядом оказывался хоть один слушатель, а если нет — говорила сама с собой, выбралась из кресла и, прихватив палку, захромала за Верой на кухню. С трудом при-

Рут Ренделл (род. в 1930 г.) — английская писательница, свой первый роман опубликовала в 1964 г. Рут Ренделл называют наследницей Агаты Кристи, «королевой психологического детектива». Она обладательница нескольких литературных премий. Живет со своей семьей в старинном поместье в графстве Суффолк.

Перевод осуществлен по изданию: Ruth Rendell. One Across, Two Down. Arrow Books, London.

© Ruth Rendell, 1971.

© Е. Коротнян (перевод), 1997.

мостившись на табуретке — женщина она была высокая, грузная, — Мод огляделась, всем своим видом выражая отвращение, отчасти искренне, отчасти наигранно, ради блага дочери. Кухня была чистенькой, но обшарпанной, в ней ничего не переменялось с тех пор, как по всем стенам установили нагромождение водопроводных труб с гипсовыми заплатками. Наконец, охватив презрительным оком подмостки, готовая к очередной агитации, Мод набрала побольше воздуха и завела снова:

— Я всю жизнь копила, откладывала, чтобы оставить тебе капитал после своей смерти. Ты знаешь, что мне однажды сказала Этель Карпенгер? «Мод, — заявила она, — почему бы тебе не отдать Ви все сейчас, пока она молода и может порадоваться богатству?»

Стоя спиной к матери, Вера резала пирог с мясом и чистила сваренные вкрутую яйца.

— Смешно, мама, — заметила она, — то я у тебя старуха, то вдруг опять молодая — как тебе заблагорассудится.

Мод даже ухом не повела. И продолжала:

— «Почему ты не отдашь деньги Ви сейчас?» — сказала Этель. О нет, — сказала я. — О нет, они достанутся вовсе не ей, — сказала я, — а ее никчемному муженьку. А уж если он заграбастает мои денежки, — сказала я, — то до конца своей жизни и пальцем не пошевелит».

— Ты не подвинешься немного, мама? Мне не дотянуться до чайника.

Переместившись на пару дюймов, Мод провела по жестким седым буклям белой рукой изнеженной дамы.

— Нет, — продолжила она, — пока я дышу, мои сбережения останутся там, где они сейчас — в надежных акциях. Надеюсь, это заставит Стэнли образумиться. Когда ты сляжешь от нервного истощения, а все к тому и идет, моя девочка, быть может, он засучит рукава и поищет себе работу, подходящую для мужчины, а не для мальчишки. Вот как я это понимаю, о чем и написала Этель в последнем письме.

— Не хочешь ли перейти в столовую, мама? Все готово.

Вера помогла матери перебраться в кресло и повесила палку на спинку. Мод заправила салфетку за ворот голубого шелкового платья и положила себе на тарелку пюре, зеленый салат, яйца и пирог со свининой. Прежде чем приступить к еде, она проглотила две белые таблетки и запила крепким сладким чаем. Затем, плотоядно вздохнув, взялась за нож и вилку. Мод любила поесть. И замолкала только на время еды или сна. Едва она приступила ко второму куску пирога, хлопнула дверь черного хода и в комнату вошел зять.

Стэнли Мэннинг кивнул жене, что-то проворчав себе под нос. На тещу, которая даже прекратила жевать, чтобы одарить его холодным, осуждающим взглядом, он не обратил ни малейшего внимания. Первое, что он сделал, швырнув пальто на спинку кресла, — включил телевизор.

— Как день, удачный? — поинтересовалась Вера.

— Да уж, прямо с девяти. Сыт им по горло. — Стэнли уселся лицом к телевизору и ждал, пока Вера нальет ему чай. — Я совершенно разбит, вот что я тебе скажу. Шутка ли — целый день на открытом воздухе в такую погоду. По правде говоря, даже не знаю, сколько еще смогу выдержать.

Мод фыркнула:

— Этель Карпенгер не поверила мне, когда услышала, чем ты зарабатываешь на жизнь, если, конечно, это можно назвать заработком. Заправщик на бензоколонке! Она сказала, что так подрабатывает на каникулах сын ее квартирной хозяйки. Ему всего-навсего восемнадцать, но мальчику нужны деньги на карманные расходы.

— Пусть эта старая перечница, Этель Карпенгер, не сует нос в мои дела.

— Не смей так говорить о моей подруге!

— На сегодня хватит, — вмешалась Вера. — Вы, кажется, хотели смотреть фильм.

Если у Стэнли с Мод и было что-то общее, так это их любовь к старым

фильмам, поэтому после обмена злобными взглядами они затихли за неубранным столом, чтобы полюбоваться на Джанетт Макдональд в «Девушке с Золотого Запада». Вера, оживившись после двух чашек горячего чая, благодарно вздохнула и начала убирать со стола. Она знала, что перебранка вспыхнет вновь в восемь часов, когда любимая телевикторина Стэнли вступит в противоречие с любимым телесериалом Мод. По вторникам и четвергам Вера всегда со страхом ожидала наступления вечера. Стэнли, конечно, с его страстью к головоломкам, опять захочется понаблюдать за игрой, проходящей в это время, и, конечно, Мод, подобно пяти миллионам других женщин среднего и преклонного возраста, пожелает увидеть новые сложные перипетии из жизни обитателей «Аллеи Августы». Почему только они не могут прийти к дружескому соглашению как разумные люди? «Потому что никакие они не разумные люди», — подумала Вера и занялась мытьем посуды. Что касается самой Веры, то телепередачи ее совершенно не интересовали, и иногда она даже хотела, чтобы перегорел кинескоп или вышла из строя какая-нибудь лампа, или еще что-то. Разумеется, при их теперешнем положении они не смогут позволить себе ремонт.

Когда Вера вернулась в комнату, Джанетт Макдональд выводила «Аве Мария», а Мод подпевала ей сентиментальным дребезжащим сопрано. Вера взмолилась про себя, чтобы песня закончилась поскорее, пока Стэнли не вспыхнул и не грохнул, например, палкой Мод по столу, что произошло совсем недавно, на прошлой неделе. Но на этот раз он ограничился тихим ворчанием, и Вера, закрыв глаза, откинула голову на подушечку.

Вот уже четыре года мать живет в этом доме, подумала она, четыре бесконечно долгих года беспросветного ада. И почему нужно было, поддавшись порыву, поступить так глупо, согласившись принять ее? Ведь Мод не назовешь большой или даже калекой, она чудесным образом оправилась от удара. С ней все в порядке, только порой подводит левая нога да чуть-чуть кривится рот. И она вполне могла бы ухаживать за собой сама, как любая женщина семидесяти четырех лет. Но что уж теперь сокрушаться. Дело сделано. Дом матери вместе со всей мебелью продан, и им со Стэнли придется мириться с Мод до последних ее дней.

Злой, раздраженный вопль Мод вывел Веру из дремоты, и она вздрогнула.

— Зачем ты переключаешь на третью программу? Я весь день ждала свою «Аллею Августы». Кому нужна эта детская мура — кучка школьников отвечает на глупые вопросы!

— А кто платит по счетам, хотел бы я знать? — произнес в ответ Стэнли.

— Я тоже вношу свой лепту. Я отдаю Ви всю пенсию каждую неделю. А себе на разные мелочи оставляю шиллингов десять, не больше.

Стэнли промолчал. Он подвинул кресло ближе к телевизору и приготовил бумагу и карандаш.

— С самого утра я ждала свой фильм, — не унималась Мод.

— Ничего страшного, мама, — сказала Вера, стараясь придать своему усталому голосу хоть немного бодрости. — Почему бы тебе не смотреть «Ферму „Дубрава“» днем, когда мы на работе? Хороший многосерийный фильм, из деревенской жизни.

— Днем я сплю. Вот почему. Я не собираюсь нарушать режим.

Мод утрюмо замолчала, но если уж ей не позволяют смотреть любимую программу, то и она не допустит, чтобы Стэнли наслаждался своей передачей. Минут через пять, не больше, пока Стэнли лихорадочно писал в блокноте, она принялась постукивать палкой по каминной решетке. Похоже, она пыталась воспроизвести ритм какого-то гимна. Вера решила, что это «Бог и Отец человечества», и вскоре Мод подтвердила правильность ее догадки, начав очень тихо напевать мелодию.

Стэнли терпел примерно полминуты, затем произнес:

— Заткнитесь, ладно?

Мод скорбно вздохнула.

— Этот гимн играли на похоронах твоего дедушки, Вера.

— Мне наплевать. Пусть даже на растреклятой свадьбе самой королевы Виктории, — отозвался Стэнли. — Сейчас мы не хотим его слушать, так что делайте, как я сказал, — заткнитесь. Ну вот, из-за вас я пропустил счет.

— Мне, право, очень жаль, — сказала Мод с едким сарказмом. — Знаю, Стэнли, что я здесь лишняя, ты не раз давал мне это понять. Ты готов пойти на все, лишь бы избавиться от меня, разве нет? Смазать лестницу жиром или подсыпать чего-нибудь в стакан...

— А что? Вполне возможно. В каждой шутке есть доля правды.

— Вера, что он говорит? Ты же слышала.

— Стэнли сказал просто так, мама.

— А все оттого, что я стара и беспомощна и иногда вспоминаю те давние дни, когда была счастлива.

Стэнли вскочил с кресла, и карандаш покатился по полу.

— Вы сами заткнетесь или помочь?

— Не смей говорить со мной в подобном тоне, Стэнли Мэннинг! — Мод, довольная, что испортила Стэнли всю игру, поднялась и, величественно повернувшись к Вере, произнесла голосом смертельно раненного человека: — Сейчас, Вера, я иду спать, я оставляю тебя с твоим мужем в покое. Надеюсь, я не слишком затрудню тебя, если попрошу приготовить мне «Хорликс»¹ и принести его наверх, в постель?

— Разумеется, мама. Я всегда это делаю.

— Не нужно подчеркивать «всегда». Я скорее предпочту обходиться без «Хорликса», чем принимать одолжение.

Мод совершила обход комнаты, прихватив с одного стула вязание, с другого — очки, с буфета — книгу. Она могла бы собрать свои вещи и за спиной Стэнли, не мешая ему, но не стала этого делать. Она перемещалась по комнате между ним и экраном телевизора.

— Не забыть бы стакан воды, — вслух подумала она и добавила, словно похваляясь неким очень высоким принципом, соблюдение которого требовало всех душевных сил, но в то же время благотворно сказывалось на здоровье: — С тех пор как себя помню, стакан воды стоит возле моей кровати каждую ночь. Ни разу не было иначе. Наверное, я бы просто не заснула.

Она сама понесла стакан на второй этаж, оставляя за собой след из мелких капель, падавших из переполненного стакана. Вера с мужем слышали мерное постукивание палки, когда Мод поднималась по лестнице.

Стэнли выключил телевизор и, не говоря ни слова, открыл «Второй сборник сложных кроссвордов». Вера смотрела на мужа без единой мысли в голове, как переработавшая кляча, изнуренная утомительным, однообразным трудом, одолеваемая одним лишь желанием — уснуть. Потом она прошла на кухню, приготовила «Хорликс» и отнесла наверх.

* * *

Номер шестьдесят один по Ланчестер-роуд, в Кроутоне, северной окраине Лондона, был двухэтажный дом из красного кирпича в конце улицы, построенный в 1906 году. Позади дома располагался большой двор, а между эркером гостиной и уличной оградой тянулась полоска травы, футов пять на пятнадцать.

Передняя представляла собой узкий коридор с мозаичным полом, выложенным белыми и красными плитками, внизу находились две гостиные и крошечная кухонька, а кроме того, туалет в пристройке и угольный чулан. Лестница на второй этаж была прямая, в один пролет; на лестничную площадку выходили четыре двери: одна из ванной и три из спален. В самой ма-

¹ Укрепляющий молочный напиток.

ленькой поместились только узкая кровать и туалетный столик, шкаф для одежды заменяла занавеска на стене. Вера называла эту клетушку «комнатой для гостей».

Они со Стэнли делили большую спальню с окнами на улицу, Мод спала в комнате в заднем крыле дома. Сейчас она сидела на постели в ночной кофте из ангорской шерсти ручной вязки — само воплощение здоровья. Если бы не десятка три металлических бигуди в волосах, она вполне смогла бы принять участие в конкурсе на звание «самой очаровательной бабушки» и, возможно, стала бы победительницей.

Наверное, баночки и бутылочки на тумбочке возле кровати с патентованными и приготовленными по рецептам лекарствами как-то способствовали сохранению здоровья матери, даже, вернее, омоложению, подумала Вера, вручая Мод кружку с «Хорликсом». Лекарств более чем достаточно. Противосвертывающие, мочегонные, успокоительные, снотворные, витаминные препараты.

— Спасибо, дорогая. Электроодеяло никак не включается. Нужно отдать его в починку.

Отвернувшись от неопрятной, измотанной женщины в зеркале, Вера ответила, что займется этим завтра.

— Хорошо, и тогда уж заодно попросишь мастера взглянуть на мой приемник. А еще купи мне немного этой розовой шерсти, ладно? — Мод отхлебнула «Хорликс». — Присаживайся, Ви. Я хочу поговорить с тобой, пока он не слышит.

— А нельзя подождать до завтра, мама?

— Нет, нельзя. Завтра может быть слишком поздно. Ты слышала, как он сказал, что укукошит меня, как только подвернется случай?

— Но, мама, не думаешь же ты, что он говорил всерьез?

Мод спокойно продолжала:

— Стэнли ненавидит меня, и не без взаимности. Поэтому послушай, что я тебе скажу.

Вера знала, что сейчас последует. Примерно дважды в неделю она выслушивала одно и то же с небольшими вариациями.

— Я не уйду от Стэна, вот и весь сказ. Повторяю тебе еще раз. Я не уйду от него.

Мод допила «Хорликс» и вкрадчиво произнесла:

— Ты только подумай, какая у нас с тобой настала бы жизнь, Ви, у тебя и меня. Моих денег на двоих хватит. Скажу тебе по секрету, я состоятельная женщина, как ни посмотри. Тебе даже пальцем не придется пошевелить. У нас будет хороший дом. Я тут в газете прочитала, в районе Чигуэлла строят прелестные домики. Я могла бы купить один хоть завтра.

— Если ты хочешь дать мне что-то из своих денег, мама, то я возьму, не откажусь. Бог свидетель, сколько в этом доме всего нужно.

— Стэнли Мэннинг не получит от меня ни пенса, — сказала Мод. Она вынула зубы и положила их в стакан; затем льстиво улыбнулась Вере, обнажив голые десны: — Кроме тебя, у меня никого нет, Ви. Все мое — твое, сама знаешь. Ты и сама не хочешь с ним делиться. Он хоть раз сделал что-нибудь для тебя? Проходимец и уголовник.

Вера сдержалась с трудом.

— Ты прекрасно знаешь, мама, что Стэнли сидел в тюрьме один-единственный раз. Да и случилось это, когда ему было восемнадцать. Просто жестоко называть его уголовником.

— Может, он и сидел в тюрьме лишь раз, но сколько раз он мог бы туда вернуться, не окажись те люди, на которых он работал, мягкими, как воск? Ты не хуже меня знаешь — его дважды увольняли за то, что он запустил руку в кассу.

Вставая, Вера сказала:

— Я устала, мама. Я хочу спать. И мне незачем здесь оставаться, если единственное, что ты можешь, — это оскорбить моего мужа.

— Ах, Ви. — Мод протянула к дочери руку, сумев изобразить подрагивание в запястье. — Не сердись на меня, Ви. Я возлагала на тебя такие надежды, а посмотри теперь на себя: старая ломовая лошадь, тянешь воз ради человека, которому наплевать, жива ты или умерла. Это правда, Ви, сама знаешь, это правда. — Вера не отняла у матери свою обмякшую руку, и Мод ласково пожалала ее. — Мы могли бы купить чудный домик, дорогая. Полы с ковровым покрытием, центральное отопление, горничная. Ты еще молода. Я бы купила тебе машину, а ты выучилась бы ее водить. Мы отправились бы куда-нибудь отдохнуть. За границу, если захочешь.

— Я вышла за Стэнли, — произнесла Вера, — а ты всегда учила меня, что брак — это навсегда.

— Ви, я до сих пор не говорила, сколько у меня денег. Если я сейчас скажу, ты ведь не разболтаешь Стэнли, не разболтаешь? — Вера промолчала, а Мод, хотя и прожила семьдесят четыре года и из них много лет пробыла замужем, так до сих пор не поняла, что нельзя раскрывать секрет одному из супругов, если хочешь сохранить все в тайне. Потому что каким бы шатким ни был брак, какой бы недружной ни была пара, жена всегда поделится чужими секретами с мужем, а муж — с женой. — Все эти годы капитал рос. Вера, у меня в банке двадцать тысяч фунтов. Что ты на это скажешь?

Вера почувствовала, как кровь отхлынула от щек. Вот это да! Никогда, даже в самых несбыточных мечтах, она не предполагала, что у матери есть хотя бы половина подобной суммы, и Вера была уверена, что и Стэнли это в голову не приходило.

— Большие деньги, — тихо произнесла Вера.

— Только ничего не говори ему. Если он узнает, сколько я стою, то сразу начнет раздумывать, как бы от меня избавиться.

— Прошу тебя, мама, не начинай сначала. Если кто услышит твои слова, то решит, что ты впадаешь в детство. Наверняка.

— Ну, здесь меня никто не слышит. А пока спокойной ночи, дорогая. Завтра опять поговорим.

— Спокойной ночи, мама, — сказала Вера.

Она не обратила внимания на уговоры матери бросить Стэнли. Все это она слышала и раньше. Веру также не очень волновало и то, что Мод подозревает Стэнли в намерении убить ее. Матери уже много лет, а старикам часто приходят в голову странные мысли. Глупые бредни, не стоит и беспокоиться.

Но Вере всерьез стало любопытно, что скажет Стэнли, когда услышит — а она расскажет, когда немного отдохнет, — сколько у Мод денег в банке. Двадцать тысяч! Целое состояние. Не переставая думать об этом, а также о том, как помогла бы преобразить дом и облегчить ей жизнь хотя бы двадцатая часть этих денег, Вера скинула одежду и без сил упала на кровать.

2

Мод, старая женщина, страдавшая высоким давлением, уже получила один инсульт, но ум у нее оставался ясный. Мысль о том, что зять при удобном случае способен ее убить, возникла не просто от вредности, а благодаря знакомству с человеческой природой в юные годы.

Она поступила в услужение в возрасте четырнадцати лет, а почти все разговоры на кухне и в комнатах для прислуги крутились вокруг разных бессовестных личностей, которых ее братья по ремеслу подозревали в совершенных или затеваемых убийствах из корысти. Повар частенько со знанием дела заявлял, что лакей из большого особняка по ту сторону площади, как только улучит момент, отравит своего хозяина ради каких-то ста фунтов, завещанных ему стариком; дворецкий, в свою очередь, рассказывал жуткие истории об алчных наследниках известных семей, где ему дово-

дилось служить. Мод выслушивала все это с тем же вниманием и доверчивостью, что и воскресные проповеди vicария.

Казалось, у каждого из слуг, начиная с дворецкого и кончая младшей горничной, отыскивался родственник, который в то или иное время задумывался о том, как бы подсыпать мышьяку в чай богатой тетке. Любимым выражением в комнате для прислуги было высказывание Элизы Дулит: «А я так думаю, просто укокошили старуху». И Мод поэтому искренне верила, что Стэнли Мэннинг укокошит ее, как только ему представится возможность. Мод не смогла побороть соблазн и доверила Вере секрет своего благосостояния, но, проснувшись на следующее утро, она засомневалась в том, что поступила правильно. Вера, скорее всего, расскажет Стэнли, и тут она, Мод, уже не в силах что-либо сделать.

То есть не в силах заставить Веру молчать. Зато многое можно сделать, чтобы Стэнли понял — убить-то он может, но ничего не выгадает от такого беззакония. Занятая своими мыслями, Мод съела завтрак, поданный Верой в постель, а когда дочь и зять ушли на работу, встала, оделась и вышла из дома. Опираясь на палку, она прошла с полмили до автобусной остановки и отправилась в город посоветоваться с адвокатом, чье имя нашла в справочнике у Стэнли. Мод могла бы купить заодно себе шерсти, а также найти мастерскую, где чинят электрические одеяла, и побережь тем самым Верини ноги, но она не считала нужным надрываться ради дочери, раз глупая девчонка так упряма.

Вернувшись домой в двенадцать, Мод с аппетитом съела холодную ветчину, салат, хлеб с маслом и яблочный пирог, который Вера оставила ей на второй завтрак, а потом засела за очередное еженедельное послание к своей лучшей подруге, Этель Карпендер. Как и во всех письмах, отправленных Этель с тех пор, как Мод поселилась на Ланчестер-роуд, речь шла главным образом о праздности, дурных манерах, отвратительном характере и абсолютной бесполезности Стэнли Мэннинга.

Ни одной душе, подумала Мод, она не могла бы довериться больше, чем Этель. Даже на Веру, слепо преданную этому проходимцу, нельзя положиться так, как на Этель, не имевшую ни мужа, ни детей, ни корыстных умыслов. У бедняжки Этель есть только ее хозяйка дома в Брикстоне, где она снимает отдельную комнату, да сама Мод.

Да, тот друг ценится, с кем многое пережито, а им с Этель выпало пережить немало, подумала Мод, откладывая перо. Сколько лет тому назад они познакомились? Пятьдесят четыре? Пятьдесят пять? Нет, всего пятьдесят четыре. Тогда Мод исполнилось двадцать, и служила она в помощницах горничной, а Этель, маленькая, неопытная, семнадцатилетняя Этель, была на побегушках у острого на язык повара.

Мод гуляла с шофером, которого звали Джордж Кинауэй, и они собирались пожениться, как только удача им улыбнется. Мод копила деньги всю жизнь, такая уж она была, и, независимо от того, улыбнулась бы им удача или нет, к тридцати годам ее сбережений хватило бы, чтобы начать совместную жизнь. А пока ей хватало восхитительнейших воскресных прогулок с Джорджем до Клапамского железнодорожного переезда и скромного обручального колеска с гранатом, которое она носила на ленточке на шее, потому как нельзя же было носить его на пальце, раз она чистила каминь.

У нее был Джордж, какие-то надежды на будущее, а у Этель не было ничего. Никто даже не подозревал, что у Этель завелся поклонник, пока с ней не приключилось несчастье и хозяйка с позором не выгнала ее из дома, ведь она никогда не заговаривала ни с одним мужчиной, не считая Джорджа или дворецкого. Этель ушла к тете, согласившейся принять родственницу, но все обращались с ней по-свински, кроме Мод и Джорджа. Они не задирали нос, заходили по выходным проведать Этель, а когда родился ребенок, кто как не Джордж уговорил тетку взять малыша на воспитание и кто как не Джордж отдавал по несколько шиллингов каждую неделю на его содержание?

— Хотя мы с трудом можем позволить себе такой расход, — заявила Мод. — Если бы она только перестала валять дурака и рассказала мне, кто отец...

— Она никогда не скажет, — решил Джордж. — Она слишком горда.

— Ну что ж, не зря говорят, гордыня идет и беду ведет, а Этель перенесла свою беду стойко. Наш долг не отвернуться от бедняжки. Нам никогда не следует терять Этель из виду, дорогой!

— Как скажешь, дорогая, — согласился Джордж и уговорил хозяйку взять обратно Этель, будто бы та так и осталась хорошей девушкой, без единого пятнышка на своей репутации.

То были трудные дни, вспоминала Мод, откинув назад голову и закрыв глаза. Она получала двенадцать фунтов, а потом началась война и заставила людей пересмотреть свои планы. Даже когда хозяин прибавил ей жалованье, им было непросто обзавестись собственным домом, и в конце концов только благодаря привлекательной внешности Джорджа и его хорошим манерам им удалось начать семейную жизнь. Не то чтобы между ним и хозяйкой было что дурное — Боже, упаси! — но когда хозяйка умерла, в ее завещании упоминалось имя Джорджа, и, добавив к полученным им в наследство двумстам пятидесяти фунтам сбережения Мод, они открыли славную небольшую лавчонку неподалеку от «Овала».¹

Этель проводила у них каждый свой отпуск. Когда родилась Вера, Этель стала ее крестной матерью. В порыве откровения Мод поведала Джорджу, что это самое малое, что она могла сделать для бедняжки, которая лишилась собственной дочери и вряд ли когда сумеет выйти замуж, ведь использованный товар спроса не имеет.

Обаяние Джорджа и трудолюбие Мод сделали свое дело: торговля процветала, и вскоре они уже называли себя прилично обеспеченными людьми. Веру послали в частную школу для самых избранных, и когда она завершила учебу в шестнадцать лет (надо же, доучили-таки до такого возраста!), Мод не разрешила ей ни помогать в лавке, ни подыскать работу. Ее дочери предстояло стать настоящей леди и в свое время выйти замуж за достойного джентльмена, банковского клерка или какого-нибудь представителя деловых кругов, — Мод никогда не упоминала прилюдно, что ее муж содержит лавку, она всегда говорила: «Он из деловых кругов», — и займет собственный дом. А до той поры она в разумных пределах снабжала Веру деньгами на платья и раз в год они все вместе отправлялись в Брейминстер-он-Си — милый, старый Брей, как они называли этот городок, — где останавливались в очень respectable пансионе с видом на море. Иногда вместе с ними ездила и Этель, и она, так же как они, была довольна, что ее крестная дочь снискала расположение племянника владелицы пансиона, Джеймса Хортон.

У Джеймса была именно та работа, которую Мод хотела бы для своего будущего зятя. Он служил в местном отделении «Барклиз банка», а когда зимой ему случалось наезжать в Лондон и он забирал Веру то на реку, то в театр на утренний спектакль, Мод улыбалась молодому человеку и начинала обсуждать с Джорджем, что они могут сделать для молодой четы после назначения даты. Взнос на дом и двести фунтов на мебель — таков был совет Этель Карпентер, и Мод решила, что он не лишен смысла.

Джеймс был старше Веры на четыре года, во время войны он служил на флоте старшиной. В банке у него хранилась кругленькая сумма, он был примерным сыном и прихожанином. Лучшего трудно было пожелать.

У Мод были старые представления, она полагала, молодым людям следует разрешать знакомства, только если их должным образом представили друг другу или если их родители были старыми друзьями. Поэтому она с

¹ Крикетный стадион в графстве Суррей, где обыкновенно проводят международные турниры. Назван по овальной форме поля.

ужасом узнала от миссис Кемпбелл, жены торговца рыбой из лавочки по соседству, что Веру часто видят в компании молодого бармена из «Кареты с лошадьми», с которым, как утверждала миссис Кемпбелл, девочка познакомилась на танцах.

Это все Джордж, заявила Мод в разговоре с Этель. Если бы в доме прислушивались к Мод, то Вере никогда бы не позволили посещать танцы. Мод пыталась решительно возражать, но Джордж впервые в жизни настоял на своем, заявив, что ничего в том нет дурного, если Вера пойдет с подружкой потанцевать, да и разве есть что-нибудь респектабельней, чем ежегодный бал «Молодых консерваторов»?

— Прямо не знаю, что скажет Джеймс, когда услышит об этом, — пригрозила дочери Мод.

— А мне все равно, что он скажет. Я по горло сыта Джеймсом, этим занудой. Всегда заводит одну и ту же пластинку: пораньше лечь, пораньше встать, экономить деньги, не доверять людям. А Стэнли говорит, молодым бываешь только раз, так что радуйся, пока можешь. Он говорит, деньги для того, чтобы их тратить.

— Думаю, он так и поступает, если это чужие деньги. Бармен! Моя дочь тайком встречается с барменом! — Хотя Мод иногда по пятницам позволяла Джорджу тихо провести часок-другой за кружкой пива в «Виноградной грозди», сама она в жизни не переступала порога пивной. — Как бы там ни было, это пора прекратить, Ви. Можешь сказать ему, что твои родители против.

— Мне двадцать два, — решительно произнесла Вера, которая хотя и унаследовала от отца внешность и покладистый характер, от матери взяла искру темперамента. — Ты не можешь запретить мне. Все время твердишь о замужестве, но как я выйду замуж, если мне нигде познакомиться? Девушки не могут знакомиться с мужчинами, если сидят дома.

— Но ты же познакомилась с Джеймсом, — возразила Мод.

После она никак не могла решить, какой момент был худшим в ее жизни — то ли тот, когда миссис Кемпбелл сообщила ей, что Стэнли Мэннинг отсидел два года за вооруженный грабеж, то ли тот, когда Вера сказала, что любит Стэнли и хочет выйти за него замуж.

— Не смей мне говорить о свадьбе с этим уголовником! — вопила Мод. — Ты выйдешь за него только через мой труп. Сначала я убью себя. Суну голову в духовку. Но прежде позабочусь о том, чтобы тебе из моих денег не досталось ни пенни.

Но вся беда была в том, что она никак не могла помешать Вере встречаться с Мэннингом. Какое-то время вопрос о замужестве или даже помолвке вообще не обсуждался, но Вера продолжала видеться со Стэнли, а Мод извелась чуть ли не до нервного срыва. Она, хоть убей, не могла понять, что Вера нашла в нем.

За всю свою жизнь она знала только одного мужчину, с которым разделила постель, и этой меркой она мерила всех остальных. Джордж Кинауэй, шести футов росту, обладал классической привлекательностью англосакса, если не считать безвольного подбородка, тогда как Стэнли был маленький, не выше Веры. Волосы у него начинали редеть и всегда выглядели сальными. Лицо у него было смуглое, словно орех (такие рано старятся, предрекала Мод), а черные глазки бегали и никогда не глядели в лицо собеседнику. Сразу распознав, чье слово в семье Кинауэй имеет вес, он всякий раз, встречая Мод на улице, обворожительно улыбался и льстиво приветствовал ее: «С добрым утром, миссис Кинауэй, чудесная погода!», а потом печально качал головой, когда она шествовала мимо в холодном молчании.

Мод не допускала его присутствия ни в лавке, ни в квартире, расположенной этажом выше, и утешалась мыслью о том, что по вечерам Стэнли занят в своем баре. Главное неудобство того обстоятельства, что Вера не работала, заключалось в том, что дочь свободно могла встречаться со Стэнли днем, ведь у барменов особое расписание: они свободны все утро и пол-

дня, почти до самого вечера. Но Мод полагала, «что-то дурное» (под этими словами она подразумевала плотские утехи) всегда происходит только между десятью и полуночью — мнение, основанное на собственном опыте, хотя в ее случае все было правильным и подобающим, — а именно в эти часы Стэнли всегда особенно занят. Поэтому она испытала ужас и даже какой-то суеверный страх, когда услышала от плачущей Веры, что та беременна уже больше двух месяцев.

— Снова повторяется история бедной Этель, — всхлипывала Мод. — Чтобы такое случилось с моим собственным ребенком! Какой позор!

Но каким бы глупым и предосудительным ни было поведение Веры, ее мать не допустит, чтобы она страдала так, как страдала Этель. У Веры должны быть дом, муж, приличная семья, прежде чем родится ребенок. Вера должна выйти замуж.

Вместо большой свадьбы, о которой мечтала Мод, Вера и Стэнли поженились тихо, пригласив только с десятка друзей и близких родственников, а после церемонии сразу отправились в маленький домик на Ланчестер-роуд, в Кроутоне. Мод трудно было унизить Стэнли, но она проследила, когда они с Джорджем вносили деньги за дом, чтобы бумаги были выписаны на имя Веры, а Стэнли дала понять, что он должен им вернуть все до единого пенни.

Молодожены прожили три недели, а потом у Веры случился выкидыш.

— Господи, — сокрушалась Мод, сидя у больничной койки, — и зачем мы только поторопились! Твой отец говорил, что нужно подождать немного, и был прав.

— Что ты имеешь в виду?

— Стоило подождать три недели...

— Я потеряла ребенка, — сказала Вера, приподнимаясь в кровати, — а теперь ты хотела бы отобрать у меня и мужа.

Когда Вера поправилась, она впервые в жизни пошла работать, чтобы вернуть долг родителям. Мод оставалась непреклонной. Она могла время от времени выписать Вере чек на покупку нового платья или закатить шикарный обед в ресторане, но ни за что бы не позволила Стэнли Мэннингу прибрать к рукам ее денежки. Он должен взяться за ум, достойно обеспечить семью, и тогда Мод еще подумает...

Как только она поняла, что это никогда не произойдет, Мод вознамерилась оторвать от него Веру — план, который стал гораздо более осуществимым теперь, когда она поселилась в одном доме с дочерью. Действовала она по двум направлениям: доказывала Вере, как трудна ее теперешняя жизнь, усугубляя эти трудности постоянной атмосферой раздоров, а с другой стороны, протягивала приманку — возможность жить легко, в покое и изобилии.

До сих пор Мод не очень преуспела. Вера всегда была упряма. Дочь своей матери, думала Мод с любовью. Маленькие взятки и заманчивые картины жизни без Стэнли не пробрили ни малейшей брешки в Вериной броне. Неважно. Настало время нажать на нее как следует. От внимания Мод не ускользнуло, как побледнела Вера, когда услышала о двадцати тысячах фунтов. Теперь она будет все время думать об этом на своей ужасной работе, запихивая пронафталиненные пальто в полиэтиленовые мешки. А сегодня вечером Мод пойдет с козырной карты.

Думая о том, какое впечатление произведут ее слова, Мод удовлетворенно вздохнула, откинула голову на подушки и включила здоровой ногой второй нагреватель электрического камня. Вера поймет, что мать говорит дело, а Стэнли... Ладно, Стэнли увидит, что бесполезно тратить силы на раздумья о том, как помочь своей теще оставить этот мир.

Право, смешно. Стэнли хочет избавиться от нее, а она — от Стэнли. Но первый ход будет за ней. Стэнли у нее в руках. Мод улыбнулась, закрыла глаза и моментально погрузилась в глубокий сон.

Из пятидесяти автомобилей, подъехавших в тот день за бензином к гаражу «Суперджус», Стэнли обслужил только пять. Он даже не слышал гудков и окриков полудюжины водителей из оставшихся сорока пяти, которым не лень было дожидаться его. Стэнли сидел, повернувшись к ним спиной, в своей стеклянной маленькой будке и мечтал о двадцати тысячах фунтов, лежащих в банке у Мод, о которых он узнал от Веры сегодня за завтраком.

После смерти Джорджа Кинауэя Стэнли с нетерпением ожидал, когда ему расскажут о содержании завещания. Он едва поверил своим ушам, когда Вера сообщила ему, что никакого завещания не существует, так как все записано на имя матери. Нетерпеливый, как большинство людей его типа, он приготовился ждать еще невесть сколько горьких лет, а сам мрачнел день ото дня.

Табачную лавку продали, и Мод удалась на покой в достатке и роскоши, переехав в маленький, но дорогостоящий особнячок в Элтеме. Стэнли никогда там не бывал — его не приглашали — и никогда не выражал сочувствия, когда Вера, проведя день в Элтеме, накормленная и обласканная матерью, возвращалась с множеством историй о высоком кровяном давлении Мод. В течение многих лет это служило единственным утешением для Стэнли, и, считая себя человеком незаурядного ума, способным преуспеть на любой из высокооплачиваемых должностей, если бы только он задался такой целью (сам он говорил, что ему пока не подвернулась такая возможность), он принялся изучать все, что было известно о кровяном давлении и сужении сосудов. В то время он работал ночным сторожем на фабрике. Никто никогда даже не пытался вломиться на предприятие, которое доживало последние дни, где не было ничего ценного, поэтому Стэнли коротал долгие часы самым приятным образом: читал медицинские книги, взятые из общественной библиотеки.

Потому для него не было неожиданностью, когда однажды утром он вернулся домой и вместо приветствия услышал от Веры новость — у Мод инсульт.

Стэнли строил печальные мины и проявлял к жене несвойственную доброту, а сам мысленно подсчитывал наследство. По крайней мере, восемь тысяч он выручит от продажи старухино дома, да и в банке тоже хранится кругленькая сумма. Первое, что он сделает, — купит большую машину, просто чтобы dokonать соседей.

Потом Мод выздоровела.

Стэнли — надежда умирает последней — согласился, что ей лучше переехать и жить с ними на Ланчестер-роуд. В конце концов, дополнительная работа целиком ляжет на плечи Веры, и если сейчас восемь тысяч ускользнули из рук, то, по крайней мере, что-то ему все же перепадет. Стэнли считал, что никто не имеет права свалиться на головы родственников, ничего не заплатив при этом, а если Мод окажется прижимистой, он сумеет ей мягко, но решительно намекнуть.

Через два дня после переезда в их дом Мод объявила о своих намерениях. Всю пенсию, кроме десяти шиллингов в неделю, она будет отдавать Вере, но капитал останется нетронутым там, где и был — в надежных акциях.

— В жизни не слышал о таком дьявольски подлом нахальстве, — заявил Стэнли.

— Ее пенсия покрывает расходы на еду, Стэн.

— А как насчет квартплаты? А уход, который она требует?

— Она моя мать, — ответила Вера.

Пришла пора произнести эту фразу в прошедшем времени. Убийство, конечно, не в счет. Настоящее убийство. С тех пор как он в восемнадцать лет тюкнул старуху по голове и забрал сумочку, Стэнли ни разу не прибежал к насилию и, читая в газетах об убийствах, возмущался не меньше Веры и столь же громогласно, как Мод, требовал возвращения смертной казни.

Как, например, в случае убийства того полицейского, Чапелла, которого пристрелили в прошлом месяце, когда он пытался остановить головорезов, взломавших кроутоонскую почту. Нет, убийство не для него. Несчастный случай — вот о чем он подумывал. Небрежное обращение с газом или путаница в таблетках, которые Мод принимала целыми пригоршнями.

Обдумав в общих чертах план, по которому Мод должна была отравиться газом, Стэнли вошел в дом, весело насвистывая. Он не поцеловал Веру, но сказал «привет!» и даже похлопал по плечу, направляясь в комнату, чтобы включить телевизор.

Полагая, что теперь дни тещи сочтены, Стэнли решил вести себя с Мод помягче. Но как только увидел ее, с побагровевшим от решимости и дурного настроения лицом, гордо восседавшую за столом и приканчивающую уже вторую тарелку яичницы и жареного картофеля, он пошел в атаку:

— Хлопотный выдался денек, ма?

— Да уж хлопот у меня, думаю, было больше, чем у тебя, — ответила Мод. — Сегодня днем я перекинулась через ограду парой слов с миссис Блэкмор, и она рассказала, как ее муж ездил заправиться в твой гараж, но его никто не обслужил, ты-то был на месте, но ему показалось, что ты спал.

Стэнли злобно уставился на Мод.

— Я не желаю больше, чтобы вы сплетничали через ограду, понятно? Слоняетесь по моему саду и вытаптываете растения.

— Это не твой сад, а Верин.

Вряд ли ей удалось бы найти более удачный способ вызвать гнев Стэнли. Проведя детство в деревне, на границе между Эссексом и Суффолком, где у его отца был небольшой участок, он на всю жизнь полюбил возиться в саду, считал это занятие своим единственным отдыхом, когда можно забыть на время о кроссвордах и о медицинских книгах. Но эта страсть никак не вязалась с его характером — любовь к садоводству обычно присуща людям спокойным, цивилизованным и законопослушным, — и Мод отказывалась принимать ее всерьез. Ее нравилось думать о Стэнли как об отбросе, полностью потерянном для общества, а садоводство было одним из тех занятий, которые она привыкла уважать. Поэтому она обычно не сводила с него глаз, пока он обихаживал свои вересковые заросли или поливал гладиолусы, а потом, когда он возвращался домой вымыть руки, напоминала ему, что сад, впрочем, как и остальная собственность, принадлежит Вере и что Вера может продать все без его ведома, как только ей взбредет в голову.

Довольная, что своим ответом сумела больно поддеть Стэнли, она повернулась к Вере и спросила, не забыла ли та купить ей моток пряжи.

— Совсем из головы вылетело, мама. Прости меня.

— Значит, вечером на вязании можно поставить крест, — проворчала Мод. — Если бы я только знала, я бы сама купила, когда была в городе.

— Что же ты делала в городе?

— Я ездила, — прокричала Мод, стараясь заглушить телевизор, — повидать своего адвоката!

— С каких это пор у вас завелся адвокат? — поинтересовался Стэнли.

— С сегодняшнего утра, мистер Умник. Бедной старой вдове в моем положении необходим адвокат для защиты. Он был очень мил со мной — настоящий джентльмен, будьте уверены. И очень меня успокоил. Я так ему и сказала, что теперь смогу спать спокойно.

— Не пойму, о чем это вы? — сказал Стэнли, поежившись, и добавил: — Ради Бога, да прикрутите же этот телевизор, — как будто не он сам, а Вера или ее мать включили его. — Так лучше. Теперь, по крайней мере, можно поговорить. Итак, о чем идет речь?

— О моем завещании. Сегодня утром я составила завещание и попросила адвоката сформулировать его так, как я хочу. Если бы мы с Верой жили отдельно, тогда — другое дело. Все, что у меня есть, перешло бы к ней, я говорила об этом не знаю сколько раз, а теперь послушай, Вера, что я сегодня сделала. Если я умру от удара — ты получишь все, но если я умру по

какой-то другой причине, наследницей станет Этель Карпентер. Теперь ты знаешь.

Вера уронила вилку.

— Нет, не знаю, мама. Я не знаю, что все это значит.

— По-моему, достаточно ясно, — сказала Мод. — Просто подумай хорошенько.

Она одарила дочь и зятя зловещей улыбкой и проворно заковыляла к телевизору, чтобы сделать звук погромче.

* * *

— Это самое большое оскорбление, — говорил Стэнли в кровати в ту ночь, — которое я когда-либо слышал в свой адрес. Ишь, намекает, что я хочу убрать ее с дороги! По-моему, она начинает выживать из ума.

— Если она говорит правду, — заметила Вера.

— Какая, черт возьми, разница — правда это или нет? Может, она ездила в город, а может, и не ездила. Может, адвокат включил это условие в завещание, а может, и нет. Как ни кинь — мы у нее в кулаке.

— С какой стати, дорогой? Нам ведь и в голову не приходило причинить ей какой-то вред. Конечно, она умрет от удара. Правда, очень обидно, что она так о нас думает.

— А если Мод умрет не от удара? Что тогда?

— Не верю, что какой-нибудь адвокат способен включить такое условие в завещание. — Вера тяжело вздохнула и отвернулась. — Теперь я хочу заснуть. Устала смертельно.

В целом Стэнли был согласен с Верой, что ни один юрист не пойдет на поводу у Мод. Скорей всего, ее условие даже незаконно. Но если Мод настаивала, а юристу не хватило знаний оспорить ее просьбу...

* * *

По субботам Вера работала целый день, и Стэнли с Мод оставались вдвоем. Если день был ясный, Стэнли проводил несколько часов в саду, а если шел дождь, он отпраивался в кино.

Март выдался теплым, и миндальное деревце стояло все в цвету. Вот-вот должны были распуститься нарциссы, а вереск только что отцвел. Пришла пора подкормить его торфом, ведь почва в Кроутоне, как и в Лондоне, — сплошная глина. Стэнли принес из сарая полный мешок, разбросал торф вокруг растений и вырыл траншею. Ее тоже нужно будет наполнить торфом для рассады, которую он выписал.

Хотя Стэнли не хотел, чтобы Мод сплетничала через забор с миссис Блэкмор из дома 59 или миссис Макдональд из номера 63, сам он был не прочь иногда оторваться от лопаты и немного поболтать. Сегодня, когда миссис Блэкмор вышла развесить на веревке пару выстиранных рубашек, он ничего так не желал, как пуститься в подробное перечисление последних оскорблений и нарушений приличий со стороны Мод, что вошло у него уже в привычку, от которой отныне придется отказаться. Он должен завоевать уважение соседей, как терпеливый и даже любящий зять.

— С ней все в порядке, — ответил он на вопрос миссис Блэкмор. — Насколько это возможно в ее возрасте.

— Я все время говорю Джону, какая миссис Кинауэй молодец. Подумать только, что ей пришлось пережить!

Миссис Блэкмор, коротышка с птичьим лицом, носила всегда одну и ту же прическу: вытравленные перекисью светлые волосы она завязывала в два хвоста, словно девочка, хотя во всех других отношениях она была ближе к среднему возрасту. У нее были яркие острые глазки и привычка смот-

реть не мигая в глаза любому, с кем ей случалось разговаривать, чем повергала собеседника в полное замешательство. Сейчас Стэнли храбро встретил ее взгляд, изо всех сил стараясь не моргнуть.

— Да, ею нельзя не восхищаться, — улыбнулся он, слегка мотнув головой.

— Я уверена в вашей искренности, — миссис Блэкмор была несколько огоршена и на мгновение отвела взгляд. — Как давно она была у врача?

— Старый доктор Блейк ушел на пенсию, а с новым врачом она не хочет иметь дело. Говорит, он слишком молод.

— Доктор Моксли? Ему уже тридцать пять, не меньше. Хотя, наверное, ей он кажется молодым.

— Нужно уважать причуды стариков, — благочестиво заметил Стэнли.

Они продолжали свою схватку по перетягиванию каната взглядами, из которой Стэнли вышел победителем. Миссис Блэкмор опустила глаза и, пробормотав что-то насчет второго завтрака, ретировалась в дом.

Стэнли довольствовался холодной едой. Он и Мод молча поели, а после, пока Стэнли занимался кроссвордом из «Дейли телеграф», его теща собралась отдохнуть.

Когда Мод оставалась в доме одна, она просто усаживалась в кресло и дремала, прислонив голову к одной из боковин, но по субботам, в присутствии Стэнли, она устраивала целый спектакль. Для начала она собирала все диванные подушки, задавшись целью обязательно добыть именно ту, что была под головой у Стэнли, и очень медленно раскладывала их по бокам дивана. Затем она направлялась на второй этаж, постукивая палкой и напевая что-то под нос, и возвращалась оттуда с горой одеял. Под этой тяжестью дышать она начинала с трудом и даже принималась стонать. Под конец, сняв очки и туфли, она громоздилась на диван, натягивала на себя одеяла и лежала, задыхаясь.

Сегодня, как и всегда, ее зять не замечал ничего, что творилось вокруг. Он заполнял свой кроссворд, улыбаясь время от времени изобретательности автора, и иногда беззвучно, одними губами, произносил угаданное слово. Когда Мод почувствовала, что больше не в силах выносить такое безразличие, она едко произнесла:

— В дни моей молодости каждый джентльмен считал делом чести помочь пожилой даме.

— Я не джентльмен, — сказал Стэнли. — Чтобы быть джентльменом, нужны деньги.

— Совсем не обязательно. Джентльменом нужно родиться, позволь тебе заметить. Даже если бы у тебя появились деньги, ты все равно бы остался таким же неотесанным мужланом.

— Вам бы самой не мешало немного пообтесаться, — ответил Стэнли и, торжествуя оттого, что оставил последнее слово за собой, заполнил 28 по горизонтали в завершение кроссворда.

Мод прикрыла глаза и мрачно поджала губы. Машинально рисуя что-то на полях газеты, Стэнли задумчиво поглядывал на нее, пока сморщенные и сжатые губы не расслабились и рука, сжимавшая одеяло, не обмякла — тогда он понял, что Мод заснула. Стэнли сложил газету и на цыпочках покинул комнату, направившись в спальню Мод.

Она, по всей видимости, большую часть утра провела за письмом к Этель Карпентер: на столике возле кровати лежало незапечатанное готовое послание. Стэнли присел на край кровати, чтобы прочитать его.

Он всегда подозревал, что одной из излюбленных тем для старушечьих дискуссий служил он сам и его поступки, но ему никогда не приходило в голову, что Мод способна посвятить три с половиной листа только одному вздорному, клеветническому описанию его характера. Он возмутился и в то же время всерьез обиделся. В конце концов, он оказал Мод любезность, позволив жить в его доме, и такая неблагодарность, сквозившая в каждой строчке, привела его в бешенство.

Злобно насупившись, он читал все, что Мод писала о его лени и дурных манерах. У нее даже хватило наглости рассказать Этель, что позавчера он занял у Веры пять фунтов, которые, по уверениям Мод, собрался поставить на лошадь в «Нэшенел»¹. Вообще-то Стэнли так и хотел сделать, но теперь он и сам верил, что взял деньги на покупку торфа и вересковой рассады. Старая карга! Злобная старая карга! Что она там пишет дальше?

«Конечно, бедняжка Ви больше не увидит этих денег, — писала Мод. — Уж он об этом позаботится. Девочка работает на износ, а у самой за душой ни гроша, если не считать того, что я ей даю. Впрочем, теперь это только вопрос времени, когда я отниму ее у этого типа. Она чересчур ему предана, чтобы сказать: «Да, мама, я пойду с тобой», да к тому же знает наверняка, какой он закатит скандал, а может быть, даже ударит. Я уверена, дорогая, он способен на любую пакость. На днях я сказала ей, что куплю все, что она пожелает, если только оставит его, и у бедняжки на глазах даже слезы выступили. Уверяю тебя, невыносимо видеть, как страдает твой единственный ребенок, но я сказала себе — я поступаю жестоко только ради блага дочери, и она еще будет благодарить меня на коленях, когда наконец избавится от своего мужа и мы заживем в чудесном домике, который я собралась для нее купить. Мне приглянулся один из рекламы в воскресной газете, прелестный коттедж в новостройках Чигуэлла, и как только у Ви выдастся выходной, я, наверное, найму машину и мы поедем взглянуть. Без этого типа, конечно...»

Стэнли так разозлился, что чуть не разорвал письмо. До этого момента он и не подозревал о планах Мод, так как Вера просто побоялась об этом рассказать, хотя он и сам подозревал, что Мод затевает какую-то каверзу. «Если б только у меня были деньги, — разбушевался он, — я бы привлек старую каргу за... как это там говорится?.. подстрекательство. Вот, как бы я поступил — вызвал бы ее в суд за попытку отобрать у человека его законную жену».

Он продолжал сидеть, мрачно уставившись на письмо, вдруг осознав, какая над ним нависла опасность. Без Веры у него нет ни малейшей надежды заполучить эти двадцать тысяч хоть когда-нибудь. Он проведет остаток жизни в очередях за бесплатным питанием, тогда как Вера будет купаться в роскоши. Господи, подумал он, даже этот дом, даже эта самая крыша над его головой принадлежит ей. А какая жизнь пойдет у этих женщин: наемные машины, возможно, даже собственное авто, современный дом в жлобском Чигуэлле, все удобства, наряды, праздники. Даже думать невыносимо. И тут вдруг он остро осознал крайнюю необходимость что-то предпринять, а заодно и вспомнил о цели своего прихода в комнату Мод.

Положив письмо на место, он занялся тремя пузырьками с лекарствами, которые стояли под настольной лампой. В голубых капсулах было снотворное, они его не интересовали. Затем шли желтые витамины, из-за которых, Стэнли не сомневался, Мод была такой живучей и бойкой на язык. Но он не собирается пачкать о них руки. Ему нужно было другое лекарство — крошечные таблетки антикоагулянта под названием моллоид, которые Мод принимала по шесть штук в день и которые, как думал Стэнли, и не давали ее крови, курсировавшей по хрупким сосудам, свертываться в тромбы. Стэнли вынул одну таблетку и спрятал в носовой платок.

Когда он спустился вниз, Мод еще спала, и в любую другую субботу он великодушно позволил бы ей отдохнуть. Но сегодня, помня о клеветническом письме, он включил телевизор, спортивную программу, и со злорадным удовольствием увидел, как она, вздрогнув, проснулась.

¹ Сокращение от «Гранд нэшенел» — крупнейшие скачки с препятствиями, которые ежегодно проводятся близ Ливерпуля.

* * *

Стэнли не разрешалось покидать стеклянную будку с девяти до пяти, хотя он все равно частенько уходил, за что и получил несколько предупреждений об увольнении. Но когда он улизнет с работы, аптека на другой стороне улицы будет уже закрыта, а ждать до следующей субботы, чтобы купить заменитель таблеток, он никак не мог.

Промаявшись до часу дня, когда наступает самое затишье, он скользнул через дорогу, но вместо одной из девушек за прилавком стоял на посту сам хозяин, который проявил такой интерес к посетителю, пока тот шарил среди бутылочек и коробочек, что Стэнли решил быть благоразумнее и отправиться в аптеку «Бутс», хотя для этого предстояло пройти еще с четверть мили.

Там он нашел все на полках самообслуживания и получил возможность изучать разнообразнейшие таблетки белого цвета, не становясь при этом объектом наблюдения. Таблетки аспирина, кодеина и фенаcetина оказались слишком велики, и единственное, что ему удалось обнаружить, подходящее по размеру к антикоагулянтам Мод, были таблетки сахараина для желающих похудеть.

Эти, подумал он, подойдут. Они выглядели в точности как та, что он позаимствовал. Стэнли лизнул одну таблетку языком. Она была очень сладкой, но Мод всегда глотала свои лекарства быстро, запивая их сладким чаем, так что, скорее всего, вкуса она даже не заметит.

— Вы не могли бы не пробовать товар, пока не уплатите за него? — дерзко произнесла девчонка-продавщица.

— Если меня обвиняют в краже, то я хотел бы переговорить с управляющим.

— Хорошо, хорошо. Кричать совсем не обязательно. С вас пять шиллингов и шесть пенсов.

— Грабеж среди бела дня, — проворчал Стэнли, но все же купил пузырек под названием «Стань стройной» и бегом побежал назад.

Около колонок стояли три машины, и шеф Стэнли, пылая от ярости и держа бензошланг осторожно, как можно дальше от лацканов своего безукоризненного костюма, изо всех сил старался обслужить первого клиента. Стэнли прошел к себе и наблюдал за ним сквозь стекло. Вскоре, когда машины разъехались, в будку шаткой походкой вошел хозяин, на ходу вытирая промасленные руки.

— Мое терпение лопнуло, Мэннинг, — заявил он. — Бог знает сколько клиентов мы бы потеряли, если бы не один энергичный автомобилист, который позвонил мне и рассказал, что за дьявольщина здесь творится. Я не раз предупреждал, что больше снисхождения тебе не будет. Можешь получить расчет и в пятницу убираться на все четыре стороны.

— С удовольствием, — ответил Стэнли. — Я и сам хотел унести ноги, пока эта помойка не взорвалась.

Потеря работы не особенно его огорчила. Он привык к увольнениям и радовался возможности поболтаться без дела несколько недель, в течение которых можно получить довольно приличное пособие по безработице без всяких налогов и вычетов. Хотя, конечно, разговор с Верой не обещал ничего хорошего, да и от Мод нужно будет постараться все скрыть. Еще не хватало, чтобы о его неудачах вопили во все горло через садовую ограду и отправляли Этель Карпентер в Брикстон письма с тщательно обдуманной клеветой. От такой мысли не порадуешься.

Но, возможно, Мод не долго уж осталось сплетничать или строчить послания. Стэнли нащупал в кармане пузырек с таблетками. Она часто говорит, что жива только благодаря своим лекарствам, и, возможно, не пройдет и нескольких дней, как ее организм бурноотреагирует на повышенную дозу сахараина, принятого вместо обычной порции антикоагулянта.

Стэнли медленно побрел домой, задержавшись лишь возле автомобильного салона, чтобы поглазеть на темно-красную модель «ягуара».

4

— Эти таблетки какие-то странные, — сказала Мод. — Сладковатые. Ты уверена, что в аптеке не перепутали рецепт, Ви?

— Это твой обычный рецепт, мама. Тот самый, что выписал старый доктор Блейк, когда уходил на пенсию. Я отнесла рецепт, как всегда, аптекарю. — Вера взяла в руки пузырек, чтобы убедиться, не приняла ли Мод по ошибке витамины или мочегонное. Нет, это был молланоид. «Миссис М. Кинауэй, — гласила этикетка, — по две таблетки 3 раза в день», там еще чернила чуть смазаны, потому что аптекарь не стал дожидаться, пока они высохнут, и сразу отдал ей лекарство. — Если есть какие-то сомнения, почему ты не разрешаешь мне записать тебя на прием к доктору Моксли? Говорят, он очень хороший доктор.

— Мне он не нужен. Не желаю, чтобы зеленые юнцы ставили на мне опыты. — Мод отхлебнула свой утренний чай и проглотила вторую таблетку. — Наверное, я положила в чай слишком много сахару. Впрочем, от таблеток нет никакого вреда, что бы туда ни намешали. По правде говоря, я давно уже не чувствовала себя так хорошо и не устаю, как раньше. Почтальон пришел. Будь умницей, сбегай посмотри, нет ли там чего от тетушки Этель.

Принесли счет за телефон и письмо с брикстонской маркой. Вера решила, что не станет открывать конверт со счетом, пока не войдет в дом. Ладно, пусть она страус, но что в этом плохого? Возможно, страусы и закапывают свои головы в песок, но живут они припеваючи, носятся галопом по Австралии, или где там еще, и не старятся раньше времени. «Если уж на то пошло, я бы не возражала превратиться в страуса или еще кого-то, — подумала Вера, — лишь бы не быть такой, как сейчас».

Она поспешно схватила пальто с крючка в передней и вновь поднялась на второй этаж, застегивая на ходу пуговицы. Мод сидела в постели, свесив ноги, и полировала ногти лопаточкой с серебряной насечкой.

— У тебя еще десять минут, — сказала Мод. — Можешь уделить мне минутку и послушать, о чем пишет тетушка Этель, а то ты никогда не знаешь, что у нее нового.

Да что у нее может быть нового? Вера не хотела опаздывать только потому, что на цикламене Этель Карпентер расцвело пять бутонов или что маленькая племянница ее квартирной хозяйки заболела корью. Но она все равно осталась, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Все что угодно, только бы в доме был мир, думала она, все что угодно, только бы у Мод было хорошее настроение.

— Ну кто бы мог подумать? — воскликнула Мод. — Тетушка Этель собирается переезжать. Она оставляет свою комнатку и перебирается к нам поближе. Только послушай: «Я узнала, что на Грин-Лейнс, в полумиле от тебя, дорога, освободилась хорошая комната, и в субботу заскочила ее посмотреть». Почему же она, интересно, не зашла? О, вот здесь она объясняет... да, она пишет: «Я бы зашла проведать тебя, но побоялась доставить беспокойство». Этель всегда такая щепетильная.

— Мне пора идти, мама.

— Погоди еще минутку... «Мне бы хотелось прийти, когда дома Ви, а ты говорила, она по субботам работает» и так далее и тому подобное. О, послушай, Ви. «Моя квартирная хозяйка нашла студента, который переедет в мою комнату в пятницу, 10 апреля. Она была очень добра ко мне, и мне не хотелось бы нарушать ее планы, но миссис Патерсон на Грин-Лейнс может принять меня только в понедельник. Вот я и подумала, не согласится ли Ви приютить меня на уик-энд. Так приятно было бы повидать вас обеих и по-

болтать вволю о старых добрых временах». Я напишу ей сегодня же, что мы согласны, да?

— Не знаю, мама. — Вера вздохнула и печально пожала плечами. — Что скажет Стэнли? Мне бы не хотелось, чтобы вы с тетушкой Этель поминутно клевали его.

— Это твой дом, — сказала Мод.

— Вот ты опять, именно это я имею в виду. Я должна подумать. А сейчас мне пора идти.

— Мне нужно поскорей написать ответ, — прокричала Мод вслед дочери. — Прояви хоть раз решительность. Стэнли придется проглотить это.

Конечно же, он все слышал, подумала она. Наверняка еще валяется в кровати у себя в соседней комнате. Перспектива затеять новую баталию воодушевила ее, она почувствовала прилив энергии, сравнимый разве что с тем ощущением, которое она испытывала много лет тому назад каждую неделю по воскресеньям, когда утром с нетерпением ожидала прогулки с Джорджем.

Нехорошо, конечно, что она предвкушает ссору с радостью. Джордж сказал бы, что надо любой ценой сохранять мир, но, с другой стороны, Джордж никогда не жил в одном доме со Стэнли Мэннингом, а если бы жил — сам одобрил бы ее тактику. Он бы понял, как важно спасти Веру.

Мод подошла к туалетному столику и вынула из ящичка фотографию Джорджа в рамке. Легкая сентиментальность, навеянная знакомым лицом, смешалась с раздражением, так часто посещавшим ее, когда был жив муж. Конечно, ей не хватало Джорджа, и если бы появился способ его воскресить, она бы только обрадовалась, и все же она должна была признать, что в какой-то мере он был для нее обузой, человеком слишком слабым, чересчур добросовестным, больше всего любившим плыть по течению. А вот у Этель совершенно другой характер. Этель, как и Мод, всю свою жизнь вынуждена бороться.

Мод убрала фотографию. Ничто не могло ее так порадовать, как последнее письмо. Стоит Этель поселиться неподалеку, она, скорее всего, начнет забегать к ним каждый день, вдвоем они одолеют Веру за несколько недель. Этель обладает такой хваткой, такой неумемной энергией. Она поговорит с Верой, и, когда дочь увидит, что посторонний, незаинтересованный человек утверждает то же, что и ее мать, ей ничего не останется, как сдаться и покориться обстоятельствам, как бывало с Джорджем.

Стэнли останется в одиночестве. Мод готова была прищелкнуть от удовольствия языком при мысли о том, что ему придется жить только на свой заработок, самому готовить себе еду и обрастать грязью, что, по представлениям Мод, было в его характере. Никто, разумеется, не позволит ему остаться в этом доме. Пусть себе ищет комнату. Она вплотную займется его выселением, как только Вера выйдет из-под влияния мужа. А потом, возможно, они смогут отдать дом Этель. Жизнь обошлась с Этель несправедливо, и какая это радость — подарить ей наконец собственный дом и увидеть, как она улыбнется или даже заплачет от благодарности. Сердце Мод радостно забилось, переполненное приятным чувством человеколюбия.

* * *

Биржа труда выплатила Стэнли пособие по безработице гораздо больше той суммы, которую он назвал Вере. Ему самому нужны были деньги, ведь на таблетки «Стань стройной» уходило целое состояние, а кроме того, Стэнли не хотел мозолить глаза Мод и почти каждый день ходил в кино. Надеясь, что к этому времени ее здоровье заметно ухудшится, Стэнли испытывал горькое разочарование, когда наблюдал, как, вместо того чтобы дряхлеть, она становилась все крепче, жизнерадостней и даже моложе с того момента, как он начал пересыпать тюбики с сахарином в пузырек мол-

ланоида. Если бы только она больше двигалась, чаще ходила на прогулки или таскала тяжести. Кровяное давление вряд ли способно подняться от того, что она пишет письма.

Вернувшись домой в тот вечер после приятно проведенных трех часов в кинотеатре, демонстрировавшем фильмы ужасов, он сразу понял — что-то происходит. Эти двое сговорились о чем-то, возможно, именно о том, чего он больше всего боялся — Мод убедила Веру бросить его. Они оборвали разговор, как только он вошел через черный ход, Вера, похоже, плакала.

— С часу дня на ногах, — сказал он. — Обошел все улицы в поисках работы.

— Работу не так-то легко найти, если ничему не учился, — сказала Мод. — Неужели тебе ничего не могут подобрать на бирже?

Стэнли принял чашку чая из рук Веры и мрачно покачал головой.

— Что-нибудь обязательно подвернется, дорогой.

— А ему все равно, не так ли? — сказала Мод. — У него ведь есть кому о нем заботиться. Ты уже отдал Ви свой долг?

С тех пор как Стэнли начал подменять лекарство Мод на сахарин, он старался держаться с ней помягче: называл ее «ма» и не спорил, какую смотреть телепрограмму, хотя это было ему не по нутру. Но сейчас самообладание его подвело.

— Не лезьте не в свое дело, Мод Кинауэй. Это касается только нас с женой.

— Все, что касается Веры, касается и меня. Эти деньги она заработала своим трудом. Разве тебе не приходилось слышать про «Закон о собственности замужних женщин»? Принят парламентом в тысяча восемьсот семьдесят каком-то году. Уже более ста лет женщина имеет право на собственные деньги.

— Вы, наверное, сидели на Галерее для женщин ¹, когда принимался этот закон, — съязвил Стэнли.

Кровь прилила к лицу Мод.

— Неужели ты так и будешь сидеть и позволишь ему говорить мне такие вещи, Вера?

Вера вовсе не сидела. Она моталась между столовой и кухней с тарелками.

— Я так привыкла к вашим перебранкам, — не совсем искренне сказала она, — что теперь просто не слышу их. Давайте за стол. Вы же хотите поесть и убрать до «Аллеи Августы»?

Обиженные и возмущенные, Мод и Стэнли уселись за стол. Ни один из них не ударил палец о палец за весь день, и их нерастратенная энергия проявлялась во взглядах и в том, с каким пылом они дружно набросились на еду. Вера съела лишь кусочек сосиски и немножко пюре. Последние дни она вообще ела плохо и начала даже подумывать, не права ли Мод, заявляя, что она на грани нервного срыва. За ночь она не успевала отдохнуть и по утрам была такой же усталой, как и вечером. Визит тетушки Этель на бесконечно долгий уик-энд тоже не прибавит ей здоровья. Мод наверняка поднимет большую суету для ублажения лучшей подруги — чистая скатерть на стол каждый день, домашняя выпечка, потом, конечно, нужно будет приготовить комнату для гостей.

Мод, должно быть, угадала ее мысли (впрочем, она сама целый день не думала ни о чем другом), потому что, накладывая себе вторую порцию пюре, поинтересовалась:

— Ты уже сказала Стэнли?

— Когда бы я успела? Я и домой-то вернулась всего полчаса назад.

— А что она должна была мне сказать? — спросил Стэнли.

¹ Галерея в палате общин, когда-то отделялась металлической решеткой.

Мод проглотила две таблетки и скроила гримасу.

— У нас недолго проживет моя подруга Этель Карпентер.

— Что такое?

По правде сказать, Стэнли испытал огромное облегчение, услышав, что дело всего-навсего в этом. Ведь он ожидал объявления об отъезде Веры. Теперь, когда бóльшая беда хотя бы на какое-то время отступила, меньшая привела его в ярость, он вскочил, отшвырнув назад стул, выпрямившись во весь свой рост в пять футов пять дюймов.

— Всего на два или три дня, — сказала Вера.

— Всего? Всего два или три дня? У меня и так неприятностей по горло — работы нет, покоя в собственном доме тоже нет, и вы говорите, я должен терпеть эту старую корову...

— Как ты смеешь! Как ты смеешь произносить бранные слова в моем присутствии! — Мод тоже вскочила на ноги, сжав палку в руке. — Этель придет сюда — вот и весь сказ. Мы с Верой так решили, и ты не можешь нам помешать. Вера, если бы захотела, завтра же могла выставить тебя из дома в чем есть.

— А я, — зарычал Стэнли, придвинувшись к ее лицу, — мог бы сдать вас в богадельню. Я совсем не обязан терпеть ваше присутствие, и никто не в силах меня заставить.

— Преступник! — завопила Мод. — Уголовник! Свинья!

— Я отвечу тем же, Мод Кинауэй. Подлая старая ведьма! Злобная стерва!

— Ленивое, никудышное ничтожество!

Наблюдая за ними со своего места на кончике стола, Вера решила, что еще минута — и посыплются удары. Вера подумала, если они в самом деле передерутся, если даже поубивают друг друга, сама она останется такой же безвольной, бесплотной и опустошенной и не почувствует ничего, кроме холодного отчаяния. Вера поднялась с достоинством, какого они до этой минуты никогда в ней не замечали, и заговорила ровным, бесстрастным голосом, как Верховный судья:

— Успокойтесь и сядьте. — Они замолкли и повернулись к ней. — Спасибо. Хоть раз каждый из вас сделал то, что я прошу. Я вам должна кое-что сказать. Или вы научитесь жить, как приличные люди... — Мод застучала палкой. — Мама, прекрати. Я сказала: или вы научитесь вести себя, или я уйду. — Вера отвернулась, заметив торжествующий огонек в глазах Мод. — Нет, мама, не с тобой, впрочем, и не со Стэнли. Я уйду одна. Этот дом ничего для меня не значит. Я могу заработать себе на жизнь. Бог свидетель, мне давно уже приходится это делать. Вот так. Еще один скандал — и я собираю вещи. Я не шучу.

— Ты же не бросишь меня, Ви? — заныл Стэнли.

— Ничего подобного, брошу. Ты меня не любишь. Если бы не моя зарплата и... то, что когда-нибудь перейдет мне от мамы, только бы я тебя и видела. И ты, мама, тоже меня не любишь. Тебе просто нравится быть хозяйкой, влезать в чужую жизнь и верховодить. Всю жизнь ты поступала по-своему, а тут впервые тебе противоречат, и ты не можешь стерпеть, когда кто-то платит тебе той же монетой.

Вера замолкла, чтобы перевести дыхание, и пристально посмотрела на лица огорошенных слушателей.

— Да, видно, я сразила вас обоих. Так не забудьте мои слова. Еще один скандал — и меня здесь не будет. И последнее. Мы примем здесь тетушку Этель, но не потому, что ты этого хочешь, мама. Потому, что я этого хочу. Она моя крестная, я люблю ее и потому, что это мой дом, как ты не устает повторять. А сейчас мы включим телевизор. «Аллею Августы». Можешь смотреть спокойно, мама, Стэнли тебя не потревожит. Он знает, мое слово твердо.

После этого Вера ушла на кухню, и хотя она одержала победу — заставила их замолчать, и сейчас они сидели с недовольным видом перед телевизором, — она уронила голову на стол, зашедшись в рыданиях. Не в пример

Мод, которую отличала безжалостная нечувствительность, Вера быстро терпела решительность, и этим она была похожа на отца. Она даже сомневалась, хватит ли у нее сил осуществить свою угрозу.

Вскоре Вера перестала плакать, вымыла чайную посуду и отправилась наверх. Там, сев перед зеркалом, она внимательно разглядела свое отражение. Слезы ее не красили. Красные пятна, конечно, выступили сейчас, но вот морщины всегда на месте, как и коричневые тени под глазами и проседи в желтовато-серых тусклых волосах, которые когда-то были золотыми.

Понятно, почему Стэнли больше не любит ее, почему теперь он целует ее, только занимаясь любовью, да и то не всегда. Ей припомнились послеполуденные часы, проведенные ими в деревне, в лондонском пригороде, среди вересковых пустошей, когда они еще не были женаты. В тот год она зачала ребенка, который умер, так и не родившись. Теперь кажется — это была другая жизнь, а мужчина и женщина, которых тянуло друг к другу до боли и которые вместе задыхались в высокой траве под деревьями, — другие люди.

Странно, как много значит страсть для молодых. Рядом с ней ни благоразумие, ни сходство характеров, ни надежность не имеют значения. Как тогда они со Стэнли смеялись над Джеймсом Хортоном с его банковским счетом, походами в церковь и скромными претензиями. Сейчас он, наверное, уже управляющий банком, подумала она, живет в хорошем доме, женат на приятной женщине, которой едва за сорок, тогда как она и Стэнли... Она растратила жизнь попусту. Если бы они сейчас встретились с Джеймсом, он не узнал бы ее. Она горестно уставилась в зеркало на отражение потрепанной, никому не нужной женщины.

А внизу Мод и Стэнли смотрели «Аллею Августы». Старуха самодовольно улыбалась, победное выражение не сходило с ее лица, а зять оставался бесстрастным — он ждал своего часа.

5

У каждого есть своя отдушина, своя панацея: наркотики, спиртное, табак или более дешевое и невинное развлечение — постоянная и почти до автоматизма доведенная привычка читать легкие книжки. Стэнли любил и выпить, и покурить, когда мог себе это позволить, да и книги читал постоянно, но истинное и неизменное утешение в жизни он находил, только когда решал кроссворды.

На его книжной полке в спальне стояли почти все сборники кроссвордов, выпущенные в мягких обложках, а также более полные и солидные ежегодники рядом с толковым словарем «Чеймберз», довольно засаленным и потрепанным от частого пользования. Но пустые квадратики в этих книгах были давным-давно заполнены, к тому же книжные головоломки доставляли Стэнли меньшее удовольствие, чем ежедневный свежий кроссворд на последней странице «Дейли телеграф», радующий своей девственной белизной, и если ответы не приходили на ум сразу, решить такой кроссворд можно было только после напряженного ожидания следующего утреннего номера.

Стэнли решал кроссворды из «Телеграф» каждый день на протяжении двадцати лет, и сейчас уже не было случая, чтобы у него оставались незаполненные клеточки. Он разгадывал кроссворд каждый раз и каждый раз правильно. Когда-то, много лет назад, как большинству любителей кроссвордов, ему казалось, что лучше отложить незаконченную головоломку и взяться за нее снова через несколько часов, а за этот короткий перерыв его могло осенить. Но теперь не было необходимости даже в такой небольшой поблажке. Он садился с газетой — не утруждая себя чтением новостей — и через двадцать минут все решения были найдены. Тогда Стэнли охватывало чувство огромного удовлетворения. Самоуважение заслоняло

собой все насущные проблемы и волнения, которые растворялись в магических словах.

Стэнли ничуть не печалило, что ни жена, ни теща не проявляли к его хобби ни малейшего интереса. Так даже лучше. Для любителя кроссвордов нет ничего более досадного, более сводящего с ума, чем вмешательство какого-нибудь доброхота-идиота, который, стремясь прихвастнуть своими знаниями этимологии, вопрошает, сидя в кресле, сколько букв в 15 по горизонтали или почему 4 по вертикали — это «ВОЙ», а не «ЛАЙ».

Стэнли никогда не забыть поползновения Джорджа Кинауэя, его льстиво-робкого «Ты еще не решил кроссворд?» и глупую готовность тут же выдать незамысловатый ответ на вопрос, все очарование которого заключалось в почти неосязаемой тонкости. Ну как объяснить такому дураку, что «тот, кто высказывает желание» (восемь букв, вторая буква «о») явно не «ДОБРОВОЛЕЦ», а «ВОЛОНТЕР»? Или что «хоть справа налево, хоть слева направо — главный среди мусульман» (три буквы) — «АГА», а не «БЕЙ».

Нет, женщины все-таки правильно оценивают свои скромные возможности. Они просто считают, что он занимается глупыми детскими играми, — во всяком случае, так говорят, потому что для них кроссворды — темный лес, зато, по крайней мере, не вмешиваются. А в эти дни Стэнли нуждался в кроссвордах более, чем когда-либо. За целый день ему выдавался один звездный час — иногда днем, иногда вечером, — когда он мог бежать от своих забот и, полностью отстранившись от Веры и тещи, потеряться в сложном и запутанном лабиринте слов.

В остальное время, Бог свидетель, забот ему хватало. Он ясно видел, что дело принимает серьезный оборот — дошло до открытой вражды между ним и Мод. На его стороне молодость, пусть даже и относительная, а больше вроде бы ничего. Все козыри на руках у Мод. Она собралась отнять у него Веру, и со временем ей безусловно это удастся. Стэнли не понимал, почему она до сих пор не добилась успеха. Будь он на месте Веры, а его мать стала бы подкатывать к нему с подачками, предлагая деньги и легкую жизнь, он бы не заставил себя долго упрашивать. Стэнли становилось не по себе, когда он думал, что ему предстоит, если победу одержит Мод. Наверняка эти две стервы не позволят ему остаться здесь, в доме. К тому же сейчас Мод приобретет себе союзницу, которая мчится сюда на всех парах. Если письмо, которое он прочитал, типичный пример еженедельных излияний Мод, Этель Карпентер явится, вооруженная до зубов. Он содрогался при мысли о том, как Этель примется отводить Веру в сторонку, нашептывать ей по углам, выдвигая те же аргументы, что и Мод, но гораздо более весомо, потому что она будет сторонний беспристрастный наблюдатель, который видит все «за» и «против» глазами, не затуманенными эмоциями. Здесь он бессилен. Этель войдет в дом, предпримет решительное наступление дня на три, и если этого окажется недостаточно, то в дальнейшем она поселится где-нибудь поблизости и начнет забегать в гости два-три раза в неделю, держа наготове новый аргумент и подтачивая оборону жены до тех пор, пока наконец, сраженная двойным натиском, та не сдастся.

Ему ничего не оставалось делать — только избавиться от Мод.

Неудача с таблетками «Стань стройной» обескуражила. Он читал и перечитывал все свои медицинские книги и, усвоив каждое слово, пришел к заключению, что никто никогда не в силах определить, когда случится удар. Один Мод уже пережила, другой, возможно, случится завтра, а быть может, вообще никогда. Конечно, волнения могут спровоцировать рецидив, а с другой стороны, могут пройти без последствий. Да и какие у Мод волнения? Удар в состоянии предотвратить антикоагулянты. Удар в состоянии предотвратить спокойная и легкая жизнь. Но никто не в состоянии с уверенностью утверждать, что отсутствие антикоагулянтов и беспокойная жизнь его вызовут. Стэнли подумал с презрением, что перечисление того, что неизвестно докторам о природе инсульта, составит больше томов, чем известные факты. Доктора даже не в состоянии подсказать, когда ждать удара.

Кроме того, оставался вопрос завещания. Стэнли был почти уверен, что ни один адвокат не согласится на условие, выдвинутое Мод. Могла же она случайно попасть под автобус. Неужели в таком случае Вера не должна получить наследство? Нет, это было немыслимое, вздорное условие, но как точно узнать, внесено оно в завещание или нет? Конечно, ничто не мешает зайти в контору к любому адвокату и задать вопрос прямо. Но потом, если Мод умрет, случайно или от его руки, можно не сомневаться, что перво-наперво этот чертов адвокатиска растреплет все полиции. Умница Мод, Козыри на руках у нее — все до единого.

Если бы ему удалось что-то придумать. Сейчас апрель, еще неделя — Этель Карпенгер будет здесь. Только позволь ей приехать, и можно сказать «прощай» всему, на что он когда-то надеялся, и спокойно ждать наступления жалкой старости в нищете и убожестве.

А пока что Стэнли продолжал подменять молланоид на «Стань стройной»: выбрасывал антикоагулянты, которые Вера приносила от аптекаря, подкладывая в пузырек сахарин, пока Мод спала. Но то была жалкая надежда. Ему иногда казалось, что без своих кроссвордов он давно бы пропал.

* * *

— Мы не можем оставить все как есть в комнате для гостей, где поселится тетушка Этель, — сказала Мод. — Во-первых, надо купить новое покрывало, а еще простыни и полотенца.

— Не смотри на меня так, мама, — ответила Вера. — Мне только что пришлось уплатить за телефон.

— Да я и не хотела, чтобы платила ты, дорогая, — поспешила успокоить ее Мод. — Ты подбери, что нужно, а я выпишу чек.

Она одарила дочь обворожительной улыбкой и даже сделала вид, что собирается убрать со стола. Сейчас ей меньше всего хотелось раздражать Веру. А вдруг дочь серьезно задумала то, о чем говорила, и окажется настолько бесчеловечной, что сбежит и бросит ее со Стэнли? Тогда Мод придется ему готовить и делать все остальное.

— Нам с тобой тоже не помешала бы пара новых платьев. В первый же твой выходной мы отправимся в «Люсетт» и выберем что-нибудь действительно сногсшибательное.

— Можно подумать, приезжает сама королева, — сказал Стэнли.

Мод даже не взглянула в его сторону.

— Ужасно волнуюсь. Наверное, я все-таки приглашу девушку, чтобы сделать перманент дома. И ты тоже могла бы сделать укладку днем, во время перерыва. А еще надо поставить цветы. Тетушка Этель обожает цветы.

Она удобно устроилась с вязанием на коленях, повторяя про себя строки из письма, которое отправила подружке еще сегодня утром.

«...Ты не должна очень расстраиваться, увидев, в каком состоянии находится дом, дорогая. Это дешевое старое здание, и жалко до слез, что Ви пришлось жить здесь так долго, но я надеюсь, что скоро все переменится. При встрече я покажу тебе проспекты новых домов, которые мне прислали из агентства по продаже недвижимости. Мне особенно приглянулся домик с кухней, оборудованной по последнему слову техники, и роскошной ванной наподобие бассейна. Так непохоже на то, что было в старые времена! А еще я подумала, почему бы тебе не перебраться сюда. Я, конечно, велю все здесь для тебя перекрасить и установить на кухне двойную мойку. Мы еще обсудим этот вопрос, когда ты приедешь. Я знаю, что могу на тебя рассчитывать: ты поможешь мне уговорить Ви...»

Мод улыбнулась и увидела, что ее улыбка не ускользнула от Стэнли. Он помрачнел как ночь. Если бы он только знал!

— Пора включать «Аллею Ав. усты», — уверенно объявила она.

Стэнли не проронил ни слова. Он отшвырнул разгаданный кроссворд, распахнул дверь на террасу и вышел в темнеющий сад.

* * *

— К нам приезжает одна старушка, — сообщил Стэнли мистеру Блэкморю. — Старая знакомая тещи. В доме поднялась такая суета, словно это особа королевской крови.

— Я бы сказал, миссис Кинауэй не так уж часто общается с людьми. — Блэкмор придвинул стремянку к стене своего дома и взобрался на ступеньки, держа в одной руке кисть и банку с краской.

— Ей вредно волноваться. — Стэнли воткнул вилы в землю. — Если так пойдет и дальше, ее, того и гляди, хватит еще один удар.

— Очень надеюсь, что нет.

— Хм, — произнес Стэнли и вновь вернулся к своей траншее.

Он давно заказал новый пакет торфа, и через день-два его должны доставить. Потом нужно будет выманить у Веры денег на новый вид вереска. Если у нее хоть что-то осталось. Неизвестно, сколько они с этой старухой расфинькали на ублажение Этель Карпентер.

Впервые в жизни теща хоть что-то делала своими руками. Легкую работу, разумеется, с которой справились бы даже дамочки, в чьих домах она когда-то прислуживала. Стэнли зашипел от злости, когда увидел разоренную клумбу нарциссов — каждый второй цветок был даже не срезан, а сорван, чтобы составить замысловатый букет для спальни Этель Карпентер.

Сама комната тоже преобразилась. Вдруг осознав, что тает его наследство, Стэнли мрачно наблюдал, как Мод выписывает чеки: один — для «Люсетт», откуда доставили платья для нее и Веры, другой — за все те дополнительные припасы, которые повезли на днях, еще один — торговцу тканями, приславшему пару светло-желтых простынь, две наволочки с оборочками такого же цвета и два черно-желтых полотенца. Ну, а мыть все кругом, выбивать матрасы, крахмалить кружевные салфетки, которые Мод пожелала увидеть на туалетном столике Этель, пришлось, конечно, Вере.

Варварский разгром клумбы с нарциссами так угнетающе подействовал на Стэнли, что он проработал в саду только до одиннадцати и уныло побрел в дом. В столовую он не зашел. Там была Мод, ей как раз делала перманент вялая молодая женщина, домохозяйка, вынужденная ходить по соседкам, завивать им волосы, чтобы свести концы с концами. Дверь в столовую была плотно прикрыта, но это не помешало отвратительному запаху нашатыря и тухлых яиц распространиться по всему дому.

Принесли вторую почту, с которой приходили местные письма. Две недели тому назад Стэнли написал редактору центральной газеты, предлагая свои услуги в качестве составителя кроссвордов — должность, которая, по его мнению, могла действительно ему подойти, дав выход его творческим талантам. Но редактор не ответил, и Стэнли перестал надеяться. Он подобрал с коврика письма, с мрачным видом просмотрел надписи на конвертах. Как всегда, ему ничего. Обычный счет за газ и длинный конверт, адресованный Мод.

Конверт был не заклеен. Стэнли забрал его на кухню, удивившись, кто мог писать Мод, да еще отпечатать адрес на машинке. Возможно, ее адвокат.

Оказавшись по другую сторону тонкой перегородки, отделявшей кухню от столовой, он услышал голос Мод:

— Если это последний локон, дорогая, почему бы вам не заглянуть на кухню, чтобы приготовить нам по чашечке крепкого кофею?

Стэнли схватил письмо и унес его наверх. Уединившись в спальне, в окружении ежегодников с кроссвордами, он вынул из конверта сложенный листок бумаги. Письмо было не от адвоката. Его даже нельзя было считать обычным письмом. Внезапно похолодев, Стэнли прочитал:

«64, Роузбанк-Клоус, Чигуэлл, Эссекс.

Интересующий Вас дом в зоне зеленого пояса оценен недорого, в 7600 фунтов, в нем есть великолепный холл-гостиная с камином, отделанным

камнем, две большие спальни, прекрасно оборудованная кухня с кондиционером и мусоропроводом, просторная ванная комната и отдельный туалет. Детали следующие...»

Стэнли не стал вдаваться в детали. Ему было достаточно того, что он увидел. Мод, должно быть, очень уверена в себе, если начала переговоры с агентами по продаже недвижимости. Подобно полководцу, она продумала план и шла напролом, отбрасывая все, что преграждало путь. А он... он и его бедные войска отступали по всем направлениям, орудия молчали, жалкие обходные маневры были недействительны. Вскоре ему предстоит перебраться под чужую крышу, любую, которую он сможет найти. Вероятнее всего, это будет меблированная комната или даже — о, ужас! — общежитие для рабочих.

Но сейчас, по крайней мере, она не получит того, что желает. Стэнли поднес спичку к листку и сжег его в камине. Но удовольствие от этого он получил небольшое. Все равно как если бы побежденный генерал сжег донесение, сообщающее, что битва окончена, войска рассеяны и капитуляция неминуема. Все равно придет новое донесение. Избавляясь от бумаги, не избавляясь от самого факта поражения.

Он спустился вниз и прибегнул к помощи единственного утешения, которое у него осталось. Но кроссворда хватило на пятнадцать минут, и Стэнли обнаружил, что теперь он больше не способен, как прежде, получать удовольствие, продумывая и заново оценивая решения, которые уже найдены, прищелкивая в восхищении языком от таких остроумных догадок, как: «название балета Чайковского, подсказывающее, как избавиться от ореховой скорлупы» — «ЩЕЛКУНЧИК», или: «Инструмент или зуб — одно слово» — «РЕЗЕЦ». Тем не менее он медленно повторил их самому себе, и от этого стало легче. Положив локти на кухонный стол, он вновь и вновь шептал: «что носят летом на отдыхе, но не на работе?» — «ШОРТЫ»; «терять твердость, когда становится жарко» — «ТАЯТЬ». Жаль, что они не печатают каждый день по два кроссворда вместо одного, подумал он и вздохнул. Может, написать им письмо с предложением, хотя какой в том толк, они все равно не ответят. Сейчас все идет наперекор ему.

Парикмахерша ушла. Он услышал, как закрылась входная дверь. В кухню вошла Мод, ее седая голова была вся в завитушках. Они напомнили Стэнли металлические мочалки, которыми пользуются, когда дряют кастрюли. Вид у них был такой же твердый, прочный, металлический. Но он ничего не сказал, только пристально взглянул на нее исподлобья.

С тех пор как Вера, всплыв, пригрозила уходом, по вечерам они относились друг к другу настороженно, скорее холодно, чем вежливо, но не вызывающе. А днем продолжали войну, не теряя былой язвительности и пыла. Стэнли ждал, что теща сейчас вырвет у него газету и произнесет очередное оскорбление, что-нибудь вроде: «Почему бы тебе не убраться, ленивое животное, куда-нибудь подальше?», но Мод просто сказала:

— Она неплохо потрудилась над моей прической. Не хочу, чтобы Этель думала, будто я не слежу за собой.

У Стэнли было наготове с полдюжины выразительных грубых ответов. Он как раз решал, какой выбрать, да побольнее, чтобы в лицо старухе ударила кровь и началась яростная перепалка, когда, бросив на нее кислый взгляд, понял, что все бесполезно. Мод отпустила свое невинное замечание насчет прически вовсе не потому, что с возрастом она стала мягче и слабее, или оттого, что за окном стоит хороший солнечный день. И перемирия она тоже не собиралась устраивать. Она заговорила так потому, что отпала необходимость в военных действиях. Зачем суетиться, стараясь прихлопнуть муху, когда можно просто растворить окно и выгнать ее на улицу? Мод победила и знала об этом.

Не проронив ни слова, Стэнли наблюдал, как она открыла кладовку и смотрела озадаченно, чуть удивленно на холодный пирог, который Вера оставила им на второй завтрак.

Когда Стэнли не работал, ни он, ни Мод не спускались вниз по утрам раньше половины десятого. Вообще-то Мод часто оставалась в своей комнате до одиннадцати, занимаясь маникюром, уборкой туалетного столика и полки с медикаментами или сочинением новой страницы еженедельного послания Этель Карпенгер. Но в пятницу, 10 апреля, в день прибытия Этель — День Этель, как язвительно прозвал его Стэнли, — оба удивили Веру, появившись за завтраком в столовой.

Каждый из них проснулся рано, Стэнли — потому что неотвратимый приезд Этель вызвал в нем настоящий страх перед мрачным будущим и не позволил мирно дремать в постели, а Мод — потому что была слишком взволнована, чтобы спать.

Заняв свое место за столом и до краев наполнив тарелку кукурузными хлопьями, Мод подумала, как чудесно и неожиданно эти двое начали танцевать под ее дудку. Прошло уже больше двух недель, а Стэнли не сказал ей ни одного дерзкого слова. Весь его облик говорил о поражении. Вот он сидит, сгорбившись, положив руки на стол, и тупо уставился в окно, выходящее в сад. А что касается Веры... Мод едва сумела сдержаться, чтобы не издать победный клич, заметив на лице Веры тоскливое удивление, когда в дом принесли и новые полотенца, и простыни, и синее платье в белый горошек, которое Мод заставила ее купить. Одно слово тетушки Этель, и она полностью капигулирует. Обязательно. Иначе это было бы противно человеческой природе.

— Одно яйцо или два, мама? — прокричала Вера из кухни.

Мод удовлетворенно вздохнула. Ее чуткие уши уловили, что из голоса Веры исчезла интонация вечно жалующейся мученицы, так ее раздражавшая. Теперь этот тон приберегался для Стэнли.

— Два, дорогая.

Мод проглотила таблетки, запив их большим глотком чая. По-настоящему крепкий и сладкий чай, как она любит. Сахар ей нужен, чтобы поддерживать силы, ведь впереди предстоит длинный день. Сахар и много белка.

В столовую торопливо вошла Вера с тарелкой яичницы с беконом, оставившись на минутку у буфета, чтобы отрезать для Мод толстый кусок хлеба. Стэнли потягивал свой чай мелкими глоточками, словно больной.

— Постарайся прийти домой пораньше. Хорошо, Ви?

— Не уверена, что мне удастся вырваться до пяти. Ты, кажется, говорила, тетушка Этель доберется сюда не раньше.

Мод самодовольно кивнула.

Как только Вера ушла, она охотно принялась за работу: почистила старым пылесосом потертые ковры, натерла пол в передней и наконец приготовила пиршество, которое должно было порадовать сердце Этель. Уже много лет она не бралась ни за какую работу по дому и скорее предпочла бы, чтобы дом превратился в помойку, чем позволить Стэнли Мэннингу увидеть, что она держит в руках пыльную тряпку. Теперь это не имело значения. Стэнли слонялся из комнаты в комнату, наблюдал за ее возней и ничего не говорил. Мод было все равно. Она напевала за работой свои любимые старые гимны («Веди нас, небесный Отец, за собой» и «Любовь к Всевышнему сильнее всех чувств»), как, бывало, делала много лет тому назад в большом доме, пока хозяин с хозяйкой еще спали.

В двенадцать они сели за второй завтрак.

— Я уберу здесь и помою посуду, — сказала она, когда они доели холодный рисовый пудинг. — Не годится, если Этель придет и найдет здесь все вверх дном.

— Не понимаю, почему вы с Ви не можете вести себя более естественно.

— Чистота, — заявила Мод, воспользовавшись отсутствием Веры, чтобы отпустить запрещенную шпильку, — является естественным состоянием для некоторых людей. — Она засуеилась по комнате, вытирая пыль, и хромота

ее была почти незаметна. — Я приготовлюсь к встрече, достану новое платье, а затем прилягу у себя наверху.

— А чем не годится кушетка в этой комнате? — Стэнли указал большим пальцем на столовую.

— В этой комнате уже все прибрано и приготовлено для чая, а в гостиную я не могу пойти, потому что там мы будем принимать Этель.

— О, Господи! — сказал Стэнли.

— Пожалуйста, не богохульствуй. — Она подождала выразительного ответа, а когда он не последовал, резко добавила: — И тебе тоже нечего устраивать здесь беспорядок. Нам совсем ни к чему, чтобы повсюду валялись твои кроссворды.

На последнее замечание Стэнли отреагировал, но это была лишь тень былого энтузиазма.

— Обо мне можете не волноваться. Ленивое, никудышное создание собирается уйти. Наверное, вы бы сами не возражали, если бы я ушел на все выходные. — Мод фыркнула. Она ополоснула руки, вытерла их и величественно направилась к двери. На прощание Стэнли предпринял слабую попытку пустить последнюю стрелу: — Постарайтесь не проспать. Бог его знает, что может случиться, если мисс Карпентер придется окопачиваться на крыльце в ожидании.

— Я сплю очень чутко, — весело отозвалась Мод. — Меня будит малейший шум.

Следующие несколько дней просто и жить не стоило. Эти женщины примутся гонять его с утра до ночи, чтобы он вытирал ноги, мыл руки, вертелся мелким бесом вокруг Этель Карпентер, а он в ответ даже пикнуть не посмеет. Конечно же, она уедет в воскресенье или понедельник, но не дальше, чем метров на сто, на Грин-Лейнс, а потом сколько раз в неделю она будет приходить к Мод, злоупотребляя его гостеприимством?

Уже только от одной этой мысли можно впасть в отчаяние, подумал Стэнли, облокотившись на стол и положив голову на руки. В крайнем случае, можно примириться и с этим, но однажды, возвратившись из кино или с работы — а ему придется найти работу хотя бы для того, чтобы было куда уходить из этого дома, — он обнаружит, что никого нет, и на столе лежит записка с чигуэльским телефонным номером и краткой просьбой найти для себя другое жилье.

Как только здесь появится Этель, такой исход неминуем. Стэнли взглянул на старые кухонные часы. Половина второго. Три с половиной часа — и она будет здесь.

Он забрел в столовую в поисках более удобного стула, но там оказалось холодно, а чрезмерный порядок навевал мысли о похоронах. Разложенный, накрытый стол застен сверху второй скатертью, белой как снег. Возвышение на столе посреди комнаты напоминало своим накрахмаленным холодным видом холмистый ландшафт, укрытый хрустящим, только что выпавшим снегом. Стэнли приблизился к столу и приподнял скатерть, потом и вовсе стянул ее.

В центре стола лежала горкой красная лососина, сохранившая форму консервной банки, из которой ее достали, обложенная кусочками огурца и редиски, фигурно нарезанными в виде цветочков. С одной стороны блюда стояла свекла, плавающая в уксусе, с другой — картофельный салат, а с третьей — капустный. Были выложены три разных батона, которыми Мод предстояло заняться после прихода гостей. По поверхности масла в двух стеклянных вазочках пролегли волны. Был там еще холодный жареный цыпленок, а рядом — консервированный язык. На краю стола выстроились три больших кекса, два из них — глазированные, украшенных бумажными оборочками, третий — данди¹. Шоколадное печенье и имбирные орешки были

¹ Большой круглый кекс с изюмом, цукатами, орехами и пряностями, первоначально выпекался в городе Данди, Шотландия.

выложены узором на салфеточке, а рядом стояли с поддюжины вазочек с рыбным паштетом, лимонным творогом и тремя видами джема.

Сколько суматохи, подумал Стэнли, а все ради какой-то старухи, которая всю жизнь провела в прислугах. А для него сойдут сосиски и рыбные палочки. Так вот как они собираются жить, как только осуществят свои тайные замыслы? Стэнли набросил на стол скатерть, не зная, куда деть себя на оставшуюся часть дня. Из дома уйти он не мог, разве что в сад, ведь у него нет ни пенса.

Потом он вспомнил, что видел, как накануне вечером Вера высыпала немного мелочи в карман плаща. Сегодня она оставила его дома, потому что утро выдалось яркое и солнечное. Стэнли поднялся наверх и открыл гардероб жены. Надеясь на подарок судьбы — фунтов хотя бы на пять, — который позволит ему отправиться в кино, он проверил карманы, но оба были пусты. Стэнли тихо выругался.

Начался дождь, легкий, моросящий. Вера промокнет, так ей и надо. Пять минут третьего. Впереди еще целый день, серый и пустой, в конце которого старухи устроят чаепитие. Уж лучше умереть, подумал он, бросаясь на кровать.

Он лежал, положив под голову руки, и с несчастным видом разглядывал потрескавшийся рябой потолок, по которому курсировала муха с медлительной решимостью астронавта-одиночки, пересекающего холодную поверхность Луны. На тумбочке возле кровати лежала «Дейли телеграф», которую он оставил там сегодня утром. Стэнли взял газету в руки. Решать кроссворд он не собирался — приберегал его на вечер, чтобы облегчить еще большую тоску, — а вместо него просмотрел колонку с некрологами, напечатанную рядом с ответами предыдущего кроссворда.

Его жизнь могла бы пойти совсем по-другому, если бы между объявлениями о кончине Кайза Гарольда и Конрада Франца Вильгельма появилась бы Кинаузй Мод, возлюбленная жена покойного Джорджа Кинаузэ и дражайшая мать Веры... Стэнли с горя пробежал глазами всю колонку. А еще говорят, человеку отпущено всего семь десятков лет! Да тут каждому далеко за семьдесят, а трое, как насчитал Стэнли, перевалили за девяносто. Мод легко сможет прожить еще лет двадцать. Через двадцать лет ему будет уже шестьдесят пять. Боже, невыносимо думать...

От мрачных мыслей Стэнли оторвал звонок в дверь. Наверное, пришли проверить газовый счетчик, подумал он. Пусть себе звонят. Мод храпела так громко, что было слышно через стену. Вот тебе и росказни о том, как она чутко спит и реагирует на каждый звук.

Старуха перетрудилась, устав от непривычной работы. У Стэнли затеплилась слабая надежда, что, быть может, волнения и работа скажутся на ней. Все эти наклоны, натирка полов, энергичные движения...

Снова позвонили в дверь.

Наверное, привезли заказанный торф. Стэнли поднялся с кровати. Дождь прекратился. Стэнли высунул голову в окно и, не заметив на проезжей части грузовичка торговца семенами, собрался отойти от окна, когда из-под навеса появилась дородная фигура.

Стэнли не видел Этель Карпентер со дня своей свадьбы, но ни на секунду не сомневался, что это она. Жесткие курчавые волосы под алым фетровым шлемом, которые были когда-то тускло-каштановыми, сейчас поседели, а в остальном она, казалось, не изменилась.

Она помахала ему зонтиком и прокричала:

— Это, по-видимому, Стэнли? А я было решила, что в доме никого нет.

Стэнли ничего не ответил. С грохотом опустил окно, посылая проклятия Этель. Его первой мыслью было пойти в соседнюю комнату и трясти Мод до тех пор, пока она не проснется, но это могло вызвать у старухи ярость, которая уляжется, только если она как следует выругает его при этой толстухе в красной шляпе. Наверное, лучше все-таки впустить Этель Карпентер самому. Провести за разговором с ней два-три часа было для Стэнли

сущим адом, но, с другой стороны, он мог бы использовать это время для того, чтобы немного склонить ее на свою сторону.

По пути вниз он заглянул в комнату Мод. Она по-прежнему крепко спала, раскрыв рот. Стэнли спустился на первый этаж и отпер входную дверь.

— Я думала, вы уж никогда не придете, — сказала Этель.

— Немного рановато, а? Мы ожидали вас не раньше пяти.

— Новый постоялец моей хозяйки приехал чуть раньше времени. Вот я и подумала, что и мне пора отправиться в дорогу. Знаю, что Мод сейчас спит, поэтому нет нужды ее будить. Ну, вы не собираетесь пригласить меня в дом?

Стэнли пожал плечами. Эта старуха оказалась еще более сварливой и шумной, чем Мод, и он понял, что ему предстоит чудесное время. Этель Карпентер прошла мимо него семенящей походкой в переднюю, оставив на ступеньках два чемодана. «Обращается со мной как с каким-то носильщиком, — подумал Стэнли, поднимая чемоданы. — Господи, да они весят тонну! Что у нее там? Золотые слитки?»

— Тяжело? Я чуть не надорвалась, пока волокла их всю дорогу со станции. Мне вообще-то нельзя носить тяжести при моем давлении, но я знала, что машины у вас нет и вы не станете затруднять себя, поэтому ничего другого не оставалось.

Стэнли с грохотом опустил чемоданы на сверкающий мозаичный пол.

— Я собирался встретить вас, — солгал он, — только думал, что вы придете в пять.

— Давайте оставим пререкания. По всем сведениям, вы любитель поспорить. Ну вот, у меня снова закружилась голова. Перед глазами поплыло.

Этель Карпентер поднесла руку к голове и вошла — но уже не так живо — в комнату, которой пользовались редко и называли гостиной.

— По дороге сюда у меня уже было два приступа, — сообщила она и гордо добавила: — В последний раз, когда я ходила к врачу, давление у меня подскочило до двухсот пятидесяти.

Еще одна, подумал Стэнли. Еще одна с жалобами на то, что нельзя про- верить: ухватится за любой предлог — лишь бы пальцем не пошевелить. Что касается его самого, несмотря на все прочитанные книги, он начинал думать, что никакого кровяного давления вообще не существует.

— Вы не хотели бы раздеться? — мрачно предложил он. Затащить бы ее наверх, может, тогда и Мод проснется. Он уже понял, что любое словечко против Мод падет на бесплодную почву. — И посмотреть свою комнату?

— Что ж, ладно. — Этель отняла руку от головы и встряхнулась. — Головокружение уже прошло. По крайней мере, мне лучше. Заодно уж и чемоданы поднимем. Вперед. Макдуф¹.

Стэнли с трудом преодолевал ступени. Судя по весу чемоданов, она собирается гостить недели две. А может, так оно и есть... Не дай Бог, подумал он.

Пройдя в свою комнату, Этель сняла пальто, шляпу и положила их на кровать. Затем она расстегнула брошку на шарфе и осталась в шерстяном платье канареечного цвета. Она оказалась почти такого же сложения, как Мод, только толще, и лицо у нее было краснее. Оглядевшись вокруг, она понюхала нарциссы.

— Я бывала в этом доме раньше, — сообщила она. — Вот, а вы не знали. Я приезжала сюда с Мод и Джорджем, когда они собирались купить его для Ви. — Стэнли стиснул зубы при этом напоминании, безусловно намеренном, кто здесь истинный хозяин. — Я думала, за это время вы перебрались куда-нибудь получше.

— А чем плох этот дом? Меня он устраивает.

¹ Искаженная цитата из Шекспира. «Макбет», V акт, 8 сцена.

— Как говорится, у каждого свой вкус. — Этель поправила прическу. — Я только взгляну одним глазком на Мод, осторожно, чтобы не разбудить ее. А затем мы снова спустимся. Хорошо?

Угромо подчиняясь судьбе, Стэнли сказал:

— Вам ее не разбудить. Для этого понадобилась бы бомба. Свои три часа она проспит.

С приторной улыбкой Этель поглазела на подружку, затем прикрыла за собой дверь. Выражение ее лица вновь изменилось и стало суровым и язвительным.

— Так говорить о матери Ви не годится. Всем, что у вас есть, вы обязаны ей. Когда я сюда ехала, я знала, что вы будете дома, так как сидите на пособии, и решила, что мы сможем немного поговорить с глазу на глаз.

— Вот как? О чем же мы будем говорить?

— Я не собираюсь беседовать на площадке. У меня опять начался приступ. Спустимся вниз.

— Мне тут пришло в голову, — сказал Стэнли, — что, быть может, вам лучше прилечь? Если вы так плохо себя чувствуете. Все равно мне пора идти, есть кое-какие дела.

Оказавшись в гостиной, Этель тяжело опустилась в кресло и молча откинулась на спинку, прерывисто дыша. Стэнли смотрел на нее с твердой уверенностью, что она разыгрывает пред ним спектакль. Наверное, полагает, что таким образом сумеет выпросить у него чашку чая.

Наконец гостя вздохнула, открыла большую черную сумку, откуда вынула кружевной платочек и провела по лицу. Казалось, она забыла о своем намерении призвать его к ответу, так как когда заговорила, ее дрожащий голос звучал не сурово, а все внимание сосредоточилось на фотографии Веры и Стэнли, стоящей на мраморной каминной полке. Снимок был сделан на их свадьбе, Вера не любила его, поэтому держала в ящике комода. Но Мод, вознамерившись оживить эту мрачную комнату, снова извлекла фотографию на свет Божий вместе с парой зеленых стеклянных вазочек, пивной кружкой в виде толстяка и статуэткой обнаженной девушки — все эти предметы были свадебными подарками.

— У меня тоже есть такая фотография, — сказала Этель. — Она стоит возле моей кровати. Или лучше сказать — стояла, потому что теперь упакована вместе с другими мелочами в сундук, который я отправила.

— Отправили на Грин-Лейнс? — с надеждой поинтересовался Стэнли.

— Вот именно. Грин-Лейнс, дом пятьдесят два, к миссис Патерсон. — Она уставилась на фотографию. — Нет, кажется, это другая. На моей сняты подружки, если я правильно помню. Посмотрю-ка поближе.

Как только она встала с кресла, у нее снова закружилась голова. С большой неохотой Стэнли был вынужден приподняться и протянуть ей руку, но Этель отмахнулась, изображая независимость. Она сделала шаг вперед, но тут же лицо ее исказилось и послышался глухой стон, почти нечеловеческий. Стэнли показалось, так могло стонать только животное.

На этот раз он шагнул к ней, вытянув обе руки, но Этель Карпентер снова застонала, пошатнулась и тяжело рухнула на пол, прежде чем он сумел поймать ее.

— Боже мой, — прошептал Стэнли, опускаясь на колени.

Он взял ее запястье, пытаясь нащупать пульс. Рука Этель безвольно повисла в его руке. Затем он сделал попытку прослушать ее сердце. Глаза старухи были широко открыты и смотрели немигающим взглядом. Стэнли поднялся. У него не было никаких сомнений, что она мертва.

Без двадцати пяти три.

Первой мыслью Стэнли было пойти к миссис Блэкмор. Он постучал в

дверь дома номер пятьдесят девять, но никто не ответил. Стучаться к миссис Макдональд не было необходимости. Под цифрой «шестьдесят три» развевалась приколотая записка:

«Ушла по магазинам. Буду дома в три тридцать».

Улица была пустынна.

Когда Стэнли вернулся, его вдруг осенило. Кто, кроме него, знал, что приехала Этель Карпентер? И сразу за этой мыслью последовала другая — ужасная, смелая, великолепная и отчаянная.

Мод проспит по крайней мере до четырех. Он бесстрастно посмотрел на тело Этель Карпентер. Задумался, что-то подсчитал, не испытывая ни малейшей жалости. Без сомнения, она умерла от удара. Перетрудилась. Давление у старухи было высоким, а три четверти мили с такими чемоданами совсем dokonали ее. Чудовищная несправедливость. Никто не выиграет от ее смерти, ни один человек не станет ни на йоту счастливее, тогда как Мод, которая может столько дать...

К тому же умерла она от удара, той смертью, которой должна была умереть Мод, чтобы ему достались двадцать тысяч. Ну почему здесь сейчас лежит не Мод? Стэнли сцепил руки. А почему не сделать этого? Почему? У него впереди добрых полтора часа.

А вдруг не удастся? Вдруг его выведут на чистую воду? Но что они могут сделать, если кто-то из них, Мод или Вера, или какой-нибудь любопытный сосед войдет как раз, когда он будет занят делом? Ну засадят его за решетку ненадолго. Пара месяцев в тюрьме — все равно лучше, чем теперешняя его жизнь. А если дело сойдет с рук, если полтора часа пройдут так, как надо, он станет богатым, свободным и счастливым!

В выпускном классе, когда ему было пятнадцать лет, Стэнли принимал участие в школьной постановке. Никто из мальчиков так и не понял, о чем пьеса, впрочем, если на то пошло, зрители тоже не поняли. Стэнли напрочь забыл об этом, но сейчас вдруг в его памяти всплыло несколько строк. На сей раз это уже был не просто вздор, который ему пришлось выучить наизусть, не вдаваясь в смысл. Теперь это был очень важный совет, имевший прямое отношение к его собственной дилемме.

В делах людей прилив есть и отлив,
С приливом достигаем мы успеха,
Когда ж отлив наступит, лодка жизни
По отмелям несчастий волочится.
Сейчас еще с приливом мы плывем.
Воспользоваться мы должны теченьем
Иль потеряем груз ¹.

Если кто теперь и плыл с приливом, то это был Стэнли Мэннинг. Ямбические пентаметры, в прошлом бессмысленные, вернулись в его памяти, как приказ. Будь он верующим человеком, он бы решил, что это глас Божий.

Телефон стоял в гостиной, где распростерлась Этель Карпентер. Стэнли сбегал наверх, перескакивая через две ступеньки, убедился, что Мод крепко спит, затем заперся в гостиной, вдохнул поглубже и набрал номер телефона приемной доктора Моксли. Десять против одного, доктора не будет на месте, ему скажут обратиться в «скорую помощь», и тогда все будет конечно.

Но доктор Моксли оказался на месте, его последний пациент только что ушел. «Пока что везет», — подумал Стэнли, охваченный дрожью. Дежурная сестра соединила его с доктором.

— Я приеду сейчас, перед вызовами. Мистер Мэннинг, вы сказали? Ланчестер-роуд, шестьдесят один? И кто у вас умер?

— Моя теща, — решительно заявил Стэнли. — Мать моей жены, миссис Мод Кинауэй.

¹ В. Шекспир. «Юлий Цезарь», IV акт, сцена 3, перевод М. Зенкевича.

ЧАСТЬ II

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Когда Стэнли положил трубку, его всего трясло. Следующий шаг придется сделать сейчас, перед приходом доктора, пока смелость еще не совсем испарилась. В шкафу стояла почти полная бутылка бренди. Стэнли вынул ее трясушимися руками и налил себе большую порцию. Неважно, если доктор Моксли что-то унюхает, — вполне естественно, что человеку потребовалось выпить, после того как теща свалилась перед ним замертво.

Ви захочет посмотреть на тело. Тело. Это значит, что ему придется сделать все осторожно. Господи, он не сумеет! Такими дрожащими руками даже муху не прихлопнуть, не говоря уже о... Но если Мод спустится вниз, пока здесь будет доктор...

Стэнли выпил еще немного бренди и вытер губы. Он вышел в тихий коридор и прислушался. Храп Мод мерно разносился по всему дому, словно где-то билось огромное сердце. В груди у Стэнли бешено колотало. Раздался звонок в дверь, и он от испуга чуть не потерял сознание.

Не может быть, чтобы доктор Моксли так быстро добрался. Это не под силу человеку. Господи, а вдруг Ви забыла ключ? Стэнли, шатаясь, побрел к двери. Если так пойдет и дальше, то у него у самого будет удар...

— Добрый день, сэ. Торф, как заказывали.

Перед ним стоял зеленый пластиковый мешок. Стэнли облегченно перевел взгляд с мужчины на мешок и обратно, не в силах произнести ни слова.

— Все в порядке, приятель? У вас нездоровый вид.

— Все нормально, — пробормотал Стэнли.

— Ну, вам лучше знать. Доставка оплачена. Отнести мешок в сарай?

— Я сам. Большое спасибо.

Пока Стэнли тащил волоком мешок, он услышал, что по другую сторону ограды вышагивает миссис Блэкмор. Стэнли быстро пригнул голову. После того, как дверь за ней захлопнулась, он вывалил торф на пол сарая, а сверху накрыл пустым мешком.

Встреча с этими двумя людьми, жившими в почти таких же условиях, как и он сам (разносчик ютился в убогой муниципальной квартирке, а миссис Блэкмор, вечно усталая скупердяйка, хронически не сводила концы с концами), вернула Стэнли к реальности и поставила перед тяжелой необходимостью. Он должен сделать это сейчас и отбросить все сомнения. Будь он знаком с «Гамлетом» так же, как с «Юлием Цезарем», он бы сказал себе, что его прежние сомнения и минутное колебание были не чем иным, как «ярким решимости румянцем, потускневшим под тенью размышления»¹.

Стэнли запер входную дверь и поднялся на второй этаж, сжав перед собой руки. Мод не было слышно. Господи, неужели она встала, оделась, собралась идти вниз?.. Стэнли опустил перед дверью на колени и заглянул в замочную скважину. Мод по-прежнему спала.

Стэнли подумал, что в жизни ему не доводилось слышать подобной тишины: движение на улице прекратилось, смолкли птицы, даже его собственное сердце, казалось, больше не бьется. Тишина, тяжелая и неестественная, походила на ту, которая, по рассказам, предшествует землетрясению. Тишина напугала его. Ему хотелось громко закричать и нарушить безмолвие или услышать, пусть вдалеке, человеческий голос. Казалось, он и Мод остались одни в пустом мире, лишенном людей.

Дверные петли были смазаны еще неделю тому назад, потому что Мод жаловалась на их скрип. Дверь открылась бесшумно. Стэнли подошел к

¹ В. Шекспир. «Гамлет». III акт, сцена 1, перевод М. П. Вронченко.

кровати. Мод спала как довольный ребенок. Все его помыслы были настолько яростны, что ему подумалось, будто они вот-вот передадутся Мод и разбудят. Он глубоко вздохнул и протянул руки, чтобы выхватить из-под ее головы подушку.

Доктор Моксли не стал звонить в дверь. Он воспользовался дверным кольцом, и лязг металла разнесся по всему дому. Мод перевернулась, вздохнула, словно поняла, что получила отсрочку приговора. Не сводя с нее глаз, Стэнли решил, что ему настал конец, план рухнул. Но она продолжала спать, ее рука все так же безвольно свисала с кровати. Прижав ладонь к груди, как бы опасаясь, что его тяжелое, налитое свинцом сердце выскочит из грудной клетки, Стэнли спустился и открыл дверь. Это был похожий на мальчика человек с копной черных волос и стетоскопом, свисавшим с шеи.

— Где она?

— Вон там, — хрипло ответил Стэнли. — Я подумал, лучше не трогать ее.

— В самом деле? Я вообще-то не полицейский.

Стэнли это совсем не понравилось. Его одолел приступ тошноты. Шаркая, он поплелся в комнату вслед за доктором, его лицо покрылось потом.

Доктор Моксли опустился на пол. Он осмотрел тело Этель Карпентер, ощупал ее затылок.

— У моей тещи, — начал Стэнли, — был удар четыре года тому назад и...

— Знаю. Прежде чем идти сюда, я заглянул в записи доктора Блейка. Помогите мне перенести ее на диван.

Они вместе перетащили тело на диван, и доктор Моксли закрыл ей глаза.

— У вас найдется, чем прикрыть? Какая-нибудь простыня?

Стэнли не мог больше ждать ни минуты.

— Это был удар, доктор?

— Э-э, да. Инсульт. Ей ведь, кажется, семьдесят четыре?

Стэнли кивнул. Этель Карпентер, как он помнил, было немного меньше, года на три или четыре. Но врачам, вероятно, это не определить? Они не могут с точностью назвать возраст. Наверняка не могут.

Теперь доктор приступил к тому, чего так жаждал Стэнли: доставал из чемоданчика небольшой блокнот и ручку из нагрудного кармана.

— Так как насчет простыни?

— Сейчас принесу, — пробормотал Стэнли.

— А я пока выпишу вам свидетельство о смерти.

Простыни лежали в шкафчике в ванной комнате. Стэнли вынул одну, но не успел спуститься вниз, как подступил новый приступ тошноты, и он согнулся над раковиной.

Первое, что он увидел, вернувшись в гостиную, — свесившаяся с дивана левая рука Этель Карпентер без кольца. Господи, она ведь должна быть замужней женщиной... Доктор сидел спиной к ней и усердно что-то писал. Стэнли развернул простынь, накрыл тело, подоткнул руку под ткань.

— Все, — сказал доктор Моксли более приятным голосом. — Это большое несчастье для вас, мистер Мэннинг. Где ваша жена?

— На работе. — «Отдай мне свидетельство, — молил про себя Стэнли. — Ради всего святого, отдай мне его и уходи».

— Это даже к лучшему. Вы должны сказать себе, что она прожила долгую жизнь и, конечно, это была быстрая и, скорее всего, безболезненная смерть.

— Мы все не вечны, — сказал Стэнли.

— Вам понадобится вот это. — Доктор Моксли вручил ему два запечатанных конверта. — Один для похоронного бюро, а другой возьмете, когда пойдете регистрировать смерть. Вам все понятно?

Стэнли хотелось ответить, что если он не мелет языком, то это еще не означает, что он тупой, однако ограничился простым кивком и положил конверты на каминную полку. Доктор Моксли бросил последний непроницаемый взгляд на укрытое простыней тело и направился из комнаты, раскачивая на ходу стетоскоп. В передней он остановился и сказал:

— И еще одно...

Голос его звучал ужасно громко, как будто он обращался не к одному человеку, а к целой аудитории. У Стэнли пробежал холодок по спине при виде того, каким задумчивым стало вдруг лицо доктора. Он был похож на человека, который вспомнил о чем-то жизненно важном, прежде упущенном из виду. Держа дверь приоткрытой, он сказал:

— Я не спросил, что вы хотите — погребение или кремацию.

И только-то? Стэнли тоже об этом не подумал. Ему очень хотелось попросить доктора говорить потише. Еле слышно, почти шепотом, он произнес:

— Кремацию. Таково было ее желание. Определенно кремацию. — Сжечь Этель, уничтожить ее без следа, и тогда больше не возникнет никаких вопросов. — А почему вы спрашиваете? — поинтересовался он.

— В случае кремации, — ответил доктор Моксли, — требуется освидетельствование двух врачей. Таков закон. Предоставьте это мне. Вы, наверное, обратитесь в бюро Вуда, и я попрошу своего напарника...

— Доктора Блейка? — сорвалось с языка у Стэнли, прежде чем он сумел сдержаться.

— Доктор Блейк больше не практикует, — чуть холодно ответил Моксли. Он пристально взглянул на Стэнли, почти как миссис Блэкмор, а затем покинул дом, громко захлопнув за собой дверь.

«Так и мертвого можно разбудить», — подумал Стэнли. Без четверти четыре. Он еще успеет связаться с похоронным бюро, после того как спрячет тело Этель и решит с Мод... Труп под простыней мог сойти для доктора, который раньше никогда не видел Мод, но для Веры он не сойдет. Вера должна увидеть Мод, и, само собой разумеется, она должна увидеть Мод мертвой.

Он сдернул простыню и скатал ее. Затем взял Этель Карпентер под мышки и до половины стащил тело на пол. Стэнли был маленький, шустрый мужчина, и такая тяжесть оказалась для него почти неподъемной. Пока он стоял, пытаясь отдышаться, его взгляд случайно упал на черную сумку возле кресла. Ее тоже придется спрятать.

Стэнли открыл сумку, и в нос ему ударила сладкая тошнотворная волна. Запах шел от полупустого пакетика фиалковых леденцов. Стэнли смутно помнил, что перед войной, когда он был еще мальчиком, эти конфетки, используемые для освежения рта, продавались во всех кондитерских лавках. Иногда их покупала в деревенском магазинчике его мать, когда они отправлялись на выходной в Бьюрис. Он считал, что их давно не выпускают, точно так же как анисовое драже или помадку «Эдинбургская скала», а теперь их запах неожиданно напомнил ему старый родительский дом, зеленую речушку Стаур, в которой он ловил бычков и гольцов, деревню меж двух невысоких холмов, прежний покой.

Стэнли двумя пальцами вынул фиалковую конфетку и почувствовал сильный сладкий цветочный запах, когда поднес ее к носу. Семнадцать ему было, когда он убежал от всех них — от родителей, братьев, от реки и рыбалки. Отправился на поиски счастья, как он сказал им, до смерти устав от зависимости и обид на своих братьев, один из которых получил хорошую профессию, отбыв полсрока в учениках, а другой учился в колледже. «Я вернусь, — говорил он, — и буду стоять больше, чем вы оба». Он так и не вернулся, а отца видел в последний раз в Олд-Бейли, когда того пригласили на судебное разбирательство над сыном.

Теперь все переменялось. Счастье заставило себя ждать целых двадцать лет, но теперь оно почти у него в руках. Осталось сделать один крошечный шаг... А когда он получит деньги, возможно, на следующей неделе, то отправится в Бьюрис на собственной машине и всех поразит. «Как насчет того, чтобы порыбачить?» — скажет он своему брату, владельцу типографии, и достанет новые блестящие рыболовные снасти. «Убери это», — скажет он другому брату, учителю средней школы, когда тот полезет в карман за горстью мелочи. И придет их черед обижаться, когда мать поведет его по соседям похвастаться самым удачливым сыном...

Стэнли бросил конфетку обратно в пакет, и видение померкло. В сумке его заинтересовала еще только одна вещь — довольно толстая пачка банкнот, скрепленная резинкой. Сбережения Этель, предположил он, деньги на оплату новой квартиры. От них можно не избавляться, как от мертвой хозяйки.

Стэнли подсчитывал банкноты, когда услышал наверху очень тихий звук, скрип ступенек. Замечтавшись, он немного успокоился, но теперь пот вновь побежал по его лицу. Стэнли сделал шаг назад и стоял, дрожа, как маленький зверек, охраняющий свою добычу, навстречу которому медленно приближается более крупный хищник.

Дверь отворилась, и вошла Мод, опираясь на палку.

7

Мод пронзительно закричала.

Она не стала дожидаться объяснений и расспрашивать. То, что она увидела, говорило само за себя. Двадцать лет она ждала, что ее зять вновь прибегнет к насилию, за что и попал в тюрьму. Тогда он ограбил пожилую женщину и сейчас тоже. Стэнли снова напал на старуху ради денег, но на этот раз пошел дальше и убил ее.

Мод подняла палку и шагнула к нему. Выронив банкноты, Стэнли отступил к открытому пианино, руки задели клавиши, прозвучал низкий долгий аккорд. Мод прицелилась ему в лицо, но Стэнли быстро пригнул голову, и весьма ощутимый удар пришелся по шее. Он упал на колени, но почти сразу пошатываясь поднялся и метнул в Мод одну из зеленых вазочек.

Она разбилась о стену за головой Мод, и по комнате рассыпался дождь изумрудных осколков.

— Я убью тебя! — вопила Мод, — Убью собственными руками!

Медленно продвигаясь от пианино к дивану, Стэнли огляделся в поисках другого снаряда, но, прежде чем он сумел схватить вторую вазу, Мод снова ударила его, на этот раз по голове, и, когда он покачнулся, обрушила на него целый град яростных ударов. На секунду комната погрузилась во мрак, и расплывчатые предметы закружились перед ним в этой темноте: красные квадраты, треугольники и падающие звезды.

Мод забьет его насмерть. Ужас и ярость придали ей необыкновенную силу. Всхлипывая, он присел на корточки в углу, подставив плечо под неминуемый удар, и поймал конец палки.

Палка вырывалась, как живая. Стэнли пытался подняться, перебирая по ней руками. Он был сильнее Мод — все-таки мужчина, к тому же на тридцать лет моложе, — он подтянулся, встал на ноги, оказавшись с ней лицом к лицу.

Оба молчали. Говорить было нечего. Все слова давно высказаны за последние четыре года. А теперь остался только сгусток взаимной ненависти, которая прорывалась в рычании задохнувшейся Мод и шипении Стэнли. Они вновь словно оказались одни на земле или попали в другой мир, пустой и безлюдный, где не существовало иных чувств, кроме ненависти, и иных инстинктов, кроме инстинкта самосохранения.

У каждого из них осталось только одно желание — завладеть палкой, на чем они и сосредоточились. Каждый в бешенстве тянул палку к себе. Стэнли сделал вид, что отступает со своей более выгодной позиции, а сам пнул, что было сил, по щиколотке Мод. Она с криком отпустила палку, и та грохнула об пол.

Стэнли подобрал клюку, потом метнул ее в дальний конец комнаты. Он потянулся к горлу старухи и вцепился в него обеими руками. Мод захрипела. Железные пальцы Стэнли все сильнее давили на сонную артерию, тогда она коленом ударила ему в пах. Оба одновременно закричали и отпрянули в стороны, Стэнли всхлипывал от боли.

Он покачнулся назад, готовый снова прыгнуть, но Мод почувствовала себя беспомощной, лишившись опоры, которая служила ей многие годы, и замахала руками. Ничто не помогло ей задержать падения, и, когда она повалилась, голова ее ударилась о выступающий край мраморного камина.

Стэнли подполз к ней на четвереньках и взглянул, с колотившимся, как молот, сердцем, на воплощение всех своих желаний.

* * *

Вера не заплакала и даже ничего не сказала, когда услышала от него новость, но лицо ее очень побледнело. Она кивнула в знак того, что приняла его рассказ о том, как Мод была в гостиной, просто стояла у камина, разглядывала свадебную фотографию, потом вдруг плохо себя почувствовала, дотронулась до лба и упала на пол.

— Рано или поздно это должно было случиться, — завершил он свой рассказ.

— Я поднимусь наверх, к ней, — сказала Вера.

— Если только не будешь расстраиваться.

В конце концов он ждал этого и подготовился. Стэнли последовал за женой на второй этаж. Вера поплакала немного, когда увидела Мод.

— Она выглядит очень спокойной.

— Я тоже так подумал, — с готовностью поддержал ее Стэнли. — Теперь она обрела покой, подумал я.

Они говорили шепотом, словно Мод могла их услышать.

— Жаль, ты не позвонил мне на работу.

— Я не видел необходимости расстраивать тебя. Ты ведь все равно не могла ничем помочь.

— Но мне хотелось бы быть рядом. — Вера наклонилась и поцеловала холодный лоб Мод.

— Пойдем, — сказал Стэнли. — Я приготовлю тебе чашку чая.

Он стремился увести жену из комнаты как можно скорее. Шторы были задернуты, спальня погружена в полумрак, только тусклый просочившийся лучик света поигрывал на лице Мод и лекарственном складе возле кровати. Но стоило Вере хоть на дюйм сдвинуть подушку, и она сразу бы заметила на голове Мод под седыми локонами глубокую рану.

— Наверное, я должна остаться возле нее на всю ночь.

— Это еще зачем? — всполошился Стэнли, позабыв о шепоте. — В жизни не слышал подобной чепухи.

— Раньше так было принято. Бедная мама. Она и вправду любила меня. Хотела как лучше. Доктор сказал, что это был еще один удар?

Стэнли кивнул.

— Пойдем вниз, Ви. От того, что мы будем здесь торчать, лучше не станет.

Стэнли приготовил чай. Вера смотрела на него, бормоча снова и снова, как часто бывает с людьми, только что потерявшими близкого человека, что в это невозможно поверить, хотя на самом деле этого нужно было ожидать, что мы все когда-нибудь умрем, и все же смерть всегда большое потрясение, что она рада такой мирной кончине матери.

— Пойдем в другую комнату, здесь холодно.

— Хорошо, — согласился Стэнли.

Как только Вера увидит стол, она все вспомнит и начнет задавать вопросы, но он был к ним готов. Взяв в руки две чашки, он последовал за ней.

— О Боже, — сказала Вера, открыв дверь в столовую. — Тетушка Этель! Я совершенно забыла о тетушке Этель. — Она посмотрела на часы и тяжело опустилась на стул. — Скоро шесть часов. Она опаздывает, мама ждала ее к пяти. Совсем непохоже на тетушку Этель — опаздывать.

— Думаю, теперь она уже не придет.

— Конечно, придет. Она написала совершенно определенно, что придет. О, Стэн, мне придется на нее обрушить такое... Как ей будет тяжело, ведь она всегда так любила маму.

— Возможно, она не появится.

— Какой толк повторять одно и то же? — сказала Вера. — Она опаздывает, только и всего. Я не смогла проглотить ни крошки, а ты?

Стэнли умирал с голоду. От смешанных запахов лососины и цыпленка у него текли слюнки, подводило живот, но он отрицательно покачал головой, сооротив расстроенное лицо.

Он был голоден, совершенно измотан и знал, что не сможет расслабиться, пока не минует опасность. Вера уже видела мать и ничего не заподозрила; кроме того, ей совершенно незачем заходить в соседнюю комнату, где под кроватью лежит тело Этель Карпентер, скрытое свесившимся покрывалом. Пока что все шло гладко.

— Не могу понять, что случилось с тетушкой? — раздраженно заметила Вера. — Как ты думаешь, может быть, позвонить ее хозяйке в Брикстон?

— Там нет телефона.

— Да, но я могу попробовать дозвониться в кафе на углу и попросить их передать пару слов.

— Я бы не стал волноваться, — сказал Стэнли. — На тебя и так свалилось достаточно забот без Этель Карпентер.

— Что ж, подождем немного, ничего страшного. В котором часу завтра придут из похоронного бюро?

— В половине одиннадцатого.

— Придется сказать Доре, что на работе меня завтра не будет. Хотя непонятно, как они там справятся, ведь вторая помощница в отпуске.

Стэнли чуть не подавился чаем.

— Я за всем здесь пригляжу, Ви. Тебе совсем не обязательно дожидаться гробовщиков.

— Но я хочу... Это ведь моя родная мать, Стэн!

— Если тебе нужно быть на работе, иди на работу. Предоставь все мне.

Дальнейшую дискуссию прервал звонок в дверь. Вера вернулась с миссис Блэкмор, которая, хотя Стэнли ни с кем не поделился новостью, уже была в курсе событий. Наверное, подслушала доктора, когда он выходил. Но как бы то ни было, она успела — заверила она Веру — сообщить «печальные вести» соседкам: и миссис Макдональд, и остальным старым приятельницам. В делах такого рода она была настолько уверена в своей интуиции, что даже не сочла необходимым дожидаться подтверждения своей догадки. Наскоро накинув поверх цветастого халата черное пальто, она объявила, что пришла отдать последнюю дань уважения миссис Кинауэй. Другими словами, она хотела увидеть усопшую.

— Только вчера мы с ней славно болтали через ограду, — сказала она. — Да, жизнь наша так же быстротечна, как у цветов, не правда ли?

С отвращением глядя на любопытную кроличью мордочку миссис Блэкмор со стянутыми в хвостики волосами, Стэнли подумал, что единственный цветок, который она ему напоминает, принадлежит к смертоносному семейству пасленовых. Все же лучше пустить их сейчас поглазеть на Мод, иначе потом кто-нибудь зайвится в похоронное бюро и увидит подмену.

Стэнли отправился наверх следом за женщинами. Бдительный страж у изголовья усопшей, готовый в любую секунду отвести чужую руку, которая может попытаться нежно погладить волосы Мод.

Через пять минут после ухода миссис Блэкмор, громко заявившей о своем желании сделать все, что в ее силах: «Я все сделаю, дорогая, непременно обращайтесь ко мне», — явились оба Макдональда с букетом фиалок для Веры.

— Душистые фиалки для траура, — сентиментально заметила миссис Макдональд. Их запах напомнил Стэнли о сумочке Этель Карпентер. — Мы не пойдем к ней, миссис Мэннинг. Нам хочется запомнить ее живой.

После этого Вера и Стэнли остались одни. Стэнли раздражало, что Вера ждет Этель Карпентер, но тут он ничего не мог поделать. Наконец, не произнеся ни слова, Вера унесла со стола прибор, предназначенный для матери.

— Съешь что-нибудь, — сказала она.

В десять часов вечера, когда Этель Карпентер так и не объявилась, Вера убрала со стола, и они отправились спать. В дверях она бросила последний взгляд на Мод, но входить в комнату не стала. Они потушили свет и лежали рядом, не смыкая глаз и не касаясь друг друга.

Первой заснула Вера. Стэнли дрожал каждым нервом. Что делать, если утром Вера не пойдет на работу? Он должен заставить ее уйти. Возможно, ему удастся уговорить ее съездить зарегистрировать смерть... Тогда у него будет предостаточно времени на все, что предстоит сделать.

Вскоре после полуночи он тоже заснул и сразу же, так, по крайней мере, ему показалось, увидел сон. Он шел вдоль реки домой, из Лондона, пешком, как бродяга, с узелком за плечами. Казалось, идет он уже много лет, но сейчас он почти у цели. Вот-вот он дойдет до места, где река описывает большую излучину, и тогда откроется вид на деревню: сначала появится церковный шпиль, затем деревья и дома. Вот он видит их, вот ускоряет шаги. Он беден, он с узелком за спиной и в стоптанных башмаках, но зато знает, что встретят его со слезами радости и сразу пригласят в дом.

Было раннее утро. Над горизонтом вставало солнце. Стэнли пошел через луг, и брюки намокли от росы до колен. В деревне пока еще спят, но его мать наверняка уже на ногах. Она всегда рано вставала. Толчком он открыл дверь, шагнул через порог и окликнул мать.

Он услышал, как она начала спускаться по лестнице, и подошел к ступенькам, задрал голову. Мать спускалась вниз. Она постарела, ходила с палкой. Сначала он увидел ноги и юбку — ступени за время его долгого отсутствия стали высокими и крутыми — и наконец показалось ее лицо. Он отпрянул, закричал. Это было лицо не его матери. Это было лицо Мод — желтое, как воск, с оскаленными зубами, залитое кровью из раны на голове...

Стэнли проснулся от собственного крика, только крик был похож скорее на придушенный стон. Прошло несколько минут, пока он понял, где находится, и сказал самому себе, что это только сон и что Мод мертва. Больше заснуть он не смог. Стэнли поднялся и прошелся по дому — сначала взглянул на Мод, затем прошел в соседнюю комнату. Нарциссы, которые Мод собрала для Этель, тускло белели при свете луны.

Он спустился вниз, где, как ему казалось, можно зажечь свет, ничего не опасаясь. Дом пропах запахами еды, консервированной рыбой и холодным мясом, которым суждено скоро испортиться, так как их негде хранить. Теперь, когда он пришел в себя и сон испарился, его одолело внезапное беспокойство оттого, что упустил из виду нечто важное. Что-то он забыл, но никак не мог понять, что именно. Стэнли сел за стол и подпер голову руками.

И тогда он вспомнил. Ничего важного, как оказалось: впервые за двадцать лет он провел день без кроссвордов.

Стэнли отыскал «Дейли телеграф» и шариковую ручку. При виде нетронутой головоломки он ощутил радостное возбуждение. Удивительно, как простой взгляд на пустые клеточки, составляющие изумительно симметричный узор, принес ему успокоение и унял дрожь в руках. За всю жизнь он, должно быть, решил не одну тысячу кроссвордов. Шесть в неделю, умножить на пятьдесят два, умножить на двадцать. Это же три тысячи семьсот сорок четыре кроссворда, не считая всех тех, что были в сборниках и ежегодниках.

Стэнли взял ручку. Один по горизонтали: «немецкое слово, которое часто произносят в закусовых, когда делают заказ» (девять букв). Стэнли задумался только на секунду, прежде чем написать «ГАМБУРГЕР». Тело ослабло, словно его погрузили в теплую ванну, и он улыбнулся.

Продолжение следует

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

ДАНИИЛ И ВАДИМ АНДРЕЕВЫ: БРАТЬЯ ЗНАКОМЯТСЯ

Письма Д. Андреева родным

Как женщину, ушедшую с другим...
Что ж из того, что стала ты жесточе
И жестче, лживее, — мы все тебя храним,
Наш русский сон, средь наших одиночеств.

Вадим Андреев

Прошлым летом, разбирая семейный архив, я нашла среди старых фотографий полуразорванный пакет с пожелтевшими письмами. Некоторые из них были в конвертах, другие — нет. Они были посланы из Москвы моему отцу, русскому парижскому поэту Вадиму Леонидовичу Андрееву (1903 — 1976), старшему сыну Леонида Николаевича Андреева, его младшим братом Даниилом Леонидовичем Андреевым (1906 — 1959).

За последние годы творчество поэта-мистика Даниила Андреева, автора «Розы мира», приобрело в России широкую известность. Однако о его молодости мы знаем сравнительно немного: все бумаги Д. Л. Андреева безвозвратно исчезли в результате его ареста в 1947 г. По этой же причине не сохранились и письма Вадима Андреева к Даниилу. Письма же Даниила к Вадиму, написанные в 20-е и 30-е годы, составляют уникальную эпистолярную повесть. Их тема, главная тема всей жизни обоих братьев, — верность России в страшные годы, когда она, Россия, миллионами уничтожала своих детей.

Мой отец, будущий автор «Детства», никогда не покидал Россию: Россия покинула его. После Октябрьской революции граница между Россией и Финляндией, где жил, неподалеку от Петербурга, Леонид Андреев с семьей, была закрыта большевиками. После смерти Л. Н. Андреева мой отец безуспешно пытался вернуться в Россию, где жил его младший брат Даниил. Страстное желание вернуться на родину заставило шестнадцатилетнего поэта добраться из Финляндии до Марсея. Оттуда он поплыл с врангелевскими войсками в Грузию, где воевал за независимость этой страны, так как ни за красных, ни за белых воевать не хотел.

После победы Красной армии мой отец, как и сотни тысяч самых разнообразных беженцев, попал в Константинополь. Оттуда, через Берлин, он переехал в Париж¹.

В те годы в Париже материальные условия русских эмигрантов были очень нелегкими, но русская культура там процветала. В 1927 г. В. Л. Андреев женился на молодой художнице Ольге Викторовне Черновой (1903 — 1978), приемной дочери лидера российской партии социалистов-революционеров В. М. Чернова. Я родилась в 1930 г.; мой брат Александр — в 1937 г.

Все это время мой отец не терял мистической тяги к России. Молодой Даниил Андреев это хорошо понимал и глубоко сочувствовал желанию брата вернуться с семьей на родину. К счастью, до самого 1957 г. нам визы в СССР не давали. С поразительным бесстрашием Даниил неоднократно пытался помочь Вадиму исполнить их общую мечту (по его письмам видно, что он писал свои петиции и самому Сталину). Но воцарившийся в стране террор заставил его прекратить и хлопоты; и переписку с братом. Послед-

¹ Подробное описание всех пережитых Вадимом Андреевым приключений содержится в его книге «История одного путешествия» (Москва, 1974).

нее из публикуемых здесь писем (написанное на клочке бумаги, без конверта) было, очевидно, отправлено с какой-то оказией.

Желание отца вернуться в Россию глубоко отразилось на жизни нашей семьи. Во Франции наш черновско-андреевский литературный клан жил скромно, но очень интенсивно. Среди близких друзей были Марина Цветаева, Борис Зайцев, Алексей Ремизов¹, Николай Бердяев. Были и французские друзья. Была свобода. Мой отец все это ценил, но все же рвался *туда*, к русскому народу, к любимому младшему брату. Он был не менее аполитичным, чем Даниил, но Россия для него была святыней. Это придавало нашему существованию во Франции своеобразную вневременность и внепространственность.

В 1957 году Вадим и Даниил наконец встретились, но это уже иная повесть. Представленные здесь письма говорят о молодости двух братьев-поэтов в эпоху, когда весь ужас коммунизма, так рано и четко понятый их отцом², был ясен далеко не всем.

Ольга Андреева-Карлайл

Быть историографом андреевского семейства чрезвычайно интересно, но непросто: каждый его представитель — уникальная творческая личность, замысловатая комбинация причудливых картинок в калейдоскопе идей, ценностей, способов самовыражения. И как картинки в калейдоскопе, они, друг друга сменяя, друг друга тем самым «отменяют». Говоря о Вадиме и Данииле Андреевых, первым делом обращаешь внимание на то, что оба они изначально «отменили» неприязнь их отца к поэзии. Вадим учился стихосложению у символистов³; Даниил сам вырос в символ религиозного мистицизма (который Л. Андреев презрительно сравнивал с «эластичной замазкой» — «чтобы с улицы не дуло»); и при этом читателю, знакомому, скажем, с «Жизнью человека» Л. Андреева, такое отрицание представляется вовсе не отсечением дорогих им обоим корней, а естественным ростом из них.

Как же сопоставить чередующиеся картинки? В случае с Вадимом и Даниилом смена происходила параллельно и независимо: один предавался поэтическому ремеслу, строя свою новую жизнь в Берлине и Париже, другой — выживая в сталинизирующейся России. Оба внимательно вслушивались в новые голоса русской эмигрантской и советской поэзии — по разные стороны все менее и менее проницаемой границы. У каждого было свое предназначение — и в искусстве и в жизни. Увидеться и поговорить об этом им удалось уже незадолго до смерти Даниила, в 1957 году.

Сегодня, благодаря изысканиям Ольги Андреевой-Карлайл, дочери Вадима Андреева, несчастье андреевской семьи оборачивается редкой удачей для читателя: на наших глазах взрослые братья знакомятся. Мы видим Даниила Андреева таким, каким он описывает себя человеку, к которому испытывает сильнейшую душевную тягу, — старшему брату. Откровенность и скрупулезность этого автопортрета делают данную находку бесценной. Ответные письма, по-видимому, безвозвратно пропали в результате ареста Даниила и конфискации всех его бумаг (среди которых также были и его собственные рукописи и письма Леонида Андреева).

Печальная предыстория этого эпистолярного знакомства началась с самого рождения Даниила Андреева в Берлине 2 ноября 1906 г., которое принесло смерть его матери, Александре Михайловне Андреевой (Велигорской). О своей боли и своем отчаянии Леонид Андреев писал впоследствии Горькому: «Был целый месяц, когда разум мой просто-напросто мутился. Потом тоска, удивительная тоска, когда однажды почувствовал я, что дошел *до предела скорби...*»⁴ В это время новорожденный Даниил был увезен в Москву его бабушкой, Ефросиньей Варфоломеевной Велигорской. Дом Елизаветы Михайловны (сестры А. М. Велигорской) и ее мужа Филиппа Александровича Доброва стал домом Даниила Андреева.

Воспоминания о предреволюционном десятилетии в жизни семьи Андреевых, — первое в жизни Даниила, — можно найти в книгах Вадима Андреева «Детство» и Веры Андреевой «Дом на Черной речке». Встречи Даниила с членами новой семьи Леонида Андреева, поселившейся в Финляндии, — Анной Ильиничной, Саввой, Верой и Валентином — были слышным редкими для возникновения настоящего чувства родства. Поистине родными становятся для Дани его тетя, которую он называет мамой, дядя Филипп, бабушка («Бусинька») и Шура, старшая дочь Добровых. Однако Вадим — вскоре оказавшийся за пределами досягаемости — продолжает жить в душе Даниила как единственный старший брат.

Предваряя письма Даниила к Вадиму и его жене Ольге, стоит сделать следующее замечание. Литературоведы очень любят выделять этапы в творческой жизни художни-

¹ Борис Зайцев был моим первым, «официальным» крестным, но впоследствии эту роль взял на себя Алексей Ремизов.

² См.: Леонид Андреев. S.O.S (М.-СПб., 1994)

³ См.: Вадим Андреев. Стихотворения и поэмы, в 2 тт. Berkeley, 1995.

⁴ Литературное наследство, т. 72. Горький и Леонид Андреев. М., 1965, с. 302.

ков. В некоторых случаях это служит подгонке хода событий и эволюции личности под замысел комментатора и ведет к излишнему их упрощению. Но иной раз этапы представляются очевидными. Нельзя не заметить, что Даниил Андреев 20-х — 30-х годов — это еще не визионер, которого мы знаем по его поздним, сохранившимся произведениям. Это молодой член Союза Поэтов, апеллирующий к Горькому и Сталину (впоследствии представляющему у него как одна из самых кошмарных метаисторических фигур) в попытке вернуть в Россию своего брата, покинувшего ее пределы в разношерстной компании врагов советской власти. Нам только остается благодарить Бога за неудачный исход этой затеи, составляющей, тем не менее, главную внешнюю канву публикуемых здесь писем и задающей их общий эмоциональный настрой.

Здесь Даниил Андреев предстает человеком, еще едва ли подозревающим о своем настоящем призвании, которое откроется ему в скором будущем на фронте, а затем овладеет всем его существом в камере Владимирской тюрьмы. Он издает сборник памяти отца, он изучает Древний Восток и упорно работает над поэмой «Песнь о Монсальвате» и романом «Странники ночи» (в духе любимого им Достоевского), которые нам прочесть, очевидно, никогда не придется. Он общается и с добрыми и с подлыми людьми, и сам признается в сданной кому-то подлости; он пытается устроить никак не устраивающуюся личную жизнь; он благословляет добровольский дом и мечтает о полной свободе от него; он бродит по сказочным брянским лесам, описывая свои скитания с одухотворенным изяществом, — и ждет своего брата.

В этом контексте можно говорить о становящемся нам все более доступным «человеческом измерении» образа автора «Русских богов» и «Розы мира», о его динамике. Конечно, эпистолярная условность сталинской эпохи позволяет только угадывать в отправляемом за границу автопортрете признаки будущего русского Блейка или Сведенборга, — религиозно-мистическая тематика в письмах Даниила Андреева просто отсутствует. Но это уже задача читателя, хотя бы немного знакомого с его творчеством и с гениальными причудами андреевского калейдоскопа, и тревожащего и зачаровывающего нас вот уже почти сто лет.

За помощь в подготовке настоящей публикации ее авторы выражают благодарность Анне Сосинской, Ирине Антонян, Борису Романову, Ричарду Дэвису и Лазарю Флейшману.

Алексей Богданов

Д. Л. Андреев — В. Л. Андрееву

15 мая <1928?>

Братец мой милый, как я наконец успокоился! Я очень волновался, что с тобой что-нибудь случилось — ведь чуть не с ноября месяца не получил от тебя ни строки! Я был почти уверен, что с тобой что-нибудь случилось. Почему ты не писал? Оказывается, у меня был твой неверный адрес, я его каким-то образом перепутал.

Ох, за это время произошло очень много в моей жизни (внутренней). До чего хочется видеть тебя, говорить с тобой! Я уже привык к одиночеству, и оно давит все реже, но *брата* я хочу иметь до + ∞.

Я пережил недавно одну очень неприятную историю, когда был поставлен в глупейшее положение одним подлым человеком, которому я доверился вполне. Но это было мне наказание, ибо такую же подлость совершил и я сам перед тем с третьим человеком, учась лгать. Вышло восхитительно, роль свою сыграл я удачно, и даже очень, потому что результат превзошел все ожидания. Но это подло с моей стороны, и я был наказан за дело. Все это путаная и скверная история, которую я расскажу тебе, когда увижу тебя.

А сейчас я очень много занимаюсь; ибо идут зачеты (проклятые!). А перед тем очень много работал над своим романом. Знаешь, я прихожу к убеждению, что я за всю свою жизнь напишу всего 2 или 3 романа (и вовсе не длинных, — тот, который я пишу 2 1/2 года, будет иметь всего 150 или около страниц, написал сейчас треть). А сижу я целые недели над тетрадами. У меня 16 толстых тетрадей черновики. И думаю, что буду еще и еще переделывать — сотни раз — авось к старости что-нибудь и выйдет.

Писал тут стихи, и за них попал в Союз Поэтов. Сейчас уже больше месяца стихов не пишу — слишком занят прозой и учением.

Печататься не думаю еще лет 5—6.

А у нас в доме все то же — интересно, мирно и хорошо. Хорошие и интересные люди меня окружают. Все это очень приятно. Но бесконечно, тем не менее, хочется перемены, — и перемены самой простой — уйти и жить одному — совершенно одному, чтоб был сам себе господин. Это и будет, надеюсь, достаточно ско-

ро (т.е. «скоро» очень относительно — ну через год). Как твои делишки с переездом сюда? Ты мне ответишь ли на это письмо?

Братец ты мой милый! Как хочется видеть тебя! Так много (есть рассказать!) Целую! Почему не писал ты раньше?

Брат

Д. Л. Андреев — В. Л. Андрееву

25.IX.28

Милый, родной мой брат!

Часто думаю о тебе, и почувствовал наконец, что не подавать больше о себе вести невозможно. Прости. Но ты уже знаешь давно, до какой степени мне трудно писать. Кстати, это — общая черта младшего Андреевского поколения, и ты в этом отношении, тоже, к несчастью, не составляешь исключения!! Поэтому я на это стараюсь не обращать внимания: знаю, что ты обо мне и о всех нас думаешь и помнишь. Хочу, чтобы ты не сомневался и во мне. Ну, одним словом, оказывается, что на эту тему распространяться в письме тоже невозможно. Ах, Дима, Дима, если б ты знал, как ярко я представляю твой приезд, как ты и Оля пьете чай у нас за столом, стараюсь вообразить твой голос, интонации, взгляд — и прямо дух захватывает. Скорей бы, скорей бы это! Что это *будет*, и не в таком уж продолжительном времени — верю твердо.

На днях я приехал из Ленинграда, куда ездил «призываться» на воинскую повинность. Пока что ничего не известно, дадут мне отсрочку на год или нет; придется ехать туда в конце октября вторично. Жил я там у Левы¹ и Люси², в старой папиной квартире на Мойке. С Люсей у меня создались очень близкие отношения; это один из весьма немногих людей, с кем я говорю на одном языке. Долгие ночные разговоры по многу часов кряду. Он очень интересный человек. Говорили и о тебе; он рассказывал о тебе с большой теплотой, видно, что он тебя очень любит. Я сказал, что по приезде в Москву буду тебе писать, и он просил передать большой привет.

Левика дела довольно-таки скверны. С ним происходит то, что теперь со многими: сильно пьет, нравственно и умственно опустился. Жаль ужасно: он по существу очень хороший и добрый. Теперь же, вдобавок, и здоровье его расстроилось, и его поместили на неопределенное время в лечебницу. — Видел помимо того Ларису³, ее мужа, Анну Ивановну⁴, Римму⁵, Галю⁶ и других. Странно, что из такой среды мог выйти человек с такими взглядами, настроениями и чувствами как Люся. Вот человек большой совести!

У нас дома теперь стало несколько лучше (в материальном отношении). Лето мы (Шура⁷, ее муж⁸, В. Е. Беклемишева⁹ и я) провели в Калужской губернии, на Оке, в необыкновенно красивом месте. Это дало мне страшно много. Ведь я уже несколько лет почти не выезжал из Москвы. И попав в эту сказочную красоту — черт его знает, даже не знаю, как определить. Природа — хмелит; разница в том, что в ее опьянении нет ни капли горечи.

Теперь начинается зимний образ жизни: город, работа, тетради, книги. Очень хотелось бы мне к концу октября, когда меня заберут, наверное, на военную службу, закончить мой пресловутый роман; но, кажется, не успею. Семейный недостаток: берусь за темы, с которыми почти невозможно справиться. Кроме того, с каждым годом повышаются требования и к себе самому, и к своему «детичу»; приходится чрезвычайно много передавать, видоизменять, совершенствовать.

Прекрасные отношения создались у меня с мамой, Шурой и ее мужем. Мой дом стал моей совестью, — понимаешь? И даже, кажется, я не могу без него долго существовать. Даже за две недели житья в Питере — начал мучаться.

Слушай, Дима, нет ли теперь какой-нибудь возможности тебе вернуться в Россию? Приложи все усилия; здесь (в Москве или в Ленинграде) не так уж невозможно устроиться. Напиши непременно, как насчет этого, и вообще пиши обо всем, о чем только можешь, побольше, я так хочу знать о тебе! Крепко целую тебя, крепко ужасно, знай, что помню *всегда*, и люблю за кое-что, за что скажу когда увидимся. Привет передай Оле, Ольге Елисеевне¹⁰, Наташе, всем. Мама ужасно целует.

Даня

Еще раз целую, я тебя ужасно люблю. Димочка милый, если б ты только знал как я тебя люблю, и что ты для меня.

¹ Лев Аркадьевич Алексеевский (1902—1951) — старший сын Риммы Николаевны Андреевой (сестры Леонида Андреева) и А. П. Алексеевского.

² Леонид Аркадьевич Алексеевский (1903—1974) — младший сын Р. Н. Андреевой и А. П. Алексеевского.

³ Лариса Павловна Андреева (в браке Морозова) (1904—1951) — дочь Павла Николаевича Андреева (брата Леонида Андреева).

⁴ Анна Ивановна Андреева (урожд. Климентова) (1878—1953) — жена П. Н. Андреева.

⁵ Римма Николаевна Андреева (в 1-м браке Алексеевская, во 2-м Оль, в 3-м Верещагина) (1881—1941) — сестра Леонида Андреева.

⁶ Галина Андреевна Оль (род. 1910) — дочь Р. Н. Андреевой и А. А. Оля.

⁷ Александра Филипповна Доброва (в браке Коваленская, 1892—1956) — старшая дочь Филиппа Александровича и Елизаветы Михайловны Добровых.

⁸ Александр Викторович Ковалевский (1897—1965) — муж А. Ф. Добровой.

⁹ Вера Евгеньевна Беклемишева (1881—1944) — литературный секретарь изд-ва «Шиповник», соредактор (вместе с Даниилом Андреевым) сборника памяти Леонида Андреева «Реквием» (М., «Федерация», 1930).

¹⁰ Ольга Елисеевна Чернова (?—1965) — мать Ольги Викторовны Черновой-Андреевой.

Д. Л. Андреев — В. Л. Андрееву

14 февр. 29

Димочка, дорогой мой, задерживаюсь я с письмом потому, что наведение справок относительно моего ручательства, которое я хочу тебе послать, заняло много времени; до сих пор я не выяснил некоторых пунктов; выясню, по всей вероятности, на днях, и тогда dokonчу сие письмо. Кстати, адрес Бабеля:

Москва, 34,
Чистый (Обухов) пер.
д. 6 кв. 23

Относительно твоего приезда у меня есть большие сомнения. Но мне так хочется тебя видеть, последнее время я так много о тебе думаю и так жду тебя, что мне ужасно трудно тебе советовать отложить возвращение. Дело, однако, в том, что во-первых тут трудно найти работу, особенно такой, можно сказать, «умозрительной» профессии, как ты (я разумею твою Сорбонну). Правда, быть может, тебе удастся устроиться в Академии Художеств, но ведь это тоже бабушка надвое сказала; во всяком случае если поедешь, будь готов к неприятным сюрпризам в этой области. Во-вторых — жилищный вопрос. Купить комнату в Москве далеко не простое дело (гораздо лучше в этом отношении в Ленинграде, но, не забудь, там нет Художеств. <енной> Академии, почти единственного места, где можно было бы тебе пристроиться). В общем, можно в Москве достать комнату с тем, чтобы ежемесячно платить от 25 до 50 рублей — сумма, как видишь, довольно солидная. Когда ты думаешь приехать? Если этой весной или летом, то на первое время тебе поможет гонорар, который я, по всей видимости, получу с кинофильма «Белый Орел», темой которому послужил папин «Губернатор»¹. Но что будет дальше — сам не знаю, моя дальнейшая судьба «темна и таинственна». Работа по-прежнему случайная.

Вот такие предупреждения. Но с другой стороны, я великолепно понимаю, что значит столько времени прожить вне России, понимаю, что дольше так тянуться не может, что ты должен так или иначе вернуться. В конце концов без работы (регулярной) ты можешь сидеть и там и тут, разница же в том, что здесь будут свои, что здесь своя земля, свой воздух, свой народ. Поэтому я далеко не категорически отговариваю тебя от приезда, отнюдь нет. Да кроме того, сюда примешивается и личная моя тоска по тебе. Я очень люблю тебя.

В сентябре будет 10 лет с папиной смерти — я все-таки надеюсь, что ты будешь к этому времени здесь. Сейчас я подготавливаю сборник, посвященный па-

пе². В него войдет «Реквием» (здесь еще мало известный), кусочки дневника, много писем и воспоминания Вересаева³, В. Е. Беклемишевой и Кипена⁴. Сборник составляем мы вдвоем с Верой Евгениевной. Это большой друг нашей семьи.

До последних дней этот сборник отнимал чрезвычайно много времени — целыми днями приходилось бегать, высунув язык, по городу, или печатать на машинке (чего я, кстати сказать, не умею). Теперь почти весь материал уже сдан, на днях будет заключен договор с издательством «Федерация». Интересно, будет ли отмечена где-нибудь за границей эта годовщина? Хотя представляю себе, что говорили бы и писали бы все эти господа, какого «патриота» и реакционера пытались бы отца сделать! Не обрадуешься, пожалуй, этому чествованию.

Дима, Дима, неужели ты будешь здесь, вместе будем в Тарусских полях — думать невыносимо!!

5 марта

Юрист, наведя справки, сказал мне следующее: мое ручательство, как ручательство не члена партии и даже не члена профсоюза (что особенно грустно) — не может играть никакой роли. Я проверил эти сведения, и, кажется, они справедливы.

Если тебе все-таки понадобится это ручательство — напиши, и я пришлю.

Прости, милый, что я так задержал это письмо.

У нас наконец, кажется, начинается весна. Как перенесли вы эти морозы? Наверное, ведь у вас не было даже шуб. Не кончилось ли все это болезнями?

Ну — пока что крепко целую тебя, передай большой привет от нас всей вашей семье. Мама тебя особенно крепко обнимает и целует. *Ждем писем, стихов, и, если можно — карточки вас обоих.*

Даня

¹ Рассказ Леонида Андреева «Губернатор» был экранизирован в 1928 г. режиссером Я. Протазановым. Главную роль в фильме исполнил В. И. Качалов.

² Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. Под редакцией Д. Л. Андреева и В. Е. Беклемишевой. М., «Федерация», 1930.

³ Викентий Викентьевич Вересаев (Смидович) (1867—1945) — писатель и друг Леонида Андреева по литературному кружку «Среда».

⁴ Александр Абрамович Кипен (1870—1938) — писатель.

Д. Л. Андреев — О. В. Андреевой <весна 1929?>

Милая Оля,

давно собирался Вам написать, но совсем не знал, как начать и вообще о чем говорить. Ваше письмо выводит меня из этого затруднения. Оно меня очень обрадовало, и я за него Вам очень, очень благодарен. Разумеется, когда люди ни разу в жизни друг друга не видели, трудно найти в письмах и темы, и нужный тон, но я Вас люблю заочно, через Вадима и за него. И радуюсь ужасно, что так вы хорошо живете (внутренне), что ваша жизнь так крепко спаялась. Диме страшно нужна теплота и любовь; и даже я, издаюла, — чувствую, что Вы их ему даете.

Моя жизнь ровная — как ниточка на катушке — день за днем, внешних событий нет. Но последнее время это уже не гнетет и не томит, как бывало раньше, и, думаю, в этом виновата не привычка, а что-то другое. Вижу, что полосы «кабинетной» жизни бывают время от времени нужны чрезвычайно.

Осенью довольно основательно засел за Древний Восток — это мне очень нужно — но скоро выбили меня из колеи хлопоты относительно папиного сборника (Диме я рассказал уже), — и только теперь я мало-помалу вхожу снова в этот изумительный мир — Халдеи. Страшно интересно, не могу Вам выразить как!

Вышло у нас несколько интересных книг. Но в общем, за текущей литературой слежу мало, не хватает времени. Жду лета — солнечных полевых дорог, и все не верится: неужели мы все вместе будем скоро бродить по лугам и лесам Тарусы?

Пишите чаще, Оля, поддержите переписку!! Подробнее опишите Вашу жизнь, семью, работу, чтение и т.д.

Крепко жму руку.

Привет Вашим!

Даня

P. S. Простите за помарки!!

Д. Л. Андреев — В. Л. Андрееву

21.V. 1936

Если бы ты знал, каким праздником было для нас получение вашего письма и карточек! Вот уже несколько дней озарены этой радостью. Тройная радость: и от самого факта вашего существования, и от ощущения, что вы такие родные, близкие и хорошие, и от приближения встречи. Эта последняя возможность представляется каким-то головокружительным сном.

Сперва о карточках. Олюша совершенно изумительна, особенно там, где она задумчива, — она меня прямо поразила, по-видимому, это растет человек с глубокой и высокой душой, а иные характерные частности (напр., темы некоторых из ее рисунков, на фоне которых она сидит на другой карточке) говорят о таком удивительном смешении очаровательного мира детской фантазии с почти взрослой серьезностью и углубленностью, что образ этой крошки я не мог не принять раз и навсегда в свое сердце. До чего же, до чего же мне хочется ее обнять, с нею разговаривать, с ней играть!! И какая особенная радость есть в мысли, что она мне родная *по крови*.

Твоя карточка, родной мой, свидетельствует о том, что у нас действительно много общего, и не в одной только внешности. Но на тебя жизнь наложила печать таких страданий, каких я, живущий и живший всегда в своей родной стране и в своей любящей семье, не знал и не мог знать. Не подумай, что моя жизнь была безбедной и беспечальной, — но тяжелое в ней было другого рода, чем в твоей, особенно до твоей встречи с Олей. Внешне я выгляжу не моложе тебя. Думаю, что при очень большом внутреннем сродстве, мы отличны друг от друга во многих более периферических чертах: в чертах характера, в темпераменте, в некоторых вкусах и склонностях и т.п. (Между прочим, кроме всего остального, ты ужасно интересуешь меня как человек, пожалуй даже я бы сказал — как личность, индивидуальность). Ты спрашиваешь меня: курю ли я? Да, и даже очень усиленно. Занимаюсь ли спортом? К сожалению, должен ответить отрицательно. Спортивная жилка во мне совершенно отсутствует, и это мне очень досадно еще и потому, что здоровье у меня совсем скверное и спорт мог бы кое-чему помочь (особенно, если бы я занимался с мальчишеских лет). Скверное здоровье заключается в постоянной слабости, головных и пр. <очих> болях, пониженной работоспособности и т.п. Много я порчу себе и своим образом жизни: двойной нагрузкой (графической и литературной), ночными занятиями, беспорядочным сном. Будущей зимой, вероятно, придется взять себя в руки и заняться лыжами. Разное у нас отношение и к воде: я знаю, что ты ее любишь — знаю давно, с тех пор, как вы жили на берегу океана (или Бискайского залива?) Я очень люблю воду, как элемент пейзажа, — нет, даже не пейзажа — в этом слове есть что-то специфически-художническое — а как элемент, ощущаемый *через зрение*. Ведь есть и другое ощущение природы: восприятие ее всеми фибрами, всем существом, слухом, осязанием, обонянием, даже волосами и подошвами ног. И в этом аспекте я больше люблю мир земли и растительности, чем воду. Между прочим, я унаследовал от папы страсть к хождению босиком — удовольствие, наверное невозможное в Зап.<адной> Европе, но доступное у нас (за городом), где совершенно другие обычаи и где нет этого чудовищного нагромождения условностей.

Когда-то, в ранней юности, я любил город, но теперь давно уже утерять вкус к нему и ужасно мучаюсь без природы, прикосновение к которой возможно для меня сейчас только урывками. Насколько я не понимаю прелести зимы, терпеть не могу холода и из зимней красоты могу воспринимать только иней, настолько же люблю — до самозабвения — зной, бродяжничанье по лесам, лесные реки и вечера, ночи у костров, холмистые горизонты, даль — русскую «среднюю полосу» и Крымские горы, — без этого совсем не могу жить.

Хочу еще дать тебе некоторые вехи — некоторые указания на мои частные вкусы и склонности, симпатии и антипатии — это отчасти поможет тебе представить мой внутренний мир.

Я люблю:

Восток больше Запада. (Одной из моих больших жизненных ошибок была та, что я не поступил вовремя в Институт Востоковедения, — мне хотелось бы быть индологом. А теперь уже поздно, нет ни достаточного запаса сил, ни матер. <иальных> возможностей).

В истории Запада мне ближе всего XII—XIII века.

Музыка: Бах, Вагнер, Мусоргский. В особенности Вагнер.

Боттичелли, Фра-Анжелико, но на первом месте среди них — Джотто.

Врубель.

Дон-Кихот. Пер-Гюнт.

Тютчев¹.

Внятен «сумрачный германский гений», но к острому галльскому смыслу я более чем равнодушен. Исключая Флобера, Мопассана, Верлена и некоторых драм Гюго, фр. <анцузская> лит-ра чужда мне. Крайне неприятен Франс (кроме 2—3 вещей). Очарования А. Ренье не понимаю и скучал, читая его, так же, как (увы!) над Стендалем. Очень враждебен Теофиль Готье и все представляемое им направление искусства вообще. Впрочем, фр. <анцузскую> лит-ру недостаточно знаю, но и как-то не ощущаю сейчас потребности пополнять свои знания в этой области.

«Пиквикский клуб» перечитываю почти ежегодно.

Лермонтов и Достоевский возвышаются надо всем.

Из древних культур, к которым вообще чувствую большую склонность, особенно люблю, не перестаю удивляться — благоговейно удивляться — Египту.

После лит-ры на 2-м месте по силе впечатляемости стоит для меня архитектура (а затем уже музыка и живопись). Наиболее близкие стили: Египет (очень люблю эпоху XIII дин.), готика, арабская архитектура, и южно-индийская XVII—XVIII вв.

В области «точных наук» отличаюсь сказочной бездарностью. Кажется, кроме таблицы умножения, не смог усвоить ничего. Одно время увлекался астрономией, но более серьезно знакомству с ней помешало именно это отсутствие математических способностей и отвращение к математике. Оно же отпугнуло меня в свое время от дороги архитектора.

Не обладаю, к сожалению, также и способностью к ремеслам. Совершенно лишен дара рассказывания. Речь, вообще, затрудненная, — м. <ожет> б. <ить>, следствие, отчасти, образного мышления.

Некоторые из отрицательных черт характера: лень, эгоцентризм, вспыльчивость, любовь к комфорту.

Люблю долгие зимние ночи в тихой комнате над книгами и бумагой.

Но наряду с этим не прочь иной раз повеселиться самым бесшабашным образом (впрочем, теперь — реже); очень коротко знаком мне дух непокоя и странствий.

Солнце люблю больше, чем луну, но вечер больше, чем утро.

Этим летом, вероятно, не удастся поехать никуда, разве только на недельку-другую на дачу недалеко от Каширы (это в 100 км от Москвы), где будут жить Шура с мужем (мы ведь с ними — глубокие друзья).

Весною целый месяц болела мама, у нее была злокачественная флегмона в соединении с жестокими приступами малярии. Теперь она уже оправилась. Саша² с женой скоро уезжают на летний отдых. Дядя здоров и сравнительно бодр. Отпуск у него будет в августе, и он с мамой поедет, вероятно, или к Шуре, или на Украину.

К Ек. <атерине> Пав. <ловне>³ и Бабелю⁴ я еще не ходил сознательно, т. <ак> к. <ак> еще не вернулся из Крыма А.М.⁵, где он провел всю зиму и весну. Но в первых числах июня я разовью бешеную энергию.

Письмо получилось довольно-таки бессвязное и чепелое, — это оттого, что сейчас очень много работаю и тороплюсь успеть написать сегодня, т. <ак> к. <ак> в продолжении ближайших дней не будет досуга. Спокойно спи, мой дорогой, милый, родной Димуша. А потом на досуге напиши — поставь такие же вехи для меня — хочется, не терпится хоть немного узнать твой внутренний строй (хоть и кажется зачастую, что я его уже угадываю).

Шура просит передать привет от всего сердца и выражает уверенность, что ее знакомство с вами будет таким же, как у нее с «Диминим братом» (так она выразилась).

Оле Большой и Оле Маленькой пишу отдельно.

Любящий тебя брат Даниил

[Приписка] Ты видал меня во сне с папкою с рисунками: увы, увы и еще раз увы: я не умею рисовать совсем.

¹ Тютчев был также любимейшим поэтом Вадима Андреева.

² Александр Филиппович Добров (1869—1941) — сын Филиппа Александровича и Елизаветы Михайловны Добровых.

³ Екатерина Павловна Пешкова (урожд. Волжина) (1878—1965) — жена Максима Горького (А. М. Пешкова).

⁴ Исаак Эммануилович Бабель (1894—1941) — писатель; близкий друг семьи В. Л. Андреева.

⁵ Алексей Максимович Горький (Пешков) (1868—1936) — писатель; инициатор создания Союза советских писателей. Крестный отец Даниила Андреева. С Леонидом Андреевым Горького связывала тесная многолетняя дружба, переродившаяся в результате расхождения их политических взглядов во вражду.

Д. Л. Андреев — В. Л. Андрееву

21.VI.1936

Дорогой мой брат,

прежде всего — не падай духом. Тот факт, что твое прошение было отклонено, еще не решает дела окончательно. Гораздо печальнее другое: смерть Горького. Благодаря тому, что он всю зиму и весну провел в Крыму, а по приезде точас же заболел и уже не вставал, он не успел должным образом оформить твое дело. Е.П.¹, у которой я был в самых первых числах июня — тогда трагический исход его болезни никто не предвидел — считала, что Алексею Максимовичу осталось сделать небольшое усилие, чтобы сбылись твои желания. (Сама она мало что может сделать). Мне теперь рисуется иная возможность. Недели через 2—3 (сейчас, непосредственно после смерти А.М. это неуместно) я напишу Иосифу Виссарионовичу, и думаю, он сочтет возможным помочь нам. Одним словом, я отнюдь не оставляю надежду видеть тебя здесь в конце лета или осенью.

В скором времени я собираюсь уехать на месяц в Трубчевск на р. Десне, где уже проводил летние месяцы в 931 и 32 г. Буду там только отдыхать. Это чудесный, очень тихий городок на краю огромных, дремучих Брянских лесов, изобилующих озерами и лесными реками. Отъезда жду с большим нетерпением, т.<ак> к.<ак> очень устал и чувствую себя нехорошо и в физическом, и в нервном отношении.

Шура и ее муж живут на даче на Оке около Каширы; неделю там провела и мама. Тетя Катя² уезжает в Горький (Нижний Новгород), Саша³ с женой тоже собираются в отпуск. Дома стало тихо.

Погода у нас все время стоит удивительная: солнце, жара, изредка грозы, теплые ночи. Пасмурных дней не бывает вовсе. В московской области май и июнь редко бывают такими.

Большое спасибо за фото, — они доставили мне большую радость. Недавно я тоже снимался, чтобы послать вам свою карточку, но вышел отвратительно, похожим на провинциального актера в роли Гамлета (ужасная ретушь). И послать не решаюсь. Придется сняться где-нибудь в другом месте.

Поцелуй от меня и от мамы Олю и Олюшку маленькую и обними, расцелуй, поблагодари за письмецо и скажи ей, если сочтешь это возможным, что я ее очень люблю и прямо не дождусь, когда увижу ее воочию.

Будь здоров и бодр, мой дорогой, не унывай, т.<ак> к.<ак> для этого еще нет оснований. И поскорей садись за большое письмо, которое я жду с колоссальным нетерпением.

Даниил

¹ Екатерина Павловна Пешкова.

² Екатерина Михайловна Велигорская — сестра А. М. Велигорской (матери Д. Л. Андреева).

³ А. Ф. Добров.

Д. Л. Андреев — В. Л. Андрееву

23.VII. 1936

Димуша, родной мой,

если бы ты знал, как бесконечно важны и радостны для меня твои письма, особенно такие чудесные, как последнее! Впрочем — буду отвечать по порядку. Прежде всего — о деле.

Хотя визит к Бабелю представляется мне довольно бесцельным (слишком уж ограничены возможности самого Бабеля), все-таки я пойду, — как говорится — для очистки совести. Этот, как и другие, шаги (представляющиеся мне более обнадеживающими) я предприму, как только вернусь в Москву из благословенного города Трубчевска, где я в настоящее время отдыхаю от трудов праведных.

Ты не подозреваешь, вероятно, как часто, почти беспрестанно я думаю о тебе; как ты воображаемо сопутствуешь мне в моих прогулках; и до какой боли, с мучением, жду я того часа, когда это из мира фантазии превратится в действительность.

Можешь позавидовать: вот уже две недели, как отвратительное изобретение, называемое обувью, не прикасалось к моим ногам, шапка — к голове; прикосновение этих гнусных предметов заменено лаской теплого, нежного воздуха и материнской земли. Стоит удивительный, чарующий, мягко-обволакивающий зной, грозы редки, пасмурных дней нет совсем во все это лето, — это лето прекрасно, как совершенное произведение.

С круч, на которых расположен городок, открывается необъятная даль: долина Десны, вся в зеленых заливных лугах, испещренных бледно-желтыми точками свежих стогов, а дальше — Брянские леса: таинственные, синие, и неодолимо влекущие. В этих местах есть особый дух, которого я не встречал нигде; выразить его очень трудно; пожалуй, так: таинственное, манящее раздолье. Когда уходишь гулять — нельзя остановиться, даль засасывает, как омут, и прогулки разрастаются до 20, 30, 35 километров. Два раза ночевал на берегах лесной реки Нерусы. Это небольшая река, которую в некоторых местах можно перейти вброд (но, в общем, довольно глубокая). Но даже великолепную Волгу не променяю я на эту, никому неизвестную речку. Она течет среди девственного леса, где целыми днями не встречаешь людей, где исполинские дубы, колоссальные ясени и клены обмывают свои корни в быстро бегущей воде, такой прозрачной, такой чистой, что весь мир подводных растений и рыб становится доступным и ясным. Лишь раз в году, на несколько дней, места эти наводняются людьми; это — дни сенокоса, проходящего узкой полосой по прибрежным лужайкам. Сено скошено, сложено в стога (очень удобные, кстати, для ночевки) — и опять никого — на десятки верст, только стрелки пляшут над никнувшими к воде лозами. Ведь «Где гнутся над омутом лозы»¹ написано здесь, на одном из ближайших притоков Десны, реке Рог.

Среди моих московских друзей нет никого, кто имел бы эту любовь к природе и бродяжничеству. Исключение — Шурочкин муж, но он — инвалид. Поэтому я почти всегда брожу один. И до чего же, до чего же не хватает тебя! Я теперь постоянно мечтаю о следующем лете, когда буду водить тебя по этим, священным для меня, местам.

Одно только обстоятельство смущает меня: Трубчевск не подойдет для Олюши, т. <ак> к. <ак> для того, чтобы увидеть настоящую, нетронутую природу, надо уходить очень далеко, а вокруг самого городка расположены неинтересные поля и однообразные луга, лишенные тени. Ну, да там посмотрим.

Через несколько дней, когда начнутся лунные ночи, я уйду на целую неделю в леса по течению Нерусы и Навли. М. <жду> прочим, в хорошем атласе ты мог бы найти эти места: это южнее Брянска, между Брянском и Новгородом-Северским.

Не знаю, может быть, с моей стороны нехорошо, что я так описываю тебе все это, — тебя еще сильнее потянет сюда, — но душа слишком полна и я не могу не поделиться с тобою.

Из твоего последнего письма мне стало ясно: там, где мы с тобой не сходимся, мы дополняем друг друга. Ты очень деятелен, я — как говорится, натура «созерцательная»; ты любишь работать руками, я — ненавижу даже греблю; ты вообще представляешься мне в разных формах физического движения; я — больше всего люблю лежать и предаваться пленительному ничегонеделанию; и при всем том, даже в этих контрастах мы являемся как бы двумя сторонами одного существа. А до чего много совпадений, даже в подробностях. Любовь к остротам, и притом, увы, таким, от которых веселишься только сам, свойственна мне столько же, сколь и тебе; сколько комических сцен разыгрывалось на этой почве между мной и дядей

Филиппом! Надо сказать, что он — необыкновенно благодарный объект для всякого рода мистификаций: он простодушен и доверчив, как ребенок.

У нас с тобой пристрастие даже к одним и тем же знакам препинания: к тире и к тире с запятой.

В следующем письме я продолжу начатую нами линию: о вкусах, склонностях, чертах характера. Продолжай и ты: не знаю, как для тебя, но для меня это очень важно и удивительно радостно: я полнее, полнокровнее ощущаю тебя.

Пиши мне на московский адрес, т. <ак> к. <ак> в середине августа я буду снова в Москве.

Будь здоров и бодр, мой милый и незаменимый. Целую тебя.

Даня

P.S. Не знаю, как и благодарить тебя за фото. Не могу ответить тебе тем же, т. <ак> к. <ак> у нас нет фотоаппарата. Придется послать все-таки ту гаденькую, маленькую и к тому же гамлетовскую карточку, о кот. <орой> я уже упоминал.

¹ Первая строка стихотворения А. К. Толстого.

Д. Л. Андреев — Ольге Викторовне Андреевой

23.VII.36

Дорогая Оля,

совпадения почти переходят границу вероятного: центральный образ Олюшкиного рисунка является центральным образом моей работы за последний год. Вообще, с каждым письмом, с каждым сообщением о ней, получаемым от Вас или от Димы, она мне становится все ближе и любимее.

С большим нетерпением жду от Вас обещанного большого письма. Последние Димины письма очень обогатили мое представление о нем, обострили мое ощущение его [зачеркнуто: «личности»] сердца, — хочется, чтобы нечто подобное возникло и у нас с Вами.

Если когда-нибудь будете еще присылать фото, пришлите, пожалуйста, такую свою фотокарточку, где ясно видно Ваше лицо, Ваш взгляд.

Ваш Даниил

P.S. Рыцари Круглого Стола и связанное с некоторыми из них — тот мир образов, в котором (в значит. <ельной> степени) я живу последние года 2.

Д. Л. Андреев — Ольге Вадимовне Андреевой

23.VII.36

Дорогая моя Олюша!

Большое спасибо тебе, моя родная, за твой рисуночек. Особенно мне понравился в нем рыцарь в зеленой одежде, — вероятно, это Парцеваль? Кого из рыцарей Круглого Стола ты любишь больше всего? Я тоже очень люблю эту книгу, мои любимые герои — Парцеваль и Ланселот.

Маленький городок, в котором я сейчас живу, наверное, совсем не похож на ваш. Он стоит высоко над рекой, почти все домики в нем деревянные, окруженные яблоневыми садами. А на пожарной каланче каждый час бьют в колокол. Большинство улиц поросли зеленой травой и ромашками.

Присылай свои рисуночки: они меня очень радуют.

Любящий тебя
дядя Даня

Д. Л. Андреев — В. Л. Андрееву

18.III.1937

Дорогой мой, родной мой Димуша,

мною сделано все, от меня зависевшее. Не так давно было отослано письмо

И. В. Сталину, и я думаю, что на протяжении апреля, может быть, мая, дело вырешилось окончательно. Если ты получишь какое-либо сообщение из консульства, пожалуйста тотчас же напиши мне, чтобы я мог немного подготовить ваше, так сказать, *pieds à tègге** (во франц. <узской> орфографии я не силен). Должен сознаться: неужели действительно приходит к концу двадцатилетняя разлука. Это так странно, так невероятно, что боюсь мечтать, и все-таки мечтаю беспредельно.

Мы живем по-прежнему. Только дядя что-то стал сдавать (с прошлого года). Грудная жаба часто не дает ему возможности двигаться, и иногда ему приходится лежать по целым неделям. Лежит он и сейчас, тихо читая у себя за занавесками.

Мама тоже, конечно, чувствует себя не блестяще, ведь надо учитьвать, что им обоим уже под 70 лет. Бодрее и крепче держится тетя Катя. Алекс. <андр> Викт. <орович> страшно много работает, я его почти не вижу.

У меня в работе бывают перебои — исключительно по вине моей феноменальной практической бездарности. Исключая этой стороны жизни да еще того, не менее плачевного факта, что личная жизнь моя не устроилась и, вероятно, никогда не устроится, — в остальном этот год был для меня плодотворным и, если так можно выразиться, внутренне-щедрым. Читаю, впрочем, немного. Знаешь ли ты роман Бруно Франка «Сервантес»? Книга замечательная, настоящая большая литература. Она здесь имеет громадный успех.

Вчера был на Пушкинской выставке. Впечатление грандиозное. 17 зал, полных рукописями, документами, редчайшими портретами, великолепными иллюстрациями к Пушкину и т.п. Нечего и думать осмотреть все это за 1 раз. Выставка будет функционировать до 1 января, т. <ак> ч. <то> ты ее, надеюсь, еще застанешь и мы сходим на нее вместе.

Пожалуйста, пиши, мой родной. Много ли работы, устаешь ли, есть ли досуг, пишешь ли, что делает Оля, как ее и твое здоровье, и как моя любимая Олюшка? Наташину просьбу я исполнил. Жду писем!

Спокойной ночи.

Даня

* Здесь: устойчивое положение (фр.).

Д. Л. Андреев — В. Л. Андрееву

17.VI.37

Дорогой Димуша, милый братец, радуюсь твоей радостью! ¹ Если бы ты мог знать, с каким нетерпением и беспокойством я ждал от тебя известий! Несколько раз порывался написать не дожидаясь их, — чтобы поздравление пришло как раз вовремя — и каждый раз бросал перо: а вдруг что-нибудь случится, а вдруг все выйдет не благополучно. И как нарочно, твое письмо с карточками малыша пришло как раз в те немногие дни, которые я проводил на даче, и я его получил поэтому с запозданием. От всего сердца поздравляю Олю. И, между прочим, думаю, что если б я был с тобой во время твоего бессильного и отчаянного метания в ожидании роковой минуты — тебе было бы чуть-чуть легче.

По правде сказать, я рад, что это мальчишка. Девочка и мальчик — ведь это вся возможная полнота семьи. Твой Сашок смешон и трогателен до невозможности. Конечно, еще трудно (по крайней мере трудно мне — за неимением опыта) говорить о его потенциальных данных, о его будущей «личности», но, по-моему, одно можно уже определить наверняка, — это — его темпераментность, которой отмечены некоторые черты его личика: нос, рот. Прошу тебя, не ленись в подробностях информировать меня и маму о всем дальнейшем: о его здоровье, поведении, характере (поскольку он начинает проглядывать), и о здоровье Оли. У Оли очень хорошее лицо на той карточке, кот. <орую> ты прислал. И напиши, как воспринимает рождение брата Олюшка маленькая.

Рядом с этим событием тебе должны показаться мелочью события моей бессемейной, «холостой» жизни. Но должен сказать, что последние месяцы были для меня исключительно тяжелыми, одними из самых тяжелых в моей жизни. К сожалению, я не могу описать тебе всей мучительно-нелепой, дикой, карикатурной канители, которую я выносил целый год и кот. <орая> в последние месяцы дошла до Геркулесовых столбов мучительности и нелепости. Это, конечно, касается исключительно области так называемой личной жизни. Описание этой истории заняло

бы целый том, а несколько фраз не дадут тебе должного представления о происшедшем. Слава Богу, теперь, как будто, самое трудное позади: я был доведен до состояния белого каления и все разорвал разом. Но все-таки это еще не конец: тут возможны самые дикие и неожиданные сюрпризы. Вся эта история не только ужасно измучила, но и состарила меня. Теперь, впрочем, началась уже (параллельно) другая линия, которая приносит радость.

Вторую половину лета надеюсь провести частью в Судакe (Крым), частью, быть может, в маленьком городке на Оке. Но это еще не наверняка.

Дома тоже мало радостного. Дядя проболел 3 месяца (старческое ослабление сердечной деятельности); пришлось подать заявление о пенсии. Так как хлопочет он о пенсии персональной, т. <о> е. <сть> повышенной (такая пенсия дается за особые трудовые заслуги), то должно пройти некоторое время прежде, чем это дело оформится. Сейчас он в отпуске, но отпуск истекает 20 июня; придется опять ходить на работу, а здоровье его почти в том же состоянии, как и 3 месяца назад, в начале заболевания. Впрочем, ему дадут, вероятно, добавочный отпуск. Сам он очень мрачно переносит падение своей трудоспособности, мучит сам себя измышлениями о своей бесполезности, дряхлости, ненужности и т.п. Мама тоже постоянно хворает. Вдобавок отношения между некоторыми членами нашей семьи оставляют желать лучшего. Одним словом, наш старый дом проходит через довольно тяжелую полосу.

Наверное, тебя удивляет, что я так скуп на фотографии. Объясняется это тем, что у меня нет аппарата. Дядя за все 20—25 (а то и более) лет снимался 1 раз; карточка эта имеется в единственном приличном экземпляре. То же и мама. У меня есть несколько снимков, сделанных в Трубчевске, где я фигурирую на фоне лирических пейзажей; но они очень скверные и имеются опять-таки в одном экземпляре. Посылаю тебе одну такую карточку. Прямо-таки страшно посылать ее такому завзятому фотографу, артисту своего дела, но что же прикажешь делать?!?! В скором времени я собираюсь сняться как следует.

Ну вот, родной мой, так-то обстоят дела. Пиши скорее. Не забывай, что я всегда о тебе думаю и всегда жду твоих писем с острым нетерпением. Все касающееся тебя и твоих близких, даже самые крошечные мелочи, мне важны и интересны.

Расцелуй Олю, Олечку и Александра Вадимовича.

Счастливый дядя

¹ 28 мая 1937 г. у Вадима Леонидовича и Ольги Викторовны Андреевых родился сын Александр. А. В. Андреев на протяжении многих лет возглавлял переводческий отдел ЮНЕСКО. В 1968 г. он тайно вывез из СССР рукопись романа Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» для публикации на Западе.

Д. Л. Андреев — В. Л. Андрееву

<1938?>

Дорогой Димуша,

все мы живы и более или менее здоровы. Часто, очень часто думаю о тебе и всех вас, хоть и далеких, но бесконечно милых моему сердцу. Как ни грустно, что все сложилось таким образом, но этому надо радоваться. Больше всего мне хотелось бы, чтобы ты нашел смысл и радость в той жизни, которая выпала на твою долю. Нежно целую ребяток и Олю.

Хотя живем мы там же, где и раньше, но ответа не надо.

Любящий тебя Д.

*Публикация, вступительные заметки и примечания
Ольги Андреевой-Карлайл и Алексея Богданова*

ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ

МОРАЛЬ И ПРАВО: ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ...

...Еще ты дремлешь, друг прелестный?
Пора!..

А. С. Пушкин

1

Мораль возникает на целую эпоху раньше права. В течение этой эпохи она — основной регулятор межчеловеческих и межгрупповых связей. Ее авторитет и стабильность ее освященных временем норм делают совокупность индивидуумов единым, более или менее слаженно функционирующим организмом; не будь этих норм, связи людей обернулись бы постоянными, ничем не сдерживаемыми попытками взаимоподавления.

Мораль вызревает стихийно, в мучительной череде проб и ошибок, и пронизывает всю бесконечно сложную ткань общественных отношений насквозь.

Право же — продукт сознательной конструкторской деятельности. Оно способно регулировать только те области человеческой жизни, до которых дотянулась мысль конструктора; только те, на которые конструктор по той или иной причине решил наложить лапу.

Личные представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, чести и бесчестье — главный фундамент морали, неперемненное условие ее существования; без них любой свод этических требований остается пустым набором ничего не значащих фраз. Представления же эти складываются на основе личного опыта, то есть внутри своей ячейки мира. Но когда общество становится настолько большим и сложным, что возникает необходимость во взаимодействии многих таких ячеек, начинается стихийный поиск компромиссов между различными моделями поведения.

В процессе такого поиска, с одной стороны, взаимообогащаются модели морального поведения. С другой — нащупывается граница, за которой поведение, вполне моральное с точки зрения того, кто его совершает, никоим образом не может рассматриваться моральным теми, по отношению к кому оно совершается. Подобные ситуации возникают, если поведение это явно чуждо, немисливо, как бы даже протivoестественно — словом, все делается совсем не так, как мы бы делали! Поэтому тот, кто считает его морально допустимым, рискует оказаться чужаком по отношению ко всем своим. Руководствуясь, вполне возможно, самыми гуманными соображениями, он собственными руками буквально ставит себе на лоб клеймо: «Я не ваш! Я не за вас!» А если это происходит в ситуации явного противостояния? Это же все равно что внаглую ляпнуть: «Я — против вас!» Наиболее наглядный пример такого рода (хотя, увы, уже и не первой свежести, ибо скоро статьи пишутся, да не скоро издаются) — это, скажем, когда один из наших политиков сочувственно назвал Басаева благородным разбойником, Робин Гудом наших дней.

Вячеслав Михайлович Рыбаков (род. в 1954 г.) — прозаик и востоковед. Автор книг: «Очаг на башне» (1989), «Свое оружие» (1990), «Гравелет „Цесаревич“» (1995), «Дерни за веревочку» (1996). Живет в С.-Петербурге.

Значит, внутри любого общества существуют группы со своими представлениями о морально допустимом и морально недопустимом поведении. Это неизбежно. Не бывает абсолютно однородных в этом смысле коллективов. Даже мужу с женой приходится искать компромиссы. Скажем, жена считает, что муж — лентяй, зарабатывать мог бы и побольше, а вместо этого только и знает, что перед телевизором сидеть; муж считает, что вкалывает до седьмого пота, а благодарности ни на грош, и даже отдохнуть вечером не дают... И при этом, скажем, разводиться они никак не хотят. Какой выход? Да только улыбнуться друг другу и произнести хором: «Ничего, как-нибудь выдюжим».

А в большом, этнически и социально неоднородном обществе? Все группы неизбежно начинают ставить перед собою какие-то свои цели. Пока между группами существует баланс, их действия лишь способствуют тому, чтобы весь социальный организм был более прочным, более устойчивым, динамичным и перспективным (у него больше степеней свободы, больше «запас свободного хода»). Когда же государство начинает примеривать венец единственного хранителя общего единства, компромисс резко нарушается и группа, волею судеб оказавшаяся в данный момент у власти, начинает навязывать всем другим свои представления и ценности в качестве универсальных и единственно верных.

В периоды усиления государства, осуществления масштабных военных или политических акций права, подразумеваемые моралью, начинают казаться антигосударственными. Стремление государства превратить себя в высшую ценность буквально бросает его в атаку на традиционные модели социальных связей, а это, в свою очередь, неизбежно подразумевает атаку на существующие моральные ценности.

Однако если атака государства оказывается слишком успешной, то она оборачивается деморализацией подданных и быстро приводит к результату, прямо противоположному, — к ослаблению государственного аппарата, просто-напросто повисающего в пустоте. Ведь любой человек с твердыми моральными устоями в ответ на свежие выдумки правителя первым делом ответит что-нибудь вроде «Петербургу быть пусто». Что с таким человеком делать? Уволить, естественно. Причем, желательно, и из жизни уволить тоже. А вместо него назначить дельного прагматика. В смысле бизнеса прагматик этот может оказаться выше всяких похвал, но все равно, едва завидев государя, он будет говорить ему не нормальное человеческое «По здорову ли, батюшка?», а этакое суперпионерское «На все готов!». Причем, как и подобает дельному прагматику, в самую первую очередь он будет готов тащить в свой карман все, что плохо лежит, — и у противников, и у союзников, и у коллег, да и у самого правителя, перед которым в моменты личных с ним контактов ползает на брюхе.

Так госаппарат быстренько соберет в себе и вокруг себя наиболее аморальную часть населения, то есть тех, для кого всякая там этика, непреходящие ценности какие-то — звук пустой, оттого эти люди и способны перестроиться мгновенно, стоит только высшему начальству объявить черное белым и зло добром. И даже если высшее начальство действительно прозорливо и действительно объявляет благом благо, но при этом чрезмерно усердствует, вколачивая обновленную истину в головы подданных, оно все равно быстро концентрирует вокруг себя подонков и становится их заложником, а благо в результате выворачивается наизнанку.

Когда этот процесс достигает катастрофической интенсивности, государству — если оно вообще успевает спастись — приходится забывать показавшиеся столь полезными и удобными законы и вновь идти на поводу у культуры. Иначе не зашпаковать зазор между теоретически предписанным и практически осуществляемым поведением, который всегда служит питательным каналом для коррупции.

Интересный и показательный пример такого компромисса — развитие правовых норм в милом моему сердцу древнем Китае. Норм, регулировавших поведение индивидуума в ситуации конфликта его обязанности по отношению к ближним и по отношению к государству.

2

Был в Китае создан такой труд — «Книга правителя области Шан», который оказал на дальнейшую историю страны влияние колоссальное. Авторство его традиционно приписывают государственному деятелю по имени Шан Ян. Едва ли не впервые в мире Шан Ян предложил связную схему тотального государственного контроля (приверженцев этой системы стали называть «школой закона», а у нас

иногда на европейский лад — легистами). Там говорилось прямо: «Умные и хитрые, мудрые и способные превратятся в добродетельных, начнут обуздывать свои желания и отдадут все силы общему делу». В этой фразе, ни много ни мало, сформулирована основная цель кардинального нововведения — создания единого для всех письменного законодательства. Дело было в середине IV века до нашей эры.

Вдавливание в жизнь формулируемых государством законов изначально служило в Китае узкопрактической цели — созданию государственности нового, жесткого типа. Право было призвано не столько оформить и сделать общеобязательным то, что и так уже становилось общепринятым, сколько разрушить старые ценности и внедрить новые. Методика предлагалась простая и описывалась в простых формулировках; в ту пору не существовало ни общественного мнения, ни международного права, ни вождельных инвалютных кредитов, ни «Эмнести интернешнл», и государственные деятели могли позволить себе называть вещи своими именами: раз все люди стремятся к выгоде и избегают ущерба, следует положить им награду за старательное и успешное соблюдение предписанного (что именно предписано — народу должно быть все равно) и наказание — за несоблюдение.

В период кратковременного расцвета теории и, в особенности, практики «школы закона» в ее первоначальном виде (III в. до н. э.) виднейшие теоретики легизма прямо указывали на несовместимость морали и права. В другом классическом труде — в «Хань Фэй-цзы» — приводятся два примера, доказывающих, что государственный аппарат, придерживающийся норм традиционной морали, нелепейшим образом действует в ущерб себе.

Один пример — история о воине из княжества Лу, который трижды убежал с поля битвы, но был прощен назначенным в ту пору на должность судьи моралистом Конфуцием, поскольку выяснилось, что сей храбрец у родителей единственный сын и в случае его гибели о стариках некому будет заботиться. И второй — история о жителе княжества Чу, который честно сообщил властям о преступлении отца, но был за это, вопреки всякому здравому разумению, единственно за неуважение к родителю, казнен. По мысли Хань Фэй-цзы, эти примеры неопровержимо доказывали неприемлемость морали. Ведь она, окаянная дура, интересы ближних ставит выше интересов государства! Вдумайтесь только, намекал Хань Фэй-цзы: какой-то там отец (а в Китае отцов и в ту древнюю пору было уже немало; отцом больше, отцом меньше — никто и не заметит) — и наше великое, лучшее в мире, одно на всех, государство!

Немного, вероятно, найдется мало-мальски образованных людей, которые хотя бы понаслышке не знали о древнекитайской империи Цинь и ее страшном императоре Цинь Ши-хуанди. Времена были суровые, вовсю дул свежий ветер перемен; впервые страна была реально объединена, и наследственных князей и князьков постепенно сменяли назначаемые и сменяемые из имперского центра чиновники. Сделав легизм государственной идеологией, заурядное княжество Цинь, одно из многих, стало сначала сильнейшим из всех, а затем единственным, превратившись во всекитайскую империю. Никаких стимулов не должны были иметь люди, кроме мечтаний о милости правителя и трепета перед его гневом. Одних лишь регулярных, законных видов смертной казни было что-то около двенадцати: варка в малом котле, варка в большом котле, проламывание головы тупым предметом...

Империя Цинь не просуществовала и полувека. Ее смело. Повиноваться перестали все, от мала до велика. Какой прок был от армии, сильнейшей в дальневосточном регионе, а возможно, — и во всем тогдашнем мире, если ее солдаты, лейтенанты, генералы перестали мечтать о будущих наградах — из-за того, что им осточертело трепетать от зари до зари? Награда — она где-то там, в будущем; а вот проламывание головы ждет не дождется каждого в настоящем, чуть что не так скажи, а тем более сделай... Когда нормальная жизнь становится одним сплошным правонарушением, ненависть к тому, кто олицетворяет право — к государству, к правителю, — перевешивает все остальные чувства. Когда все, что ты как честный человек считаешь правильным, естественным, должным, объявляется наказуемым, возникает лишь одно желание — как следует наказать тех, кто наказывает.

Крах первоначального легизма, уволокшего за собою на свалку истории и всю империю Цинь, привел к тому, что ситуации, подобные упомянутым Хань Фэй-цзы, были проанализированы более глубоко. Предусмотренные для решения таких случаев правовые нормы стали как бы принимать сторону индивидуума. Но на самом деле государство сделало более дальновидным, чем оно мыслилось лихими легистами, и постаралось не рубить сук, на котором царит.

Более надежно оказалось приносить пользу себе, по возможности принося пользу подданным. А принесение — хотя, говоря о государстве, правильнее было

бы называть это причинением — пользы подданным проще и надежнее осуществлять, учитывая господствующие среди подданных модели поведения. То есть, в первую очередь, нормы традиционной морали. Ведь они естественным образом возникли в социальном организме, наследником которого данное государство и явилось. И причиной их возникновения была объективная необходимость гармонизировать жизнь этого организма на всех уровнях. Сделать бесперебойным и безболезненным срабатывание всех связей подчинения и взаимодействия. Функции морали во многом превосходили те, которые государство постаралось потом передоверить праву. Поэтому типы связей, найденные методом проб и ошибок в течение многовекового поиска, зачастую заслуживали государственного санкционирования — хотя бы и после модификации.

Например, укрепление семьи было на самом деле в интересах государства.

Китайское государство еще с древности мыслилось как громадная семья и апеллировало к моральному авторитету внутрисемейных связей. Два свойства семьи были особенно привлекательны для государства: единство (высокая теория вообще считала семью одним телом) и иерархичность (исстари, например, существовала образная, но вполне серьезно воспринимаемая формула: отец — Небо для сына).

Эти свойства из поколения в поколение воспроизводились в семье естественным образом, безо всякого принуждения извне. Вместо того чтобы ревновать к этим внутрисемейным установкам и бесплодно пытаться их разрушить, множа тем самым людей, не признающих ни единства, ни иерархичности, государственная идеология стала учиться использовать их, выводя во внешний социальный мир.

Однако прекрасно работавшая схема неизбежно давала сбои в тех ситуациях, когда интересы родственников начинали прямо противоречить интересам государства. Это противоречие особенно остро почувствовали легисты — но разрешили его топорно. Топорами по шеям.

Казалось бы, если право создается государством в интересах именно государства же, значит, подобные конфликты государство может решать только в свою пользу... Однако, если не суетиться, а рассчитывать политику на десятилетия и века, стремиться не к потрясениям, а к стабильности, следовало свести к минимуму моральные потери во внутрисемейных связях, и прежде всего — в основных и ближайших, таких, как, например, сыновняя почтительность, моральный долг сына — *сяо*.

Для регулирования отчаянно сложных ситуаций, примером которых может послужить притча о сыне-доносчике, был разработан целый комплекс норм, целый механизм, название которого говорит само за себя: *сянжуньинь*, или «взаимное предоставление убежища», «взаимное укрывательство».

Очевидно, что перед родственниками человека, чьи поступки пошли вразрез с установленными государством стереотипами поведения¹, встает серьезная проблема. Выбор морально оправданного поведения оказывается действительно чрезвычайно труден, так как любое сознательное, по собственной воле предпринятое действие будет носить привкус предательства, будет чревато последующими муками совести. Не так уж неправы сухие рационалисты, обзывающие всю духовную жизнь человека пустым перемалыванием антиномий; о, если бы можно было раз навсегда и для всех запрограммировать, чем и во имя чего нужно жертвовать в такой-то ситуации, и в такой-то, и в такой-то...

Необходимость найти и затем навязать общеобязательный компромисс, стимулирующий и естественное срабатывание *сяо* внутри семьи, и эксплуатацию *сяо* государством, — вот что вызвало к жизни *сянжуньинь*.

В «Хань Фэй-цзы» говорилось: «Управляя государством, мудрец не должен зависеть от людей, которые сами творят добро, но должен делать так, чтобы никто не мог творить зло. Поэтому тот, кто управляет страной, использует большинство и пренебрегает меньшинством, и интересуется не добродетелями, а законом».

После провала чистого легизма сам этот подход остался в неприкосновенности. Да, законом стало теперь то, что вытекало из традиционной морали, — но в

¹ Я намеренно не употребляю здесь слова «преступление», так как различные культуры могут называть этим словом совсем разные поступки. В средневековом Китае, например, строжайше наказывались самостоятельные занятия астрономией; наблюдать светила, кометы, болиды и затмения разрешалось только тем, кто был на это служебно уполномочен. Так сказать, имел допуск. Ближайшим аналогом подобных «преступлений» в нашем недавнем прошлом являлись, например, самостоятельное изучение и комментирование «Капитала» или «Государства и революции».

отместку мораль оказалась регламентированной, как закон. Коль скоро закон стал этичным, неэтичное стало уголовным.

3

Прежде всего право дополнило мораль тем, чего она в принципе не способна естественным образом взрастить в себе, — жесткой, абсолютно формальной иерархией приоритетов.

Во-первых, «непочтительность к государю», «нарушение морального долга подданного» (*бучэнь*) всегда хуже, чем «сыновняя непочтительность», «нарушение морального долга сына» (*бусяо*).

Понятно, что с точки зрения государства интересы общесоциального центра всегда выше и важнее, чем интересы центра какой-либо локальной социальной ячейки; но относительная их ценность выявляется только их прямым конфликтом. Нет конфликта — нет проблем, поскольку авторитет локального социального центра есть косвенное проявление авторитета центра всеобщего. Каждой семье — по махусенькому императору, и, как мог бы выразиться один из героев братьев Стругацких, пусть ни одна семья не уйдет обиженной, то бишь не обимператоренной. Блестящий ход, который легисты, иступленно желавшие переkreить мир немедленно, попросту проморгали.

Вторая иерархическая сетка вводилась уже внутрь семьи. Здесь право воспользовалось, во-первых, естественно возникающим главенством старших над младшими. Во-вторых, иерархия устанавливалась посредством введения в право степеней близости родства, существовавших прежде лишь в традиционной морали.

Два фактора, определявшие внутреннюю иерархию, дополнялись третьим, очертившим внешние границы семейных микроимперий, — фактором «совместного проживания» (*тунцзюй*).

Вот фраза из уголовного кодекса династии Тан — знаменитого «Тан люй шу и», составленного в VII веке нашей эры: «...Необходимо покрывать ошибки и злодеяния родителей. Можно только увещевать их, стараясь не допустить, чтобы они погрязли в пороке. Если не увещевать, а противодействовать — это является сыновней непочтительностью».

Порожденный этой нравственной формулой правовой механизм *сянжуньинь* излагается в кодексе подробнейшим образом.

Во-первых, родственникам разрешалось, в случае совершения кем-либо из них уголовных преступлений, давать друг другу убежище. Разумеется, если речь шла об антигосударственных преступлениях, разрешение не действовало. В ослабленном варианте действовало оно и в отношении родственников, если они жили отдельно друг от друга и степень родства между ними была предельно дальней.

Следующий этап двавления этической доктрины в быт — формулирование конкретных моделей исполнения основного правила *сянжуньинь* в неоднозначных ситуациях. Мораль — она ведь штука, по большому счету, жутковатая: что ни сделай, все кого-нибудь да обидел. Известно ведь, что чистой совестью могут похвастаться лишь те, у кого ее вообще нет. У кого совесть есть, на ней всегда что-то лежит... Вот этот-то неизбывный недостаток морали настырные китайцы и постарались изжить.

Сначала абстрактная этическая формула воплотилась в посреднике — основном правиле ее реализации в поведении; затем уже посредник должен был быть раздроблен и приспособлен к более или менее предсказуемым частностям бытия. При решении этой невероятно сложной задачи возникали юридические парадоксы, на современный взгляд невероятно сложные и зачастую кажущиеся нелепыми. Однако они возникали закономерно из стремления сделать любую жизненную коллизию однозначно решаемой; в сущности — они были следствием неколебимой веры в возможность этически запрограммировать человека. Раз выбрав определенную и единственную шкалу духовных ценностей и взяв на себя адский труд ее правового внедрения, государство неизбежно вынуждено было предписывать точные решения для все более и более частных ситуаций.

Вот очень характерный пример.

Умышленное укрывательство по средневековому китайскому праву наказывалось, вообще говоря, достаточно строго — так же, как реальное соучастие в совершении данного преступления.

Так вот, мало того, что входящие в круг *сянжуньинь* с неким преступником люди не подлежали наказанию, если укрывали его самого. Они не привлекались к

ответственности и за укрывательство совершенно постороннего им человека, если он являлся подельником провинившегося родственника. В рамках тогдашних правил непредоставление убежища в подобной ситуации являлось формой доноса на родственника, поскольку задержание подельника с высокой степенью вероятности могло привести к задержанию родственника; подельнику-то никакие основанные на родстве, то есть уважаемые государством, моральные обязательства не запрещали выдать «корешка» на первом же допросе.

Или еще более забавный юридический фокус. Коль скоро один из родственников, не участвовавший ни в каком преступлении, по каким-то причинам предоставлял убежище совершенно постороннему семье преступнику, другие родственники, ни сном ни духом не подозревавшие о происшедшем, действуя в духе *сянжуньшэнь*, обязаны были укрывать своего родственника — того, который преступника укрыв... а из-за этого — и самого преступника.

В общем-то, в рамках той клетки императивов, в которую посадили себя танские правотворцы, они решили ситуацию в высшей степени гуманно, от души соблюдая права человека — так, как они их понимали.

4

Основной альтернативой укрывательству являлся донос. Доносить надлежало исключительно этично.

За донос на кого-либо из родителей или кого-либо из родителей отца, если только в доносе этом не фигурировало что-нибудь вроде сепаратистского мятежа, шпионажа или заговора против императора, доносчик наказывался удушением.

Следующая крупная градация — донос на старших родственников, которые после прямых предков по мужской линии являлись второй по значимости группой в семейной иерархии. Она дробилась на подгруппы в зависимости от близости родства. Донос на старшего высшей категории близости карался двумя годами каторги.

Затем, с уменьшением этой близости, строгость наказания ступенчато убывала, но рассматривать здесь все эти китайские церемонии — совершенно неуместно. Я и так уже сильно рискую надоесть читателю, привыкшему к масштабным, в стиле Глазунова, полотнам: застой, перестройка, демократизация, Веймарская Россия, патриотизм, сионизм... Какие слова! От каждого — мороз по коже. Но на самом деле лишь по конкретным, мелочным церемониям, будь они хоть китайские, хоть московские, только и можно на самом деле уяснить себе, насколько сионистичен сионизм, насколько патриотичен патриотизм, насколько застоен застой и насколько демократична демократизация.

Без дотошного, занудного учета, кто что и как берет у людей и кто что по какой цене им дает, все масштабные препирательства — не более чем треск сучьев в костре, который не тобою зажжен и горит не для тебя.

Не могу, однако, отказать себе в удовольствии привести еще одну очень характерную деталь. Если донос подавал не младший родственник на старшего, а, наоборот, старший на младшего, то чем ближе было родство, тем наказания становились незначительнее. Следовательно, картина была зеркально противоположной. И венцом сей картины являлся закон, согласно которому прямой предок по мужской линии, то есть отец или отец отца, за донос на сына или внука вообще не подлежал никакой ответственности — причем даже в тех случаях, когда донос был облыжным, клеветническим.

Единство и иерархичность! Что может быть милее сердцу любого начальника — с палеолита до наших дней!

Очень многозначительна еще одна статья «Тан люй шу и» о родственных доносах. В ней говорится: «В случаях совершения родственником против родственника преступлений с нанесением материального или физического ущерба, то есть если либо силой завладел вещами, либо нанес побои телу, можно жаловаться по собственному усмотрению»¹.

¹ Формально цитата здесь не совсем точна. Для удобства читателя я вынужден был свести в одну русскую фразу три китайских, довольно длинных и весьма занудных, к тому же текстуально практически повторяющих друг друга. Смысла я не искал.

Указанная ситуация, похоже, единственная, в связи с которой заходит речь о чем-то, действительно похожем на право.

В нашей юридической науке, если верить «Юридическому энциклопедическому словарю» (а он, уж простите, живым языком разговаривать не в силах), понятие права определяется так: «Субъективное право — обеспеченная законом мера возможного поведения гражданина или организации, направленного на достижение целей, связанных с удовлетворением их интересов... Субъективное право включает как возможность самостоятельно совершать определенное действие (поведение), так и возможность требовать определенного поведения от другого лица... поскольку такое поведение обуславливает существование субъективного права».

Сянжунъинь не является правом в европейском понимании. Устоявшиеся, особенно в западном востоковедении, варианты перевода — «право предоставления убежища», «право укрывать друг друга» — спровоцированы тем, что *сянжунъинь* несет в себе элемент направленности «на достижение целей, связанных с интересами индивидуума». Между тем, в Европе укоренилось довольно-таки легистское по своей сути убеждение, согласно которому интересы индивидуума и государства всегда противостоят друг другу. Иметь право — значит, не иметь по данному поводу обязанности.

Вероятно, представление это возникло из-за чрезвычайно быстрого темпа развития европейской цивилизации, при котором, в условиях феодальной структуры с ее постоянным противоборством всех против всех, а в особенности в период укрепления центральной власти и подавления привилегий знати, периодический правовой «форсаж» общества государством был неизбежен. Кстати, и легистские попытки правового «форсажа» в Китае начали предприниматься и приводить к первым успехам именно в условиях плюралистической структуры так называемого периода Враждующих Царств, по многим политическим параметрам сходной с европейским средневековьем и ранним Ренессансом. Правда, Враждующие Царства были несколько раньше, в V — III вв. до н. э.

Представление о правах в нашем сознании в первую очередь связано с представлением о свободе пользования ими: правом можно воспользоваться, а можно и не воспользоваться. Это зависит целиком от желания индивидуума, от его представлений о добре и зле, о своих моральных обязанностях, в конце концов. Тут-то и разворачивается главная батальная панорама европейских духовных коллизий, тут и залегли невидимые, но бесчисленные Помпеи и Геркуланумы, засыпанные прахом испепеленных муками выбора сердца.

Но если никуда не спешащее государство превращает моральные обязанности в один из факторов унификации человеческого поведения и делает их обязанностями юридическими — о правах лучше и не заикаться. Когда человек под страхом уголовного наказания вынужден предпринимать некие действия, пусть даже направленные на удовлетворение его собственных интересов, или интересов его близких, пусть даже как бы в ущерб интересам государства, — это все равно уже не право. Просто государственная машина сочла, что данные индивидуальные интересы способствуют успешной деятельности этой машины.

Такая трансформация произошла в Китае с защитой родственника от кар государства. Из естественного стремления реализовать свои моральные обязательства она стала уголовным преступлением, а затем преступлением стало уклонение от нее. Но этот процесс не был связан с расширением индивидуальной свободы. Скорее напротив. Даже та сфера, которая находилась в области индивидуального и чисто морального выбора, подчас даже героического («спасу родителя в подполе среди соленых огурцов, пусть приходят, аспиды, пусть хоть крючьями рвут, ни слова не скажу!!!»), оказалась оккупирована юридической регламентацией. Пользование *сянжунъинь* было, так сказать, вменено в право.

Казалось бы, можно настаивать, что это право — именно право, заключающееся в «возможности требовать определенного поведения». Право преступника требовать убежища. Но речь-то идет не о праве укрыться, а о праве укрыть! Можно говорить о праве человека на жизнь, о праве не быть убитым — то есть о праве требовать от других не убийственного поведения; но несколько шизоидно звучало бы: я имею право не убивать. Так же звучит и в случае с *сянжунъинь*: я имею право не доносить. Правда, если донесу, меня казнят...

Да, сам преступник мог и не попросить убежища. Он имел такое право. У него был выбор. Как человек, уже преступивший закон, он был свободен. Но чистый перед законом родственник, если хотел и дальше оставаться таким же чистым, обязан был дать убежище, обязан был молчать — иначе он совершил бы преступление.

Только реакция на чрезвычайно узкую, третьестепенную по важности область конфликтов — совершение родственником против родственника преступлений с нанесением материального или физического ущерба — была оставлена в ведении индивидуума, во власти его личных желаний и представлений. Да и то, вероятно, лишь потому, что государство, не желая по каждому подобному поводу вторгаться в мелкие семейные дела, тем не менее оставляло себе лазейку для такого вторжения на случай, когда семья не могла или не хотела уладить конфликт собственными силами. Так что даже это право — действительно право, поскольку пользование им не вменялось в обязанность, а зависело от личного решения — служило индикатором, демонстрирующим способность или неспособность семьи справиться с внутренним конфликтом самостоятельно.

Вменять это право в обязанность было неудобно, обременительно и, в общем-то, тщетно, так как у аппарата не было реальных возможностей проследить за ее соблюдением. Ведь информацию о внутрисемейных конфликтах такого рода взять было совершенно неоткуда — разве лишь из того же самого родственного доноса. А раз нельзя точно проследить — значит, нельзя справедливо наказать. А раз наказания в каких-то случаях оказываются не вполне справедливы — вдруг откуда-нибудь вынырнет вольнодумец и решит, что наказания всегда несправедливы? Возможность возникновения подобных подозрений следовало давить в зародыше.

Поэтому гораздо проще и удобнее было предоставить членам семьи самим решать, нуждаются они во вмешательстве извне или не нуждаются. Каким бы ни оказался выбор, он не ущемлял выгод администрации. В случае неподачи жалобы она избавлялась от мелких хлопот, в случае подачи — безо всяких усилий получала информацию из первых рук. Оба варианта поведения в равной мере находились в интересах государственного аппарата; он не имел здесь никаких предпочтений.

5

В это трудно поверить, и даже кажется подчас, что дело обстоит совершенно наоборот, но иногда жизнь напоминает, что все происходит вовремя. Именно тогда, когда и следовало произойти.

Именно тогда, когда я увлеченно потел над переводом раздела «Драки и тяжбы» танского кодекса, где сосредоточены статьи о доносах, — именно тогда попала мне на глаза опубликованная в «Московских новостях» небольшая статья доктора исторических наук С. Келиной¹.

Называлась статья «Закон подсуден времени» и посвящена была разработке нового советского законодательства — которое мы, пользуясь выражением поэта, так и убили, не родивши. В ней, в частности, говорилось: «Ученые предлагают внести в проект нового законодательства поправку. В самом деле, как можно требовать от матери, чтобы она донесла на своего сына? Закон не должен «stalkивать лбами» юридические и общечеловеческие нормы». И далее: «Подсудна ли безнравственность? Надо ли смешивать законы морали, нравственности с уголовными законами? Я думаю, тут мы имеем дело с наивными попытками переложить на плечи закона те муки выбора, что и составляют содержание жизни. Если каждый наш поступок будет продиктован не собственной совестью, не нравственным чувством, а лишь соответствующим параграфом или статьей, то человек будет жить не для жизни, а для юриспруденции».

Данное высказывание, прозвучавшее на заре перестройки, в тот короткий золотой год, когда кураторы от КГБ уже превратились из махоньких, словно бы инкубаторских Великих Инквизиторов в дружелюбных компанейских ребят, а кровь еще не полилась, привлекает внимание по трем причинам.

Во-первых, оно наводит на мысль, что, вне зависимости от способа производства и прочих, так сказать, базисных характеристик, тенденция к гуманизации общества, к прекращению правового форсажа, направленного на срочное достижение каких-либо государственных целей, обязательно сопровождается снятием или, по крайней мере, ослаблением противоборства «юридических и общечеловеческих норм». И неважно, достигло государство своей цели или вся энергия ушла, как вода в песок. Просто правовой форсаж на любой стадии общественного развития, в

¹ «Московские новости», 23 августа 1987 г.

любую эпоху связан с намеренным разрушением морали, с намеренным подавлением поведения, основанного на существующих представлениях об этичном и неэтичном.

Возникает совершенно специфическое, так сказать, чисто утилитарное право — комплексы правовых норм, направленных на то, чтобы во имя сиюминутной государственной пользы оставить каждого человека с государством один на один, лишив и авторитета, и правовой защиты как можно большее число связей между людьми, основанных на родственных, профессиональных, духовных и каких бы то ни было иных переживаниях, отличных от верноподданнических. Споры нет, мораль тоже можно назвать утилитарной — как утилитарны дыхание, кровообращение, речь. Но с помощью в высшей степени утилитарной речи один человек может сказать: «По имеющимся у меня сведениям, мой сосед прячет за унитазом антисоветское произведение „Доктор Живаго“», а другой: «Я один. Все тонет в фарисействе». «Утилитарная» мораль гармонизирует связи между индивидуумами и основывается на признании ценности, самостоятельности, неподвластности партнера; утилитарное же право пытается учредить одну лишь прямую связь между индивидуумом и государством взамен всех остальных, причем ценность первого стремится свести к нулю, а ценность второго (то есть себя) — поднять до бесконечности.

Макиавелли: «Следует знать, что, когда на весы положено спасение родины, его не перевесят никакие соображения справедливости или несправедливости, милосердия или жестокости, похвального или позорного... О совести мы не можем вспоминать, ведь кому, как нам, угрожают голод и заточение, тот не может и не должен бояться ада».

Президент Народного трибунала Фрейслер, гитлеровский рейх: «Не существует больше частной жизни, которая выходит за рамки общественных обязанностей, народной общности... Право есть то, что идет во благо немецкому народу!»

Н. В. Крыленко, бессменный верховный обвинитель в 20-х годах у нас: «Сколько бы здесь ни говорили о вековечном законе права, справедливости и так далее — мы знаем., как дорого они нам обошлись. Мы творим новое право и новые этические нормы!»

Шан Ян: «Если правитель может, создавая законы, принести пользу народу, то он не следует нормам морали (ли)».

Шан Ян и Крыленко кончили одинаково — высшей мерой, приведенной в исполнение тем самым государством, об освобождении коего от морали они так горячо радели. Европейец Макиавелли отделался легче — политическим крахом и изгнанием из любимого города. Как закончил свои дни президент Народного трибунала — не знаю. Надеюсь, что он горит в аду. И жарят его на его представлениях об общественных обязанностях и народной общности.

По танскому праву антигосударственные преступления карались с применением норм общесемейной ответственности. В случае, например, мятежа отцы, а также сыновья мятежников от жен и наложниц подлежали удушению; сыновья же 15 лет и младше, матери, жены, дочери, наложницы, внуки, правнуки и праправнуки по мужской линии, жены и наложницы сыновей, братья и сестры обращались в государственное рабство.

И в XX веке существовала общесемейная ответственность, являвшаяся в эпоху индивидуализации куда более мощным механизмом правового надругательства над моралью, чем во времена традиционных обществ, для которых характерна реальная тесная сплоченность кровнородственных коллективов. «При Фрике существовала специальная статья закона: „За деяния, совершенные одним из членов семьи, несут ответственность все члены семьи...“, — отмечают Д. Мельников и Л. Черная в посвященной фашистской Германии книге «Империя смерти». А вот уже из Г. З. Анашкина, книга его называется «Ответственность за измену Родине и шпионаж»: «Постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. Положение о преступлениях государственных было дополнено статьями об измене Родине... Закон не только устанавливал ответственность изменников Родины, но... предусматривал наказания для членов семьи изменника, совместно с ним проживающих (чем не танское *тунцзюй?* — В. Р.), даже при условии, что они не только не способствовали готовящейся или совершенной измене, но и не знали о ней».

Не имею ни малейшего желания, вопреки всякому здравому смыслу, историзму и элементарной справедливости, обзывать Шан Яна провозвестником фашизма. Просто дело в том, что правовой форсаж, где бы и когда бы он ни предпринимался государством, обязательно имеет существеннейшей своей составляющей правовую атаку на мораль — со всеми вытекающими из этой атаки последствиями, опять-таки одинаковыми для всех времен и народов.

Циньскую империю взорвало общее восстание — годы резни, временный распад страны, междоусобица, смена династии. Правовой форсаж западноевропейского абсолютизма был смягчен расцветшим одновременно с ним, буквально ему в пику, протестантизмом. Гитлера с его соображениями о том, что и как идет во благо немецкому народу, разгромила Большая тройка, и денацификация проводилась внешней силой.

Нам еще предстоит как-то выпутываться...

Всякая попытка правового форсажа оказывается недолговечной, ибо возводит аморальность в ранг общественного долга, в ранг средства улучшения мира, и тем сразу развязывает руки аморальности, осуществляемой, разумеется, подавляющим большинством людей в личных корыстных интересах.

Когда же этот процесс приводит к заметной деградации общества в целом и государственный аппарат превращается в скопище беспринципных и крайне недальновидных прагматиков, корыстолюбцев, стимулирующее, вдобавок, эти же качества во всех остальных слоях населения, любая попытка поправить дело зачастую приводит, в частности, даже не к прекращению правовой ломки морали, но к явлению прямо противоположному — к попыткам подпереть мораль правом. То есть попыткам объявить то поведение, которое государство считает аморальным, уголовно наказуемым — и карать за «аморалку», карать, карать... Так, как это в наиболее чистом и неприкрытом виде случилось в Китае.

Можно сказать, что качание юриспруденции между двумя предельными состояниями — старанием разрушить мораль и старанием унифицировать и жестко закрепить мораль — постоянно присуще взаимодействию морали и права. То, что мы в последние годы так часто называем правовым беспределом, есть как раз пребывание на одном из пределов — и пребывали на нем так или иначе, раньше или позже, а то и по нескольку раз, все культуры и все народы.

Качание это происходит с того момента, когда уголовное право и мораль начинают сосуществовать, и до того абстрактно мыслимого момента, когда нужда в уголовном праве отомрет. Смещение маятника как в ту, так и в другую сторону вызывается сходными социально-политическими ситуациями. Грубо говоря, право есть проявление состояния государства, мораль есть проявление состояния общества, и отношение права к морали есть однозначная характеристика отношения государства к обществу.

Нынешнюю нашу ситуацию я оцениваю как двоякую. С одной стороны, существуют определенные признаки сдавленных, осуществляемых как бы из-под полы попыток государства предписать порядочность. Наверняка на повестке дня какой-нибудь новый пакет законов о семье. С другой, происходящий сейчас очередной большой скачок, на этот раз в капитализм, объективнейшим и настоятельнейшим образом требует правового форсажа — и форсаж этот осуществляется адаптированным к демократической эпохе образом: право просто-напросто старается молчаливо игнорировать то, что все составляющие основу морали человеческие качества (честность, верность, бескорыстие, добросовестность, ответственность, доверчивость) поставлены экономическими катаклизмами, едва ли не как сталинскими законами когда-то, перед перспективой голодной смерти или уродливых приспособительных мутаций.

Конечно, прямым немедленным расстрелом или лесоповалом за отказ воровать и жульничать нам не грозят. Великий выбор все-таки остается индивидуальным делом каждого. И, честное слово, это — действительно крупнейшее достижение российской демократии. Жаль было бы с ним расставаться. Но как же хочется, чтобы жизнь строилась не по принципу «держи ухо востро, или вымрешь», а по простейшему принципу «работай, или вымрешь».

Правда, некоторые свободолюбцы уже готовы согласиться с тем, что сей последний есть утопия, навроде коммунизма. По-моему, это доказывает лишь, что с вострым ухом у них оказалось все в порядке, а вот с желанием работать — проблемы...

Синтез двух этих тенденций — стремления учредить порядочность и неспособности уследить за непорядочностью в горних сферах — может привести к тому, что весь свой нерастраченный пыл право обрушит на личную жизнь людей, на их быт.

Далее, высказывание С. Келиной очень четко иллюстрирует тот факт, что представление о морально свободном поведении находится в подчас даже не осознаваемых рамках, накладываемых культурой. Чжансунь Уцзи или любой другой из тех, кто составлял при танских императорах Тай-цзуне и Гао-цзуне окончательный вариант кодекса, обеими руками подписались бы под фразой о том, что нельзя

«сталкивать лбами» юридические и общечеловеческие нормы, но узнав, какой пример приведен в качестве предельно аморального требования, лишь с недоумением пожал бы плечами.

Очевидный факт, что любовь матери к сыну является наиболее безоговорочным, бескорыстным и сильным чувством, признавался и в традиционном Китае, в том числе и виднейшими теоретиками легизма. Узаконенное требование вести себя вопреки такому чувству представляется нам столь циничным потому, что наша культура выбрала любовь матери к ребенку как символ и эталон раскрепощающей любви-защиты, не требующей никакой компенсации для себя в любой жизненной коллизии.

Помимо того, что материнская любовь всегда несла на себе отблеск важнейших ценностей христианского, особенно — православного, мировоззрения (хороша была бы Богородица, стучащая какому-нибудь Ироду об антиобщественном поведении Сына своего!), связь «мать — сын» и связи, ориентированные на этот эталон, выполняли существеннейшую социальную функцию. Тысячу лет мы развивались стремительно и судорожно. Государство требовало от людей то максимально напрячь все силы и способности, в том числе способность действовать самостоятельно и принципиально, то, наоборот, пригнуться и забыть, что такое личная ответственность и инициатива. И потому едва ли не каждый человек время от времени нуждался в оазисе, где мог бы почувствовать себя вне непрерывно грозящего карами социума. Отдохнуть от его то и дело противоречащих одно другому, не слишком-то уважаемых, но всегда опасных требований. Зарядиться способностью забывать о себе ради чего-то более важного. Моральный престиж этой связи стал чрезвычайно высок. Поставить на службу государству, от которого никогда не знаешь, чего ждать, и эту последнюю внесоциальную опору и подвесить ее, как марионетку, на шанъяновских ниточках «наград и наказаний» — значило бы лишить общество последнего шанса на воспроизводство духовности.

В танском же Китае правовое надругательство над чувством такого рода не могло считаться признаком предельной аморальности права. На протяжении длительной эпохи предгосударственного созревания морали чувство социальной дисциплины там не только не скомпрометировало себя, но стало не менее престижным и ценным, чем, например, в Европе, — чувство чести, то есть соблюдения личных моральных установок вопреки любому, в том числе и государственному, давлению извне. Уважалось не столько то, что раскрепощает, сколько то, что структурирует. Ведь архаичная мораль являлась на протяжении многих веков основным средством сохранения социальной структуры.

Нормы, в рамках данной культуры считающиеся общечеловеческими, являются в большинстве своем столь же специфическими сколками данной культуры, сколь и расцветающие время от времени нормы утилитарного права. Общечеловеческим является лишь качание между двумя этими крайностями. Нормы морали вызревают внутри культуры с самого начала ее существования и относятся к основным ее специфическим характеристикам. Утилитарное право, пытаясь подавить мораль в интересах государственной машины, создает нормы, фактически являющиеся зеркальным отражением норм уже существующих. Отказ от утилитарного права и попытки высвободить или даже подкрепить мораль законами снова меняют «можно» и «нельзя» местами, но сами объекты разрешения или запрещения зачастую остаются прежними или только модифицируются.

В условиях нашего нынешнего правового форсажа игнорированием эта закономерность выражается в том, что наиболее вяло и апатично право ведет себя именно там, где противоправные действия с точки зрения традиционной системы ценностей особенно аморальны. Там, где традиционно господствовали нестяжание и снисходительная, но оттого особенно безоглядная, преданность державе.

Впрочем, игнорируй не игнорируй — тот же Макиавелли еще на заре зры капиталистических форсажей сформулировал их суть раз и навсегда: «Если вы рассматриваете людские дела, то увидите, что те, кто достиг великих богатств и власти, добились их силой или обманом, и захваченное с помощью лжи и насилия они приукрашивают фальшивым именем «заработанного», чтобы скрыть мерзость своего приобретения. И те, кто по наивности или по глупости избегают такого рода действий, остаются навечно в рабстве, ибо верный раб — все равно раб, а добрые люди всегда бедны; из рабства помогает выйти только измена или отвага, а из бедности — погоня за наживой и обман».

Демократические, правовые общества могли возникнуть только после того, как люди обрели духовную свободу — во всех ее проявлениях, естественно, иначе это была бы уже не свобода — и махнули на первобытные предрассудки рукой. После

того, как было смиренно признано, что человек есть эгоистичная скотина. Тогда карающим и награждающим суперавторитетом, склеивающим общество воедино, смог наконец-то стать закон. Кроме него, оказалось некому.

Пока человек стремится стать более чем животным, общество то подспудно, а то и явно стремится к идеократичности, и, значит, чревато диктатурой, которая варкой ли в малом котле, Беломорканалом ли, Майданеком ли будет тщиться превратить несовершенных, почему-то желающих хоть иногда заботиться о самих себе граждан в штампованных ангелов, дрыгающих крылышками исключительно ради государственного светлого будущего. И самое-то чудовищное, что граждане и варку в котлах, и варку в лагерях рассматривают в большинстве своем нормально, и даже восторженно, уверенные, что это они так наконец-то превращаются в ангелов. На одном лишь страхе идеократическое общество не стоит!

Но когда человек перестает стремиться стать более чем животным, то он никому, кроме себя, любимого, не нужен. И ему, кроме себя и собственных желаний, ничего не нужно. Именно нескончаемые потуги взаимоупотребления и грызню, которая на заре цивилизации породила как средство взаимозащиты людей друг от друга мораль, — в правовых обществах регулируют неподъемные своды законов и величавые судьбы. Ладно бы уж, скажем, с дележом наследства или грабежом каким, но чтобы разведенные супруги не сами решали, кому из них сколько времени проводить с детьми, а исключительно через адвокатов!.. Плевать, кто к кому там больше привязан, кто кого больше любит; чей адвокат говорливее — тот и получит лишний вторничек...¹ Это могло произрасти только из молчаливой, спокойной констатации того, что все, скорее всего, сволочи, и это нормально, и каждый обязательно будет тянуть одеяло на себя, и по рукам ему, по рукам!

Конечно, ежели данные конкретные люди и впрямь оказались стопроцентными эгоистами, лучшего способа общаться, как через адвокатов, им не найти. Но тогда верно и обратное — способ общения через адвокатов создан только для стопроцентных эгоистов.

Говоря менее образно и менее эмоционально, юридической механике место лишь там, где люди оказались не способны сами по себе быть людьми. Механика эта — как медицина, когда организм не в силах справиться с заразой сам. Как скальпель. Как протез. Если у человека нет ноги, протез ему безусловно необходим; грех оставлять его без протеза. Но для начала все ж таки надлежит до последней крайности лечить хоть и больную, но свою, живую, ногу...

Древние китайцы считали, что их общество исстари управлялось исключительно моралью, а законы и наказания за их несоблюдение измыслили варвары, которые в сердце своем не знали, что плохо и хорошо, достойно и недостойно. И лишь потом, когда люди стали перемешиваться, а нравы испортились, пришлось прибегнуть к варварской методике.

Чуток осовременим терминологию — и видно, что все так и было, и не только в Китае. Но если прав Гегель со своим отрицанием отрицания, то... Пора, пора, друзья мои престелные, лечить ноги! Нам на них ходить!

И наконец. Имперский Китай несколько веков назад уперся в своем развитии в некую, как бы вот-вот готовую податься, глухую резиновую стену, прорвать которую, кажется, удастся только сейчас. На мой взгляд, одной из причин этого все еще довольно загадочного феномена истории является то, что в долгосрочном аспекте попытки сделать уголовное право по возможности моральным, то есть подкрепить нормы морали угрозой уголовного наказания за их несоблюдение, представляют собою столь же тупиковый путь, сколь и попытки сделать право целиком аморальным.

Он в той же самой степени означает, что «добродетельное» и «умное» (если вновь воспользоваться приводившейся в начале цитатой из Шан Яна) меньшинство населения ставится государством на одну доску с преступным меньшинством и наравне с ним лишается возможности реализовывать специфику своего сознания в поведении. В демократических государствах оба меньшинства жиденько, но более или менее равномерно растворены по всему обществу. В тоталитарных государствах, увы, преступность действительно всегда ниже, чем в демократических, — но оттого только, что преступники концентрируются в государственных структурах и

¹ Точь-в-точь как в танском Китае: плевать, к кому я больше привязан, к дяде по отцу или к двоюродному дяде по материнской линии: за донос на первого два года строгого режима, за донос на второго — каких-то жалких восемьдесят палок по мягким частям...

совершают свои гоп-стопы, наезды и разборки под видом государственной политики, перегибов на местах, головокружений от успехов и борьбы с оппортунистами или низшими расами — вовлекая в перестрелки столько ни в чем не повинных людей, сколько никакая мафия, крошащая конкурентов на переполненных рынках, и за двести лет не сможет. Но зато и «добродетельные», а также «умные» концентрируются тоже в строго определенных местах — и отнюдь не в столицах, а, как поэтично говорили в утонченном Китае, среди «гор и вод». Тоталитаризм может вырасти и из морали, а не только из аморальности, вот в чем дело!

Панацеи нет.

Правовое общество в условиях, когда право находится в руках дельных прагматиков с их «На все готов!», а утрюмых моралистов к закону и на пушечный выстрел не подпускают, и потому закон в буквальном смысле превращается в дышло (куда повернул — туда и вышло) — такое правовое общество есть царство воров в законе.

Общество, где царствует этика, превращенная из руководства к действию в каменную догму, — есть ад, где всем эмоциям, всем страстям придан четкий и регламентированный вид ритуала, а потому все реальные страсти приобретают подпольный, нелегальный и, следовательно, малочеловеческий по сути и по форме характер.

Формально общества этих двух типов выглядят очень по-разному, но копни поглубже — одни и те же джунгли. Из всех темных углов только и слышится: «Ам! Ам! Ам!» И количество темных углов стремительно растет, потому что углы эти необходимы всем, кто хочет кушать.

Только правовая ситуация, при которой, если поступок человека не посягает на жизнь, здоровье и имущество других людей, никто не может заранее сказать, правилен он или нет, и критерием его правильности служат не санкции карательных органов или тяжеловооруженных коммерческих структур, а исключительно реальные межчеловеческие последствия, — только такая ситуация выводит человека, а следовательно, и общество за пределы биполярной системы этической ли, прагматической ли дрессировки. А лишь за ними, за этими пределами, и удается иногда осторожными шажочками нащупать тропинку в будущее.

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

ЛЮДМИЛА ВОЛЬФЦУН

АМАТА МЕА

Сколько уже сказано, написано о ценности человеческой жизни, о ее уникальности, неповторимости. И в то же время судьба каждого человека — это частица истории, из этих частиц история и сплетается. Но как тонка нить человеческой жизни, как непрочна! Она зависит от болезней, от случайностей, от катастроф. Самой же страшной катастрофой является неограниченная власть, оказавшаяся в руках невежественных и жестоких людей, способных погубить тысячи и тысячи жизней. В сущности, почти вся история человечества построена на крови, на страданиях, на стремлении каких-то сил сломить волю тех, кто им сопротивляется.

Что можно противопоставить безжалостной силе? Наверное, только любовь, верность и преданность своим идеалам. Именно этому и посвящен наш рассказ. Рассказ об обычной женщине Людмиле Фаддеевне Бенешевич, жене и матери. Она не была заметной фигурой, не блистала в обществе, но ей была дана Любовь. И она до самого дна испила самую горькую в мире чашу.

Амата — возлюбленная, так нарекли при рождении дочь одного из самых ярких профессоров Петербургского университета Фаддея Францевича Зелинского¹. Давая имена своим детям — Вероника, Феликс, Адриан, — он желал им счастья, любви, силы и веры и вряд ли предполагал, как жестоко со всеми ними обойдется судьба.

Амата-Людмила родилась в Петербурге на исходе 1888 г. В апреле 1889 г. ее крестили в римско-католической приходской церкви Св. Екатерины. Первоначальное образование девочка вместе со своим старшим братом Феликсом и сестрой Вероникой получила дома. Романтическая атмосфера, окружавшая молодого пана Тадеуша Зелинского, наполняла собою весь дом. Зелинский был необычным человеком. Блестящий ученик прославленного немецкого ученого филолога-классика Отто Риббека, он дышал античностью. Для него античная культура была той реальностью, в которой он жил. Знание древних языков не представлялось для него самоцелью, оно было лишь средством, необходимым инструментом для познания.

С самых ранних лет дети впитывали в себя сказания и мифы древнего мира, привыкали к звучанию стихов Гомера. Они изучали латинский и греческий, читали античных поэтов. Дома ставились любительские спектакли, к которым специально шились костюмы. Привычными стали польский и немецкий языки, которые были родными для Тадеуша Зелинского и его жены, уроженки Нарвы, Люции.

В возрасте 10 лет Амата-Людмила поступила в гимназию при училище евангелическо-лютеранской церкви Св. Анны, знаменитую Анненшуле. Закончив в 1905 г. первой ученицей эту гимназию, славившуюся высоким уровнем преподавания, она приобрела великолепное знание языков, особенно немецкого, и навыки в стенографии. Осенью того же года Амата сдала экзамены на право быть домашней учительницей.

После окончания гимназии Амата-Людмила поступила в музыкальную школу профессора И. А. Боровки, а в следующем 1906 г. — на классическое отделение

Все биографические сведения взяты из архивных дел Петербургского филиала Архива Российской Академии наук, Архива Российской Национальной библиотеки и Архива Педиатрического института.

Людмила Борисовна Вольфцун — историк, медиевист. Живет в С.-Петербурге.

© Людмила Вольфцун, 1997.

историко-филологического факультета Высших Женских (Бестужевских) курсов. Летом 1907 г., путешествуя с отцом по Греции и Синайскому полуострову, она познакомилась с его коллегой, приват-доцентом Петербургского университета, экстраординарным профессором Духовной Академии, историком-византинистом Владимиром Николаевичем Бенешевичем. В. Н. Бенешевич, бывший на 15 лет старше Аматы, был уже известным ученым, знатоком церковного права и выдающимся палеографом. К этому времени он обследовал многие архивы Болгарии, Греции, западной и южной Европы, стран Малой Азии и Ближнего Востока, был допущен к монастырским собраниям. В нем не было того артистизма, той легкости общения, которые отличали Ф. Ф. Зелинского, но зато были надежность, верность и преданность.

В мае 1909 г. они поженились и поселились в квартире на Биржевой линии. Их семейное счастье было полным, и его не омрачали даже такие неприятности, как увольнение Владимира Николаевича из Духовной Академии². Самым главным для них было их чувство, сознание того, что они вместе и навсегда. Уезжая, даже ненадолго, Владимир Николаевич писал жене письма, исполненные такой любви, нежности и страсти, которых трудно было бы ожидать от этого сурового на вид человека. Через год родился сын Никита, а в декабре 1911 г. — близнецы Дмитрий и Георгий. Учебу на Бестужевских курсах пришлось оставить, а музыкальную школу удалось закончить, причем успешно, по классу фортепиано. Маленькие дети и семейные обязанности отнимали почти все время, но Людмила Фаддеевна помогала мужу в его работе — переводила, конспектировала, стенографировала.

Испытания начались после Октябрьской революции. Зимой 1917/1918 г. Владимир Николаевич почти все время находился в Москве, где тогда проходил церковный собор. Он был избран одним из секретарей и вел издание протоколов собора³. Людмила Фаддеевна, оставшаяся в Петрограде, изо всех сил боролась с надвигающимся голодом и летом 1918 г. решила поехать с детьми в «хлебные места» в Тамбовской губернии. Там старший сын Никита заразился дизентерией и умер. Владимир Николаевич прорвался к семье, но сам заболел сыпным тифом и чудом выжил.

Весной 1919 г. Бенешевичи вернулись в Петроград и поселились у Зелинских. Через год Людмила Фаддеевна поступила на работу учительницей и воспитательницей в детскую колонию и школу «Замостье», где проработала до ее закрытия. К этому времени Владимир Николаевич поступил на службу в Академию материальной культуры, и семья переехала в одну из служебных квартир.

В 1922 г. Владимир Николаевич был арестован по «делу церковников». Сопротивление изъятию церковных ценностей, в котором он принимал участие, на этот раз не повлекло за собой суровой кары. После окончания следствия он был отпущен.

Годом раньше, вместе с дочерью Вероникой, покинул Россию отец Людмилы Фаддеевны. Он уговоривал Бенешевичей поехать вместе с ним, но они не решились — надеялись на перемены к лучшему.

С 1925 г. Владимир Николаевич связал свою судьбу с Публичной библиотекой, которую в то время возглавлял его давний друг Николай Яковлевич Марр. С 1928 г. и до осени 1937 г. В. Н. Бенешевич был ученым хранителем греческих рукописей.

По мере того как дети подрастали, Людмила Фаддеевна, занимавшаяся переводами на дому, стала думать о приобретении специальности. В 1926 г. она поступила на Высшие курсы библиотековедения при Публичной библиотеке. Однако длительная болезнь сына Георгия⁴, домашние заботы и хлопоты отвлекали ее от учебы и она несколько раз вынуждена была просить о переносе зачетов.

Летом 1927 г. Владимир Николаевич, к тому времени член-корреспондент АН СССР, ученый секретарь Русско-Византийской комиссии, член Баварской, Берлинской и Страсбургской Академий, побывал по заданию Академии Наук и Публичной библиотеки в заграничной командировке — в Германии и Франции, в Италии и в Ватикане. Он навестил город своей юности Вильно, две недели провел у своего тестя в Варшаве, работал в библиотеках Берлина, Лейпцига, Мюнхена, Парижа, Рима. Он был допущен к работе в Ватиканской библиотеке, богатейшем и труднодоступном хранилище уникальных рукописей. Общение с коллегами, новые знакомства и возможности вдохнули в него энергию и надежду. Перед отъездом в Россию он получил предложение от Баварской и Прусской АН напечатать его большой труд об Иоанне Схоластике⁵.

Зима 1927/1928 гг. прошла в трудах, а летом Бенешевичи позволили себе роскошь — провести вместе лето.

В ноябре 1928 г. Владимир Николаевич был арестован. На этот раз вспомнилось и «дело церковников», и участие в якобы контрреволюционной организации «Евразийцы»⁶. В. Н. Бенешевич был объявлен агентом Ватикана, польской и немецкой разведки. По заключению чекистов, он все шпионские сведения под видом научных статей отправлял в немецкий журнал «Византийская хроника». Для своей преступной деятельности он привлекал родных — брата Дмитрия, горного инженера, технического директора Днепропетровского НИИ черной металлургии, сыновей Георгия и Дмитрия и жену. По статье 58-11 В. Н. Бенешевич был сослан в концлагерь на Соловки на 3 года⁷.

Оставшись одна, живя в постоянном нервном напряжении, Людмила Фаддеевна обратилась к руководству курсов с просьбой дать очередную отсрочку для окончания курсов. Добывание средств — переводы, уроки, печатание на машинке — и домашняя работа не оставляли времени для учебы.

С лета 1929 г. она стала работать научно-техническим сотрудником в V филиале Публичной библиотеки — Доме Плеханова, разбирала архив А. А. Дмитриевского, который позже описал Владимир Николаевич, а также занималась инвентаризацией и каталогизацией книг. 18 апреля 1930 г. она была арестована в собственной квартире как член подпольной контрреволюционной организации⁸, а на следующий день уволена из библиотеки по сокращению штатов. Людмилу Фаддеевну несколько раз вызывали на допросы, где расспрашивали о зарубежных связях мужа. Не добывшись от нее полезных сведений, ее освободили 14 июля, взяв подписку о невыезде. К этому времени Владимир Николаевич был возвращен в Ленинград и привлечен по «делу Академии» в качестве одного из главных действующих лиц. В подготовленном органами НКВД политическом процессе о заговоре интеллигенции против существующего режима с целью восстановления монархии Бенешевичу отводилась роль претендента на пост министра вероисповеданий в правительстве, возглавляемом академиком С. Ф. Платоновым. Его фигура очень удачно вписывалась в сценарий: связи за рубежом, большой авторитет в научных и церковных кругах, «компрометирующие знакомства». По приговору Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 г. Владимир Николаевич был осужден к 5 годам в Ухта-Печорский лагерь. По этому же делу привлекли и его брата Дмитрия Николаевича и приговорили к высылке в отдаленные места СССР сроком на 5 лет. Сыновья были также высланы из Ленинграда⁹. Людмилу Фаддеевну вызывали как свидетельницу, однако она тоже была задержана, обвинена в антисоветской и религиозной пропаганде, в активном содействии своему мужу и осуждена по ст. 58-11 на 5 лет в Беломоро-Балтийский исправительно-трудовой лагерь с конфискацией имущества¹⁰.

Беломоро-Балтийскому лагерю предстояло большое строительство, и ему требовались не только руки, но и головы. Знание языков очень помогло Людмиле Фаддеевне — ее направили в Центральную техническую библиотеку Общих ЛАГ ОГПУ в Вегеракше библиотекарем-переводчиком. В ее архиве сохранилась книжка ударника I отделения УСЛАГ — ОГПУ, на которой в качестве девиза была помещена цитата Сталина: «Труд в СССР есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!»

Для плановых культурно-массовых мероприятий в лагере пригодились музыкальные способности Людмилы Фаддеевны. С июля 1931 г. она стала работать «в качестве пианистки, аккомпаниатора самодеятельного ансамбля, киноиллюстратора». У персонала лагеря были дети, и родители хотели, чтобы их дети умели играть. Людмила Фаддеевна стала вести уроки музыки.

В 1933 г. в разоренный дом вернулся В. Н. Бенешевич. Во время конфискации имущества были не только изъяты материальные ценности, но испорчены и уничтожены плоды его многолетней работы — копии рукописей, сделанные в различных архивах, наброски работ. Резко повзрослевшие сыновья рассказали ему о невозможности учиться, о своих работах. А сделано было ими за эти годы удивительно много. Творческое начало, унаследованное и по отцовской, и по материнской линии, проявилось чрезвычайно разнообразно. Георгий в 1931/32 гг. участвовал в экспедиции на Крайнем Севере по исследованию пастбищ северных оленей, работал препаратором на станции защиты растений, за это время он написал более 10 работ по геоботанике. В 1931 г. отправил в Университет письмо с просьбой разрешить учиться заочно. Дмитрий же проявил незаурядные способности в области теоретической физики, электродинамики и электротехники. Две его работы, написанные в соавторстве с В. К. Фредериксом и Г. П. Михайловым, были опубликованы в журнале «Доклады АН СССР» за 1935 г.

Сразу же по возвращении Владимир Николаевич начал хлопоты о смягчении участи жены. Он добился личного свидания, которое состоялось в апреле 1933 г. в Медвежьей Горе. Времени, отпущенного на свидание с мужем, было так мало, что Людмила Фаддеевна обратилась к начальнику лагеря с просьбой продлить его еще на 5 суток, т.к. за столь долгую разлуку «мне никак не наговориться» с ним. Свидание продлили.

Еще раньше за Людмилу Фаддеевну ходатайствовал В. Д. Бонч-Бруевич, который просил ускорить ее освобождение и дать возможность жить в Ленинграде. В феврале 1934 г. она была досрочно освобождена и вернулась домой. Вновь они все собрались под одной крышей — Людмила Фаддеевна, Владимир Николаевич, сыновья Дмитрий и Георгий и близкий им родной человек Дмитрий Николаевич Бенешевич, деливший с ними не только кров, но и судьбу. Они не знали своего будущего. Им было отпущено три года.

В. Н. Бенешевич и Ф. Ф. Зелинский одновременно предприняли усилия для выезда Людмилы Фаддеевны в Польшу. Все заботы взяла на себя уполномоченная Политического Красного Креста в СССР Екатерина Пешкова. Весной 1934 г. было получено разрешение на въезд в Польшу, а на выезд из СССР нет. Людмила Фаддеевна просила ускорить выдачу документов, т.к. срок визы истекает. Старый Фаддей Францевич одну за другой слал телеграммы: «Когда выезд Ждем Беспоконимся». Но, видимо, было не суждено — поездка в Польшу не состоялась.

Нужно было как-то налаживать жизнь, поправлять здоровье. Сыновья учились и работали. В 1936 г. они закончили физический факультет Ленинградского университета. Владимир Николаевич возобновил преподавание в Университете (с 1935 г. история Византии была вновь после 20-х гг. введена как элемент исторического образования) и вернулся к работе в ГПБ. Людмила Фаддеевна устроилась регистратором в поликлинику неподалеку от дома и продолжала помогать мужу в его работе.

А в мае 1937 г. (!) в Мюнхене вышел I том издания «Synagoge», подготовленный В. Н. Бенешевичем. По одному экземпляру ученый подарил Университету и Академии Наук и получил в ответ благодарственные слова.

5 сентября 1937 г. были арестованы сыновья Дмитрий и Георгий, 16 сентября Дмитрий Николаевич. 10 октября на заседании кафедры средних веков ЛГУ Бенешевич был отстранен от профессоры, 26 октября в «Известиях» появилась заметка о предательстве ученого, издавшего труд в фашистской Германии. В ноябре Бенешевич был арестован. Коллегия ОГПУ приговорила всех к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение. В октябре, меньше чем через месяц после ареста, был расстрелян сын Дмитрий, в декабре — Георгий, в январе 1938 г. Владимир Николаевич и в марте его брат Дмитрий.

Людмила Фаддеевна, ничего не зная о судьбе своих близких, начала поиски и хлопоты. Она писала в управление лагерей, в прокуратуру, депутатам Верховного Совета. Вот выдержки из одного такого письма.

«В ноябре прошлого года органами НКВД арестован муж мой профессор Бенешевич Владимир Николаевич и 2 месяца спустя выслан в Дальневосточный лагерь; мне не сказали, куда именно и на какой срок. Так как аресту его предшествовала заметка в «Известиях», в которой сообщалось о напечатании им в издании Баварской АН ученого труда «Синагога Иоанна Схластик», то ясно, что это именно и послужило причиной его ареста и ссылки <...>

Профессор Бенешевич — старый ученый редкой у нас специальности, историк-византист. Его 40-летняя научная деятельность давно нашла признание. В 1924 г. наша Академия Наук избрала его своим членом-корреспондентом, кроме того, он состоит членом целого ряда иностранных академий и ученых обществ. Можно со всей объективностью назвать его европейским ученым...»

Дальше Людмила Фаддеевна рассказывала об истории создания этой книги, об огромном и кропотливом труде, проделанном В. Н. Бенешевичем и закончившемся злосчастным изданием (за невозможностью издать на родине).

Странно, но, видимо, ни сам Бенешевич, ни Фаддей Зелинский, гражданин мира, каковым он себя считал, не понимали, что наука в обществе, насквозь пропитанном враждой, ненавистью, подозрительностью и страхом, не обладает роскошной привилегией быть просто наукой, занятием, объединяющим людей, увлеченных одним делом. Наука, а в особенности историческая, становится заложницей политических интересов. И не только в России. Откуда такой идеализм? Что это — нежелание считаться со страшной реальностью или форма протеста? Понятно естественное желание увидеть изданным труд многих лет, но мог ли предполагать

Бенешевич, что эта книга станет его могильным камнем? Мне кажется, он не думал об этом. Он не умел лавировать, он был просто честным человеком. Арест сыновей потряс его, и тогда он сломался. Он подал в дирекцию прошение об увольнении, писал, что болен, бросает научную работу и уедет из Ленинграда. Но было уже поздно... Страшная, трагическая судьба.

Людмила Фаддеевна полностью поддерживала мужа. Его помощница, участница его работ, она как никто другой знала цену этого труда. Продолжая свое письмо, она писала:

«За что должен погибнуть Бенешевич? Другого слова употребить нельзя. Бенешевичу уже 64 года. С лета 1937 г. он болен хронической болезнью печени, подвержен мучительным припадкам. Незадолго до приезда он 1/2 месяца провел в больнице, во время предварительного заключения частично лежал в лазарете — страшно подумать, что он претерпел во время этапа, что он терпит сейчас! А между тем при сносных условиях, при моем уходе он, наверное, мог бы еще жить и научно работать. В области истории Византии Бенешевич является в СССР единственным крупным специалистом. Не мне, конечно, об этом судить, но я основываюсь на мнении его коллег. Профессор Бенешевич — убежденный советский гражданин, искренне преданный интересам советского государства, глубоко ненавидящий фашизм и его антикультурную сущность. За что его губить?»

Я убедительно прошу вникнуть в мои доводы, пересмотреть это дело, выявить допущенный чудовищный (слово «чудовищный» зачеркнуто. — Л. В.) перегиб и исправить его, т.е. вернуть ученого из ссылки, реабилитировать его и, после основательного восстановления его здоровья, дать ему возможность снова вернуться к научной работе на славу советской науки».

Это письмо было написано 10 февраля 1938 г. Уже месяц, как В. Н. Бенешевич был расстрелян.

Не предполагала Людмила Фаддеевна и того, какой жестокой каре будут подвергнуты ее сыновья. Она боролась за мужа и сыновей как могла: она не просила — она требовала справедливости. Людмила Фаддеевна отправляла запросы, писала вновь и вновь, обращалась во все возможные инстанции. Не получив никаких вразумительных сведений, она в январе 1939 г. обратилась с заявлением к Верховному прокурору СССР:

«5 сентября 1937 г. органами НКВД арестованы оба мои сына — Бенешевич Дмитрий Владимирович и Бенешевич Георгий Владимирович. Ордер был только на сына Дмитрия, но в результате телефонных переговоров забран был и Георгий. Оба они в ноябре и декабре высланы в Дальневосточные лагеря, имущество их конфисковано. Ни одного письма от них я не имею, на мои запросы об их местонахождении толкового ответа не получаю.

Не могу себе представить, что можно было поставить им в вину <...>

Оба они по своей специальности физики. Сын Георгий несколько лет работал в Гос. Радиевом институте и принимал непосредственное участие в работах над дроблением атомного ядра. За достигнутые успехи он был премирован, имя его неоднократно упоминалось в печати.

Сын Дмитрий работал в области молекулярной физики, имеет ряд печатных работ. Кроме того, у него значительные достижения в области наращивания кристаллов, в частности, сегнетовой соли, имеющей важное значение в промышленности.

Оба они — молодые ученые, полные инициативы и энтузиазма. Оба полноценные советские граждане, проникнутые советской идеологией. Ни на какие антисоветские помыслы и поступки они неспособны. Их арест и ссылка могли быть только результатом оговора, результатом перегиба.

Я прошу пересмотреть их дело и вернуть мне моих ни в чем не виноватых сыновей».

Ответа не последовало.

В апреле 1940 г. Людмила Фаддеевна перешла на работу в библиотеку Педиатрического института. Через год она написала письмо А. А. Жданову с просьбой поддержать ее ходатайство перед НКВД о разрешении взять на поруки своего мужа. Через несколько дней она получила неофициальное устное уведомление, что приговор в отношении В. Н. Бенешевича — 10 лет концлагерей без права переписки с конфискацией имущества.

Началась война. Людмила Фаддеевна осталась в Ленинграде. Всю войну она работала в библиотеке по разборке и описанию иностранного фонда, с 1942 г. начала вести занятия латинского языка. С августа 1947 г. была зачислена преподавателем на кафедру латинского языка. Однако летом 1951 г. Педиатрический инсти-

тут получил циркуляр о том, что преподавание студентам возможно лишь при наличии диплома о высшем образовании. Никаких исключений. Несмотря на великолепное знание латинского и целого ряда новых языков (немецкий, французский, английский, итальянский, польский), Людмила Фаддеевна была отстранена от преподавательской работы. Будучи совершенно одиноким, пожилым, не имеющим пенсии человеком, она оказалась на грани нищеты, не говоря уже об унижительности ее положения. В этой тяжелой ситуации ей помог академик Е. В. Тарле. Он написал о Людмиле Фаддеевне ректору института: «Ее не только я, но очень многие в среде нашей Академии горячо порекомендуют Вам как человека, давно снискавшего себе глубочайшее почтение своими разносторонними филологическими познаниями, своей добросовестностью, своими высокими интеллектуальными и моральными качествами».

По ходатайству трижды лауреата Сталинской премии 1 степени, с 1 сентября 1951 г. она была переведена на должность ст. лаборанта кафедры иностранных языков. Людмила Фаддеевна стала вести делопроизводство кафедры, распечатывать на машинке учебные тексты и материалы, давать консультации студентам. Неофициально, но с разрешения зав. кафедрой, прекрасно понимавшего высочайший уровень знаний Л. Ф. Бенешевич, вела занятия по иностранным языкам со студентами; консультировала профессоров, ассистентов, врачей по переводу специальной литературы на английском, немецком, французском и латинском языках, выполняла переводы.

Все эти годы Людмила Фаддеевна продолжала поиски мужа и сыновей, пока ей не выдали справку, что все они умерли от разных болезней в 1942—1943 гг. в разных местах. Потеряв надежду на встречу со своими близкими, она стала бороться за восстановление их доброго имени. В 1955 г. она подала заявление на имя Председателя Президиума Верховного Совета К. Е. Ворошилова о пересмотре дела В. Н. Бенешевича. В заявлении она писала: «Моего мужа давно нет в живых. Но и посмертная реабилитация его мне чрезвычайно дорога и важна, поэтому прошу пересмотреть дело и о результатах мне сообщить». Ответа не было, пришло лишь уведомление, что заявление направлено военному прокурору Ленинградского военного округа. На письмо Людмилы Фаддеевны военному прокурору пришло очередное извещение, что заявление вместе с делом направлено в Главную военную прокуратуру. Это был уже 1958 г. Весной, почти одновременно, Людмила Фаддеевна получила два письма: одно от прокурора Ленобласти по спецделам, а второе от прокурора г. Ленинграда. В обоих письмах говорилось, что В. Н. Бенешевич осужден правильно за контрреволюционные преступления и что дело его пересмотру не подлежит. А осенью она получила справки, что Военным трибуналом ЛВО от 30 августа 1958 г. дела в отношении лиц Бенешевича В. Н., Бенешевича Д. В., Бенешевича Г. В. и Бенешевича Д. Н. пересмотрены и постановления в отношении этих лиц и дела прекращены ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Последние годы Людмила Фаддеевна жила одна в комнате коммунальной квартиры по Гагаринской (Фурманова) ул., 1-5. Она приводела в порядок оставшиеся бумаги, составила библиографию трудов В. Н. Бенешевича, подготовила к передаче в Академию наук архив. У нее была большая переписка. Она получила денежную компенсацию за посмертно реабилитированного мужа в размере двух профессорских окладов, ей выплачивалась пенсия.

После XXII съезда КПСС, когда Н. С. Хрущевым вторично был осужден культ личности Сталина и произнесены слова о тысячах безвинно загубленных жизней, Людмила Фаддеевна решила повидать брата, живущего в Германии. Несколько раз она подавала документы, но каждый раз получала отказ. Отчаявшись, она обратилась к Н. С. Хрущеву, и первый раз в жизни эта сильная духом женщина позволила себе в письме к официальному лицу поделиться своим горем. Она писала не первому секретарю, а человеку, которому она поверила.

«Глубокоуважаемый Никита Сергеевич. Обращаюсь к Вам с горячей просьбой: помогите мне повидаться с моим братом Зелинским Феликсом Фаддеевичем, проживающим с 1922 г. в Баварии, ФРГ, сельской местности близ Мюнхена. Мы с ним не виделись более 40 лет.

Горя, выпавшего на мою долю, хватило бы на несколько жизней. В 1937 г. были арестованы и посланы мой муж Бенешевич Владимир Николаевич (профессор Лен. Университета, член-корреспондент АН СССР, историк) и оба молодых сына Бене-

шевич Георгий и Дмитрий Владимировичи (начинающие научные работники в области физики).

Никто из них не вернулся. По полученным в 1958 г. официальным справкам, все они умерли от разных болезней в 1943—44 гг. Все трое посмертно реабилитированы. Я лишилась всей своей семьи. Судите сами о моем неизбывном горе, о моем одиночестве.

Я не жалею о материальном положении. Я все время работала (преподаватель ин. языков вуза), теперь уже 6 лет живу на пенсии. Но около меня нет ни мужа, ни сыновей, ни внуков, вообще ни одного кровно близкого человека. Мой брат усиленно приглашает меня приехать к нему погостить. О его приезде ко мне не может быть речи, т.к. у него большая жена, которую он не может ни взять с собой, ни оставить. Он мне уже три раза присылал официальные приглашения, я подавала все нужные документы, заполняла анкеты и получала отказ. Вот и недавно, в декабре с. г. мне опять объявлен безжалостный отказ. Мы с братом люди весьма преклонного возраста: ему уже 77 лет, мне 75-й. Для наших лет у нас крепкое здоровье, но ясно, что жить нам осталось немного. И неужели мне, пережившей столько тяжелого горя, суждено и впредь, до конца жизни получать удары, а каждый отказ в поездке к брату для меня удар. Ведь мое желание так человечески-понятно и, в сущности, так скромно: поехать на несколько месяцев к единственному брату и вернуться домой доживать. Брат в своих приглашениях берет на оплату мою поездку туда и обратно, он узнал в Мюнхенском рейзбюро, что он может там оплатить полет Ленинград—Хельсинки—Мюнхен, а билет мне будет вручен здесь, но я и сама в состоянии уплатить за поездку самолетом или поездом.

Моих самых близких людей вернуть к жизни невозможно, но осуществить свидание с братом вполне возможно. Вот я и прошу Вас, глубокоуважаемый Никита Сергеевич, помогите мне, скажите в соответствующей инстанции свое веское слово, дайте нам с братом еще раз перед смертью повидаться!»

Повидаться с братом Людмиле Фаддеевне так и не удалось. Она скончалась 3 февраля 1967 г.

¹ Ф. Ф. Зелинский (1859—1944). В 1880 г. получил степень доктора философии, в 1883 г. защитил магистерскую диссертацию «О синтагмах в древнегреческой комедии». Работал в Лейпциге, Мюнхене, Вене. С 1885 г. профессор Петербургского университета, с 1922 — Варшавского.

² Причиной увольнения В. Н. Бенешевича из Духовной Академии стала его женитьба на католичке.

³ Арх. РНБ. Ф. 10/1, личное дело В. Н. Бенешевича. Л.9.

⁴ Переболел гриппом, Георгий получил тяжелое осложнение — воспаление оболочки спинного мозга, от которого полностью не смог оправиться. Арх. РНБ. Ф. 16. Копия сл. д. П 82333, л.272.

⁵ Иоанн Схоластик (VI в.) — с 564 г. константинопольский патриарх. В 1914 г. в СПб. В. Н. Бенешевич осуществил издание «Синагога в 50 титулах и другие юридические сборники Иоанна Схоластика». Synagoge в букв. переводе с греческого означает «собрание». В данном контексте имеется в виду издание церковных юридических текстов, собранных в VI в. Иоанном Схоластиком.

⁶ Евразийство — культурно-общественное и в меньшей мере политическое течение русской эмиграции 20—30-х годов. Признавало за Россией особый путь развития, обусловленный наличием в ее культуре восточных элементов.

⁷ Арх. РНБ. Ф. 10/1, личное дело В. Н. Бенешевича. Л.9—10.

⁸ Арх. РНБ. Ф.16. Копия сл. дела П82333, т.6. Л.260.

⁹ Арх. РНБ. Ф. 10/1, личное дело В. Н. Бенешевича. Лл.9—10 об.

¹⁰ Арх. РНБ. Ф.16. Копия сл. дела П 38323. Л.86—88; П 82333. Л.212, 213; «Академическое дело...» С.IX.

МЕМОУАРЫ XX ВЕКА

ДАНИИЛ ДАНИН

ДНЕВНИК ОДНОГО ГОДА, ИЛИ МОНОЛОГ-67

Было простейшее намерение:
попробовать начать и довести до конца.

Так в свое время, окончив одну долгую книгу («Резерфорд») и еще не приступив к другой (к «Нильсу Бору»), я решил, что неплохо бы заполнить вынужденную пустоту ежедневными записями — в надежде, что они могут сложиться в нечто мозаически целое.

Шло время. Иногда — возможно, от возраста — возникала маленькая тревога, что тетрадь Ежегодника, где я делал свои записи, затеряется и пропадет... Годами я забывал, где она, эта тетрадь, стоит на полке среди книг.

Вспомнилось еще, как в первые годы войны — на фронте — я уже писал похожий Дневник, а он пропал бесследно. Толстая студенческого типа тетрадь всегда была при мне, укрытая от стороннего любопытства в полевой сумке, да на беду я однажды оставил саму эту сумку в попутной полуторке, спрыгнув на нужном перекрестке.

Та потеря (впрочем, может быть, к счастью она приключилась — тексты там бывали не для чужого глаза) надолго отбила охоту к ведению Дневника. А сейчас — через десятилетия — как-то привиделась наяву исчезающая в пыли полуторка, и вот невольно захотелось уберечь от случайной прорухи этот нынешний Монолог-67.

Стоит ли он такой заботы? А бог его знает. Никогда и никому я его не показывал. И когда вспоминал о нем, втайне немного стыдился, что он будет кем-нибудь прочитан.

В нем есть естественная документальность. Стало быть, вовсе не дурно его сохранить. Вранья в нем нет. Может, когда-нибудь зачем-нибудь и пригодится, как всякий вполне человеческий документ. Мы ведь ничего не знаем о будущем...

Дважды я его перечитывал: в 1978-м и 1980-м. И кое-где сделал добавления, помеченные этими годами.

У того, кому случится читать этот Монолог-67, все-таки прошу прощения за докучливые слова и небрежные строки.

1 января 1967

Первый день года и вправду начинается для каждого в 00 часов 00 минут. Ты бодрствуешь. Ты трезв. Вокруг люди. Они говорят и ты говоришь. А так как в начале бе Слово, то вот и начинается новый год во вселенском говорении.

А что записать о минувшей ночи?

Был почти трехчасовой разговор в кабинете Сережи Ермолинского о Пикассо и Боре. Я рассказывал художнику и режиссеру Левану Шенгелия и его отзывчиво внемлющей жене идею-замысел возможной книги «Пикассо-Бор» или «Бор-

Даниил Семенович Данин (род. в 1914 г.) — прозаик, документалист, критик, автор книг «Неизбежность странного мира» (1961), «Резерфорд» (1966), «Нильс Бор» (1978), «Бремя стыда» (1996). Живет в Москве.

© Даниил Данин, 1997.

Пикассо» (одновременно). Глаза их излучали тайное понимание, и это заставляло выбалтываться неостановимо. Суть вот в чем: надо же, наконец, попробовать написать книгу об искусстве и науке, как об искусстве-науке — двуедином лике одной и той же сущности: культуры! Надо взглянуть на нее, как на мир Эйнштейна-Минковского* — как на неразделимое пространство-время. Не через «и» и не через «или», а через дефис! И взять для этого ярчайшее из обще-НЕпонятного: Пикассо и Бора...

Но это длинный разговор — не на три часа в новогоднюю ночь, а на годы...

2 января

Все не верится, что «Наука и жизнь» действительно напечатает Цветаеву. Когда они искали прозу для февральского номера, мне случилось сказать им: «Вы спятили — на кой черт вам Леблан! Есть прекрасная проза — МОЙ ПУШКИН Цветаевой. Да только вы не рискнете выложить вашему трехполовиной-миллионному читателю такой текст. А меж тем, это зачлось бы вам на том свете!»

Виктор Болховитинов**, обожавший Цветаеву-поэта, тотчас сказал: «Давай!» Рада Хрущева — поддержала. Игорь Логовский — тоже. Люсе Л. пришлось подать редакторское благоразумие. Дело завертелось: резерва времени у них, к счастью, не оставалось. И вот сегодня мне сообщили, что макет верстки с Мариной Цветаевой (и моей маленькой врубочкой о ее прозе) уже ушел в типографию!

Теперь одно — Главлит. Авось проскочит!

Удовлетворение странное, точно незаконно сделал что-то законное и обманно содеял добро.

Сила времени. Л. Л. «Мой Пушкин» не нравится. Однако воспротивиться — значит безнадежно пропасть в общественном мнении. Неофициальном, но самом могущественном общественном мнении единоутробных (во всем мире — единоутробных!) интеллигентов. И правильно! Это все равно, что засыпать дружка перед леговыми.

3 января

Ариадна Сергеевна Эфрон сказала, что под моей врубкой подписалась бы сама Марина Цветаева. Большой радости она мне доставить не могла бы (если только это правдиво сказалось, но не тот она человек, чтоб раздавать бесплатные похвалы!).

Господи, как трудно отделяться от себя в этих записях! Не надо нравиться себе... А для этого совершенно достаточно выпрыгнуть из себя. Вот как все просто! Прыгаю — и застаю себя в себе...

...Для справки достал с полки том Толстого. И нечаянно прочел:

«Рабство принижает людей до любви к нему» (мысль Вовенарга, выписанная Л. Н. Т.).

4 января

Л. Л. хочет выправить по правилам пунктуацию у Цветаевой. Бедные Ариадна Сергеевна и Аня Саакянц в ужасе. Конечно, это не пройдет. Но как бесправна единственность перед лицом безликой добропорядочности! И после смерти — даже всеискупающей — Цветаева все еще бесправна перед лицом литературной законности, всю жизнь ее попиравшей.

Однако, что уж ее жалеть! Она так наслаждалась в жизни своим попиранием правил, законов, обыкновений, что вообще-то говоря — она и литература никогда не будут квиты. Неотомщенной всегда будет оставаться литература! И она еще долго будет мстить Цветаевой.

Овадий Савич*** сказал маленькому внуку Александра Мацкина****: «А у тебя неправильные веснушки!» Мальчик подумал и возразил: «А вы не знаете правил веснушек...»

* Герман Минковский (1864—1909) — выдающийся математик, геометрически интерпретировал теорию относительности, введя время как четвертую координату мира.

** Виктор Николаевич Болховитинов — главный редактор журнала «Наука и жизнь», писатель.

*** Овадий Герцевич Савич — поэт, переводчик.

**** Александр Петрович Мацкин — литературный и театральный критик, эссеист.

5 января

Читаю дневники и записные книжки Эмика Казакевича.

Лучше бы не читать их! Теперь я вполне понимаю, отчего мы столько лет были в тайной внутренней размолвке. Мне, каким он знал меня в ополчении и после войны, и любил в пору «Звезды» и «Двоих в степи», он не захотел бы доверить того, что в 50-е и 60-е годы доверял бумаге! Может быть, он писал ЭТО нарочно — для злого постороннего глаза: «Глядите, вот каков я, праведник, наедине с собой!»? (Он ведь полагал, что пожарик в кабинете, однажды случившийся в его отсутствие, был подстроен органами, дабы просмотреть его бумаги.) То, что записывал он об интеллигенции, об искусстве и народе, о партийности и прочем — уму непостижимо! А возможно и другое: несчастная Галя-жена сейчас редактирует его — «для проходимости». К такому подозрению есть основания...

И, наконец, не случилось ли с ним по пророчеству Даниила: «Злобствующих против завета он привлечет к себе лестию... (гл. II)? Эмик жаждал лести, годами получал ее сполна, и в конце концов — был привлечен ею...

6 января

Главлит ходит с косою на плече. Пришел черед даже мне, вегетарианцу, это почувствовать.

Ну, а в самом деле, идет юбилейный год 50-летия революции: если позволить из 50 вычесть 30 лет Сталина и 10 лет Хрущева, то что же останется! Поэтому надо на время (?) разрешить из арифметических действий только сложение, а вычитание — не разрешать. И уж тем более — извлечение корня!

Уже сгорел в журнальной публикации финал моего «Резерфорда» — из-за позорной истории невозвращения Петра Леонидовича Капицы в 34-м году из отпуска в Кембридж! (Сталин не пустил.)

Но может быть, это лишь пена на губах? Пройдет припадок и наступит благоразумие? Потому что — где ж тут политическая выгода: оставлять поле для самых крайних слухов? Верх солипсизма — полагать, что нечто перестает существовать только оттого, что мы делаем вид, будто оно не существует. Ах, нет, братцы, пренебреженное вниманием быть продолжает, да еще становится — с точки зрения самой же власти — чем-то злокачественным. А потом запустившие болезнь еще и кричат: «Нужна срочная операция, мать вашу так!»

Да не так всё, не так...

7 января

Сегодня — 5 лет со дня несчастья с Львом Ландау.

И что же — рядом с ним, в сущности, нет никого, кроме жены Коры. Друзья, ученики, соглядатаи — где они теперь? Все, или почти все, ссылаются на невыносимый характер Кору — на ее тайное интриганство.

Но как они спасали его после той роковой автокатастрофы 1962 года — как верны были ему и себе — когда была надежда на его возвращение к прежней жизни! Отчего же им оказалось мало его возвращения просто к жизни? Они любили не столько его самого, сколько себя рядом с ним, учителем и первым среди них. Теперь он больше не учитель и не первый. И вот — их нет рядом. Быть с ним — уже только тягость.

А Кора — жена (какая ни на есть!) — у постели. Они говорят, что ею движут нечистые мотивы. Но чище ли мотивы безучастия и отсутствия? О чем бы ни думала она, ни гадала наедине с ним, вот уже четыре с половиной года ее жизнь — сплошное самоотречение. И в ее дльшей борьбе за Дау есть какое-то религиозное иступление. Я наблюдаю это — не очень часто, но необманно. (Может быть, дело в том, что за три с лишним десятилетия их сочиненного брака он впервые целиком и безраздельно принадлежит ей, а она его действительно любила и любит? Может быть, может быть, все вот так ясно и просто?)

Как бы то ни было, все это — две притчи, старые как мир. Притча о жене. И притча о Петре-ученике (не успеет петух прокричать...).

А меж тем время от времени я слышу предложения на прежний лад — делать фильм «Если парни всего мира...» Ах, парни, парни!

8 января

Верх невыразительности: «Повесть, написанная мелом на белой стене». Я взял да и сказал это Веньямину А. Каверину по телефону о его «Двойном порт-

рете». И только повесив трубку, обомлел — сообразил, как он должен был бы оскорбиться... Но, кажется, этого не произошло.

9 января

Пришла открытка — получить шестой том Канта. И в этот же час — без всякого видимого повода — я взял с полки Хлебникова. Прочел:

«Кант, хотевший определить границы человеческого разума, определил границы немецкого разума. Рассеянность ученого».

Это — в «Разговоре двух особ» — говорит 1-я особа. А 2-я особа не возражает. Вообще — тут не диалог, а монолог, разложенный на два голоса. 2-я особа говорит:

«Я тоскую по большому костру из книг... Если на груде тлеющих страниц случайно останется слово Кант, то кто-нибудь, знакомый с шотландским наречием, переведет это слово через «сапожник». Вот все, что останется от мыслителя».

Почти на уровне Гамлета, разве нет?

Нечаянные радости у книжной полки!

Так, может, не идти теперь за шестым томом?

10 января

Все думал о слове у Марины Цветаевой. И вдруг понял: в отличие от нас, улавливающих в слове его однозначную смысловую определенность и его многозначную поэтическую неопределенность, она видела в слове изваянную вещь — трехмерную и разноплановую. Она видела вещь, которую можно обойти со всех сторон — совершенно буквально: как скульптуру! Даже междометие бывало для нее изваянием:

...неодолимые возгласы плоти:
Ох!.. Эх!.. Ах!..

И, обходя слово-изваяние вокруг, она всего только рассказывала нам то, что видела. Слово меняло осанку, значение, звучание. Она, наклоняясь к нему, дабы лучше видеть, склоняла его по одной ей ведомым падежам. Оттого это ее богатство никому не могло быть завещано. Ее, цветаевских, падежей никто не знает. Это — не приемы, не мастерство, это — сама суть зрения и слуха поэта. И она, эта суть, жива, покуда жив — физически жив — поэт. И уходит вместе с ним.

11 января

Отлично сказано: в науке — мера, а в искусстве — чувство меры. Возможно, в этом все различие между ними.

12 января

Исправно работает сложнейшая кибернетическая машина, а ответы выдает неправильные. Все время и по каждому поводу — неправильные!.. И никто не догадывается, что просто она неправильно запрограммирована...

13 января

Туся Разумовская* прекрасно сказала о прекрасном художнике — Александре Тышлере:

— У него комплекс полноценности.

14 января

Вечером — разговор с Ленинградом. Леша Герман: «Дядя Д., приезжайте один. Или — с Юлей (Крелиным)». И через минуту: «В понедельник, может, будет уже поздно...» А сегодня — субботний вечер!

Есть люди, не рассчитанные на смерть. Среди окружающих — самый нерасчитанный Юрий Герман. И тем не менее — это конец.

* Софья Дмитриевна Разумовская (Туся, Ту, Т.) — литературный редактор, жена автора этого Дневника.

15 января. Утро.

Сегодня с Юлей Крелиным едем в Ленинград дневным поездом. Я все повторяю, как в «Смерти после полудня»*:

— Не дай ему умереть, Господи! Господи, не дай ему умереть!..
Сегодня он не умер: сегодня — воскресенье.

15 января. Ночь в Ленинграде.

К счастью (!), не оказалось билетов на дневной поезд. Нам пришлось лететь. Только поэтому не опоздали.

Мы с Ю. были последними на Марсовом поле, с кем Юра разговаривал (и целовался — на прощанье). Но не думаю, будто он знал, что умирает. Во всяком случае, не чувствовал, как близка смерть. Он понимал, что ему уже не выкрутиться, но часа не предощущал.

— Ребята, вы приходите утром пораньше, — сказал он в десять вечера, когда сил разговаривать у него уже не стало, и Нора с Мариной собрались сделать ему инъекции на ночь.

...Поразительно, как до конца он оставался самим собой. Первый вопрос его был: «Ну, как, выйдет нам послабление, а?» Потом принялся рассказывать анекдотическую историю про генерала, расстроенного «душевно-политической болезнью» своей жены. История была вроде доподлинной, поскольку этот генерал консультировал Сережу Антонова. Но вместе с тем была она совершенно в его, германовском, духе, и слышно было, как он отредактировал ее на свой лад... Трудным уходящим голосом он нагнетал «симптомы душевно-политической болезни» генеральской жены: про все на свете — даже самое святое для генерала — она стала говорить решительно — «говно!» («Ведь на что посягнула, — жаловался генерал, — про товарища Сталина и про того: говно и говно! Как же мне теперь лечить ее?») Рассказывал жадно и только сам уже не смеялся — не хватало сил.

Это была последняя рассказанная им история — миллионная история из его уст.

16 января

В пять утра Леша позвонил нам в номер Октябрьской гостиницы. Позвал Юлю, сказал, что сейчас заедет за ним... Я остался один. Болела почка. Заснуть уже не мог. В половине девятого раздался звонок Юли с Марсова поля: «Плохо дело, — сказал он. — Приезжайте».

В девять с минутами я зашел в буфет на этаже — выпить чего-нибудь горячего. Стояла небольшая очередь. Я покорно примкнул к хвосту. Потом в раздражении взглянул на часы — было 9.20. И в этот момент раздался крик буфетчицы из задней комнаты — из кухни: «Трубу прорвало!» И хлынул звук водопада. А я, думавший все об одном, сказал себе прямыми словами: «Это конец!»

Через полчаса, войдя в незапертую квартиру Германов, я услышал в коридоре: «Он умер в девять двадцать...»

...А накануне вечером, когда мы с Ю. К. перед сном заглянули в этот же буфет, я встретил там физиков-приятелей — Мусика Каганова из Харькова и Володю Грибова — ленинградца.

Когда-то Лаңдау говорил о В. Г.: «Это наш будущий теоретик № 1». Я спросил, как ему живется-работается... Вот его ответ:

— Червно. Мир пустеет. Раньше, когда хотелось, можно было поговорить с Дау и с Чуком. А теперь их обоих нет.

(Чук — академик Померанчук — умер совсем недавно от рака. А Дау, как Лаңдау, больше не существует, хоть он и жив.)

Мне все лезли в голову эти слова Грибова, когда, сидя на Марсовом поле, я думал, что вот и Юры больше нет, и Ленинград, как и мир, непоправимо опустеет. В Ленинграде — и в мире — нет уже ни «дяди Жени» (Шварца), ни Бориса Михайловича Эйхенбаума, ни Зощенко, ни Ахматовой... А теперь и Германа нет — человека-праздника, наинужнейшего всем нам из ленинградцев-друзей.

* «Смерть после полудня» — книга Эрнеста Хемингуэя.

22 января

Сегодня в споре Саша Мацкин мне крикнул:

— Вы просто оппортунист!

Неважно, о чем шла речь. Едва повисло в воздухе это слово, как забылся предмет наших пререканий, так удивительно оно прозвучало.

— Оппортунист? — переспросил я.

— Да! — повторил он. И сам рассмеялся.

Это слово, игравшее такую нескончаемую и ужасную роль в нашей предвоенной молодости, прозвучало теперь неправдоподобно, как внезапный удар колокола на давно замолкнувшей колокольне. (Звонят? Быть того не может!) Оно не показалось мне ни оскорбительным (как это случилось бы в моем раскаленном детстве пионера), ни опасным (как это случилось бы в моей комсомольской старательно запуганной юности). В нем слышалось только злое эхо, к счастью, отошедших времен.

Как многозначительно обветшание слов, выражающих целые эпохи! Слава богу, что стареют и уходят слова... Медленней уходят смыслы... Еще медленнее дела.

23 января

Юрий Герман делил окружающее человечество на две неравные части: к большей принадлежали те, кто с ощущением своей удивительной находчивости говорили ему при встрече — «Уж полночь близится, а Германа...»; к меньшей части — принадлежали те, кто удерживался от соблазна.

27 января

Надо бы описывать всё, происходящее в твоей жизни впервые. Еще не поздно! У жизни еще хватит запасов хитроумия на то, чтобы многое в ней происходило впервые.

28 января

Что-то побаливает внутри и мешает присесть за стол даже на четверть часа... Графоманы, наверное, тяжело здоровые люди.

29 января

Ник. Бердяев в своей книге о Константине Леонтьеве приводит его мысли — отягчающие не душу, но сознание (88-89):

«...Глупо так слепо верить, как нынче большинство людей, по-европейски воспитанных, в нечто невозможное, в конечное царство правды и блага на земле... Глупо и стыдно, даже людям уважающим реализм, верить в такую нереальную вещь, как счастье человечества, даже и приблизительное... Смешно служить такому идеалу, несообразному ни с опытом истории, ни даже со всеми законами и примерами естествознания. Органическая природа живет разнообразием, антагонизмом и борьбой; она в этом антагонизме обретает единство и гармонию, а не в плоском унисоне... Нелепая и мелкая мечта о земном благоденствии противоречит всему, — и эстетическим идеалам, и религиозным верованиям, и нравственным понятиям, и науке. Человеку нужен опыт, и он на опыте убедится, что «прогресс равномерного счастья» невозможен и что он лишь готовит почву для нового неравенства и новых страданий».

Мне раньше казалось, что Достоевский и Леонтьев заблуждались, видя трагедию социализма в достижении фратерните через эгалите*, тогда как истинная его трагедия в исторической неосуществимости равенства. Но последняя фраза, приведенная Бердяевым, заставляет думать, что Леонтьев именно это и предчувствовал.

И все равно — эти мысли античеловечны. Им недостает великодушия. Никаким достойным человека критерием истинности — тем более таким жалким, как опыт, никогда ничего не исчерпывающий, — этих идей обреченности на страдания оправдать нельзя.

* Братство через равенство (франц.).

(Прогресс, между прочим, будет заключаться в изменении человеческих представлений о счастье. Достоевский где-то сказал: «Истина есть истина». А что если это переменится?)

30 января

Прорезывается второй повод для просветительской гордыни: сегодня по моему настоянию прочитал «Наталью Гончарову» Цветаевой Юр. Ник. Коротков*. И без колебаний сказал, что дает ее в 6-м номере «Прометейя»! Ариадна Сергеевна не поверила, а я верю.

31 января

Сегодня прочел у Цветаевой:

«Как я, поэт, то есть человек сути вещей, могу обольститься формой? Обольщусь сутью, форма сама придет. И приходит. И не сомневаюсь, что будет приходить».

(«Поэт о критике». Янв. 26)

А у К. Леонтьева такое определение формы:

«Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбежаться».

В отличие от назначаемых искусству начальников и ото всех служащих, а не царствующих или бедствующих в нем, истинные художники никогда не понимали форму формально — как одежду мысли или переживания, которую можно сменить на другую. Форма так содержательна, что может изменяться только вместе с содержанием. (Между прочим, начальники хотят от новаторов другой формы как раз потому, что на самом деле хотят другого содержания.)

Круг просто перестает быть кругом, если подправляют, деформируя, округлость. И если вещь в искусстве поддается деформации, значит, она — не из разряда подлинного искусства.

1 февраля

«Душа пайщика»!

На кооперативном собрании Наташа Роскина** сказала:

— Когда до меня дошло это решение правления, у меня заболела моя душа пайщика.

...Хорошо было Эйнштейну — он-то мог себе позволить сказать, что не нужна ему никакая записная книжка, ибо мысли так редко приходят в его голову!.. Скажи это нормально-умный человек, и он показался бы позером без чувства юмора.

2 февраля

Пишу воспоминания о Татлине для «Прометейя». Так как я же и затеял публикацию целой подборки о нем, отступить уже поздно. Между тем написать о покойном Владимире Евграфовиче надо выразительно, а у меня «машинка падает из рук» — все никак не отойду от «Резерфорда».

Нельзя безнаказанно шесть лет смотреть, не отрываясь, в одни и те же окна, в одни и те же глаза. Это занятие для мноманов, отшельников, педантов, коллекционеров, героев, одержимых... А я — ни то, ни другое, ни пятое. И жены должны ревновать литераторов не к «другим женщинам», а к персонажам их длинных сочинений.

Интересно прикинуть, оглядываясь назад, кто из встреченных мною в жизни (хотя бы однажды или ненадолго) представлялся мне гением (снова — хотя бы однажды, хотя бы минутно). Мейерхольд... Пастернак... Андрей Белый... Мандельштам... Татлин... Ландау... Цветаева... Колмогоров... Тимофеев-Ресовский... Евг. Шварц... Эм. Гилельс... Шостакович... Виктор Шкловский... Як. Мильнер (спинозист, ныне, кажется, Иринин)... Ахматова... Зельдович... Эрнст Неизвестный... Арк. Белинков... Энвер Макаев (лингвист)... Возможно, вспомнились не все, но и так — не слишком ли много? А список еще не закрыт.

* Юрий Николаевич Коротков — заведующий редакцией ЖЗЛ в издательстве «Молодая гвардия», где выходил «Прометейя».

** Наталья Александровна Роскина — писательница, литературовед.

3 февраля

Карамзин о своей молодости:

«Я помню восторги, но не помню счастья».

...Пишу Татлина — медленно. Как всегда. И как всегда — время уходит не на писание, а на преодоление нерешительности.

4 февраля

Сегодня Таня Литвинова* рассказала мне по телефону одну историю про Татлина, которую ни она, ни я не захотим привести в своих воспоминаниях о нем.

...У Литвиновых на Спиридоновке (в огромном особняке Морозова) висели крылья татлиновского Летатлина. Когда в 37-м В. Е. попросили освободить мастерскую на колокольне Новодевичьего монастыря, мы с Мишей Литвиновым** на двух велосипедах перевезли эти крылья на Спиридоновку. Татлин был счастлив, что нашлось для них такое хорошее — надежное — «государственное!» — место. К слову сказать, ходила версия, — незадокументированная, но очень правдоподобная, — что выставили его с колокольни по соображениям государственной безопасности: оттуда, сверху, просматривался угол старого кладбища, где похоронена была Аллилуева, а на ее могилу нет-нет да и приезжал Сталин...

Это предыстория. А рассказала Таня вот что: когда пришел день литвиновской опалы, в доме раздавалось много звонков. Ближние и дальние иносказательно выражали свои чувства. Позвонил и Татлин.

— Ну как мои крылышки, не мешают?

«Я сразу сказала: — Владимир Евграфыч, вы можете взять их, когда захотите! И ты представляешь, он забрал их сразу!»

— Не может быть! — тотчас возразил я.

Но тут же подумал: «Нет, очень даже может быть!» Конечно, не хотелось допустить, что и в Татлине было нечто недоброкачественное столь распространенного у нас образца. Однако и в нем это «нечто недоброкачественное» было воспитано жизнью, хотя уж кто-кто, а он-то, по слову Хлебникова, был несомненным «таковичем».

5 февраля

Нынче получил неожиданный подарок по телефону от Леша Кара-Мурзы*** (которого, как говорил он, я однажды в 46-м году «политически оскорбил» и мы надолго поссорились — из-за Сталина). Он позвонил «просто так» — по случаю воскресенья, что ли? И по случаю воскресенья был несомненно, хоть и не сильно, пьян. Расчувствовался и вдруг сказал:

— Я тут на днях нашел свою старую лагерную папочку. (От него, осторожнейшего и правдоверного по поведению, слово «лагерную» прозвучало по телефону неправдоподобно!) Перебирал бумаги и нашел письмо от тебя. Ко мне. В лагерь! С полным обратным адресом, именем и фамилией! У нас многие это письмо наизусть знали...

Я тоже расчувствовался от воспоминаний и, чтобы скрыть это, сказал:

— Ну, мы тогда все были еще молодые и красивые...

— Не все! — возразил он пьяно и многозначительно. — Не все!

А когда кончился разговор, я стал вспоминать, скольких писем не написал позднее — в 40-х и 50-х годах!.. Стал припоминать, как вместе с молодостью проходило прекрасное неблагоразумие, как с годами все меньше и меньше становилось поступков — не мыслей, а поступков! — из-за которых кто-нибудь когда-нибудь позвонит тебе в одно из будущих воскресений, чтобы одарить тебя многозначительным — «не все!»

Не все? Нет, с годами все чаще, как все! Вот сквернейший из уроков жизни.

* Татьяна Максимовна Литвинова — художница, дочь М. М. Литвинова.

** Михаил Максимович Литвинов — математик, сын М. М. Литвинова.

*** Алексей Сергеевич Кара-Мурза — историк, репрессированный в 1937 г.

6 февраля

В. В. Розанов о Конст. Леонтьеве:

«В его уме, в его судьбе, в его сердце жили запутанности, гораздо более занимательные, чем вся ученость Данилевского или Страхова».

(«Неузнанный феномен»)

Наверное, так! Но вот что интересно понять: откуда вдруг сегодня любопытство к Леонтьеву, Бердяеву, Шестову, Розанову (у меня — уже из вторых рук, потому что впервые я начитался их еще в ранние студенческие годы, в начале 30-х, из интереса, что находил в них совсем юный мой приятель, вундеркинд Эня Макаев)?

Может быть, есть сегодня потребность новыми ушами прислушаться к логике тех, кто заранее религиозно-философически осуждал нынешний ход мировой истории? <...>

Вот одна идея Леонтьева:

«...Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе».

(У о. И. Фуделя.)

7 февраля

Сегодня маме 87 лет!.. Все чаще вспоминаю ее горчайшую фразу, сказанную, когда она еще хорошо слышала и ее одиночество еще не было таким наглядным: — Мы учим детей говорить, чтобы они когда-нибудь научили нас молчать.

...Был у Лени Малюгина*. Происходит чудо: он воскресает. Я уже столько раз видел эту предсмертную желтизну — последний раз у Юры Германа, предпоследний — у Эмика Казакевича. А у Лени она стала исчезать — совершенно зримо! И он не только бодрится, а действительно набирается сил: сам ходит, хорошо ест, острит. И увещевает: «Мы с тобой язвенники, Крым не для нас...» И разное в таком роде...

А может, рак и вправду не абсолютно смертелен?

8 февраля

Главлит режет в книге о Резерфорде то, что резал уже в журнале — историю невозвращения Петра Капицы в Кембридж (34-й год, когда Капице был запрещен после отпуска выезд в Англию и он не смог поехать даже для того, чтобы передать свою Монд-лабораторию другому директору и пр. и пр.). Цензорша — некая дама, с каковою автору познакомиться нельзя!

Поразительно: в прошлом веке на книге (среди «выходных данных», говоря сегодняшним языком) писалось — «Цензор Никитенко» или «Цензор Леонтьев», и автор, вместе с читателем, знал, кто устраивал книге вивисекцию, и больше того — цензор должен был давать письменное объяснение своих акций. А мы обязаны делать вид, что цензора вообще не существует, и ничего объяснять автору он не только не должен, но просто не вправе!

Как разумно объяснить — зачем все это?

...В том состоянии, когда нервная температура внутри тебя поднимается до сорока (от чувства безвыходной беспомощности), я стал кричать в редакции ЖЗЛ, что буду жаловаться... Молоденький Андрей Ефимов с сочувственно-издательской улыбочкой спокойно спросил: «Кому?» Я сказал — директору издательства: пусть он снимет трубочку и позвонит по вертушке наверх... Все вокруг веселейше расхохотались, а Андрей сказал:

— У него же вертушка в одну сторону!

...У нас развились особые характеры — упорные, склочно-героические, обороняющиеся наступлением. Их оружие — умелые письма, меткие звонки, контрдемагогия. Они ведут неутомимую борьбу с незримым противником, привлекая незримых защитников. И все это только ради отстаивания своего права на невиннейшую писанину, чуть более честную, чем ложь. Но большинство умеет лишь произносить обличительные монологи. И я вижу, что принадлежу к такому большинству.

(Не могу удержаться от добавления 1978 года.)

За минувшие с той поры десятилетия молоденький Андрей Ефимов хорошо заматерел. Он превратился в православного монархиста, каких развелось уже немало в

* Леонид Антонович Малюгин — драматург, литературовед, критик.

нашем иерархическом обществе, и теперь бессонный стимул его редакторской бдительности в «Молодой гвардии» — бить жидов и спасать Россию! С этой благородной целью он — помимо всякой цензуры — принялся три года назад калечить моего «Нильса Бора» и делал это с такой бесталанной, злобной, молекулярной глупостью, что научил меня умелым письмам, метким звонкам и контрдемагогии. И так как я — способный парень, он проиграл тот матч со мною почти всухую — ну, скажем, 12:1.)

9 февраля

У Хлебникова, — я перелистывал «Неизданные произведения» из-за Татлина, — наткнулся на фразу:

«Мы обвиняем в том, что старшие поколения дают младшим чашу бытия отравленной» (335).

10 февраля

Публикация о Брюсове в «Неделе» (№ 6, 67).

«Еще не все физики признали планетарную теорию атома, а Брюсов пишет одно из своих самых пророческих стихотворений «Мир электрона»:

Быть может, эти электроны —
Миры, где пять материков,
Искусства, знания, войны, троны
И память сорока веков!»

Так возникают легенды. Поэт — пророк даже в чужом отечестве!

Хоть спросили бы у физиков... Смысл брюсовских строк прямо противоположен истинному прозрению: на его «может быть» квантовая физика прямо ответила «нет, не может быть!» (по причине конечности кванта действия и связанной с этим невозможности представления мира в виде разъемной матрешки с бесконечно убывающими фигурками). Но в глазах литературоведов-гуманитариев, гипнотизируемых таинственными словами «электроны» да «синхрофазотроны», Брюсов навсегда пребудет поэтом-пророком. А он не мог быть пророком: его дар был слишком трезвым — без вольнописания гения.

11 февраля

Нюра говорит: «Вы мне хороший веник не давайте, дайте окомелок».

Смотрю у Даля — есть. Смотрю в 17-томном Словаре — есть. Отчего же в моем запасе нет? Что вообще означает выражение «знать язык»? Кто его знает? Нюра? Академик Виноградов? (Ему неизвестно, что такое «мезонная шуба»...) Язык знает только весь говорящий народ в целом — все современники, взятые вместе.

А что такое «носовой ход»? Корабельный термин? Нет. На чешской баночке с «Санорином» написано: «По 1—3 капли три раза в день в каждый носовой ход...» Так, для знания русского языка надо еще привлечь и автора этого наставления — обрусевшего чеха или очешившегося русака! А иначе куда же денется миллионнотиражный «носовой ход» вместо нормальной «ноздри»?! Этот «ход» — тоже ведь языковое богатство.

12 февраля

Сталинисты всего мира — просто тоскующие рабы. (Повод неважен.)

13 февраля

Кажется, вот что с Китаем: мир неправильно понял выражение «культурная революция». Это не революция в культуре, а просто революция, да только проводимая «культурно» — без грубостей вооруженного восстания...

Тогда многое более или менее понятно. Но сразу же оказалось, что бороться за власть культурно — нельзя! Можно — и легче всего — начинать такую борьбу с культуры: она беззащитна, а на вражде к ней проще всего объединить темные силы народа. Объединить и бросить потом на решение любых низменных задач политического свойства.

Поразительный по низменности план: сделать юность ответственной за призывания старости! Миллионы мальчиков — хунвейбинов — станут несчастными. С них еще будут спускать штаны и сечь перед лицом всего мира.

15 февраля

Всего замечательней, что Эйнштейн, в сущности, задался не глубокомысленным вопросом «Что такое Время?», а детским вопросиком — «Что такое ход часов?»: он думал об измерении времен, а не о природе времени. Но потому и сумел сказать о его природе больше, чем все философы и натуралисты всех времен.

18 февраля

Все говорят: «Надо бороться с пошлостью!» Да, разумеется. Но что она такое? Как определить и показать другому то, что для тебя — пошло?

Может быть, кратчайше: пошло — это то, что пошло? (Вот влияние Цветаевой.)

19 февраля

Ариадна Сергеевна о матери (Марине Цветаевой):

— Мама однажды прекрасно это выразила: «Нельзя быть поэтом в душе, как нельзя быть боксером в душе».

(А. С., рассказывая о матери, обычно говорила «Марина» или «Марина Ивановна», а тут запомнилось еще и это детское «мама».)

В трактате «О возвышенном» (I век, Псевдо-Лонгин) прочел об этом же такие слова:

«Самое основное заключается в том, что обнаружить природное дарование в произведении возможно только благодаря искусству (8)».

Спрашивается, на что ушли два тысячелетия? В том же трактате написано:

«Безвкусные выражения... их порождает та же погоня за новизной, которая заставляет неистовствовать буквально всех современных писателей (13)».

А среди этих «буквально всех современных писателей» — Петроний, Сенека, Тацит!

Нет, правда, на что же ушли в искусстве два тысячелетия?

20 февраля

...Февраль — снег делает свое черное дело...

У прозаика такая фраза сгодилась бы хоть для какого-нибудь плохонького героя, а мне — зачем она?

21 февраля

Надо бы сделать фильмик о Времени. Есть для него выразительное начало... Когда-то Маршак рассказывал, как в Лондоне он, плохо говоривший по-английски, спросил прохожего — «Что такое время?», вместо — «Который час?» Тот посмотрел на него с опаской (не из Бедлама ли?) и вежливо ответил: «Я не знаю...» Вот с этого-то и можно начать картину.

24 февраля

Сандро (Ал. Ив. Смирнов-Черкезов)* рассказал с восторгом:

— Народ бессмертен! О лагутенковских домах в Химках-Ховрино ходит острота — «хрущобы в стиле баракко»!

Чуть поспорив, мы через пять минут согласились, что «бессмертный народ» — это какой-нибудь наш знакомый интеллигент с Аэропортовской... фольклора не существует, а есть нераскрытое авторство плюс нераскрытое редактирование. Иначе говоря — фольклор существует.

25 февраля

Смотрю подряд все научно-популярные картины 66-го года для будущего обзорного доклада в Доме кино. Придумалось пародийное название: «Сколько ис-

* Александр Иванович Смирнов-Черкезов — писатель, инженер-строитель.

куства науке надо?» В каждой ленте есть тень искусства. И редко-редко — оно само во плоти. Еще реже — цельность!

А что такое цельность?

Это самодержавная власть над частностями. И ясно одно: такой властью не может обладать то, что само является частностью. А что же в искусстве не является частностью? Только замысел и только личность художника.

Стало быть, лишь это и может быть источником цельности. И если этого источника нет, или он иссяк, или засорен чужим вмешательством? Михаил Светлов говорил: «Всю жизнь я хотел, чтобы из чистого родника моей поэзии пил читатель, но всю жизнь в нем купался редактор». Так вот, если источник цельности засорен извне или изнутри (личность — искажена приспособленчеством, а замысел — искажен уступками), откуда взяться цельности явления искусства?

26 февраля

В картине о пианистах — «Молодые исполнители» — одна минута доставила ощущение внезапного счастья. Там Яков Зак говорит ученику в мучительную минуту репетиции:

— Ты помнишь, как у Рембрандта фигуры выступают из темноты?.. Вот так и ты должен выползти из этих глубоких басов в огромное до-минорное пространство!..

За всю свою жизнь не читал и не слышал ничего лучшего о музыке!

27 февраля

Я — Тусе: — Надо бы, черт возьми, поздравить Леонида Максимыча Леонова со званием Героя... Может быть, теперь он похрабреет?

Туся: — Да нет, он прекрасно понимает, что получил Героя как раз за трусость.

28 февраля

Вот, может быть, ключ — или один из ключей в толстой связке — к характеру Бора и стилю мышления в боровской школе:

«Есть на свете столь серьезные вещи, что вы можете говорить о них только шутя». (Одна из любимых мыслей Бора.)

Это то, чего никогда не чувствовали богоискатели нашего века. Поэтому так тяжело их читать.

Сюда же очень кстати слова Честертона:

«...Если смех и вера несовместимы для вас, вам нечего делать в Средних веках, да и вообще в жизни».

(Кукольный театр — из «Прометей»)

3 марта

Три часа в Малом зале Дома кино говорил о том, «сколько искусства науке надо?» Уверял слушавших, что в научном кинематографе, когда он — искусство, изобразительность — выражение личности автора... Потом Главный редактор студии, вполне добросердечный Шапров сказал:

— Нам было доказано сегодня, как важна в научном кино личность. Однако, когда я думаю о нашей студии, мне вспоминается французская поговорка: «Чтобы сделать рагу из зайца, нужно иметь по крайней мере кошку!»

Сказал и ушел с трибуны под аплодисменты зала. Аплодировала сама студия — вот что загадочно и замечательно.

4 марта

Леня Малюгин все-таки захотел, чтобы друзья по традиции пришли к нему сегодня на день рождения. Он сидел за столом землястый, узкий, исчезающий. И видно было, что пребывал он наедине с собой.

Впервые в жизни я был на дне рождения умирающего. И как в сотый раз в жизни тяжело было сознание собственного здоровья.

...По дороге домой вспомнилось, как 14 лет назад в эти дни умирал Сталин, и попытка отпраздновать тогдашний день рождения Лени (а потом и мой —

10 марта) представлялась смертельно опасной. Мы пили нарочно не у Лени, а по соседству — у Шуры Крона, за плотно закрытыми дверьми, в тесной компании полного и безусловного взаимного доверия. О, Господи, как нам было бесшабашно-тревожно и бесшабашно-весело! И как мы надрались — и 4-го (накануне Его смерти), и 10-го (после Его похорон)!

5 марта

Утром нынче позвонил Лева Разгон:

— Я тебя поздравляю!

— С чем?

— Как с чем?! Идиот!

Так бесспорно прозвучало это, что я тотчас вспомнил то, что вспоминал вчера, возвращаясь от Лени Малюгина.

— О, черт возьми! Конечно! И тебя я поздравляю, старый каторжник! Как всегда, как всегда...

Подумать только — 14 лет прошло! Все-таки очень важно жить по возможности долго. Когда-то Эмик Казакевич говаривал: «Понимаешь, самое главное — пережить эту сволочь, и мы это сделаем!» И мы это сделали. Что бы еще ни приключилось с нашей историей и с нами, малыми мира сего, *это* мы сделали. Благодаря природе. Нам просто физически повезло!

...А кроме того, сегодня — годовщина смерти Сергея Прокофьева и Анны Ахматовой. (А по старому стилю — еще и Ивана Грозного.) Ничего мистического: в году всего 365 дней и вероятность любой смерти в заданное число равна 1/365-й. Вполне конечная и каждому доступная величина. Но сколько философических лже-мыслей можно связать с этими совпадениями! Одно верно: Сталину в будущей истории будет очень неуютно стоять рядом с такими со-смертниками.

6 марта

Телефонные звонки: оказывается, вчера высоколобая интеллигенция устроила церковную панихиду по Анне Андр. Ахматовой! А потом — «поминки с духовенством» (так и рассказывается — «с духовенством»). Умнейшие дамы целовали икону...

Я вспомнил ялтинский разговор трехлетней давности с Юл. Г. Оксманом. Он спросил: «Можете вы, положи руку на сердце, сказать, что выдавили из себя по капле раба?» Я ответил, что в мыслях — выдавил, а в поступках — едва ли, и даже скорее — нет. Он как-то радостно согласился, что точно так же мог бы сказать о себе...

Снова — как заклинание: только та религиозность достойна человека, что сопровождается отчуждением от любой и всяческой церкви — начиная храмом и кончая парткабинетом!

А может быть, все они просто-напросто светски играют в модную религиозность? Странная — самая неожиданная в наш век — форма всесветного конформизма.

8 марта

В истинно рабовладельческие времена нельзя было выдавливать из себя раба по капле — можно было освободиться только сразу. Рабы Рима не поняли бы Чехова. Понимаем ли мы рабов Рима? Внутреннее—духовное—рабство было им, вероятно, вовсе несвойственно.

У древних греков, как рассказывает Антонио Филарето, существовал закон, запрещавший рабам заниматься изобразительным искусством. Такой запрет должен был бы действовать и сегодня. Но хорошо было им, древним грекам: они точно знали, кто раб.

10 марта

Рита А., давным-давно подарившая мне эту тетрадь-Дневник, сегодня сделала надпись — дарственную ко дню рождения (все-таки 53 года):

«Ну что, Д., допрыгался?! То-то! Я всегда говорила: это дело до добра не доведет. Теперь уж, валяй, прыгай дальше и прыгай весело, даже еще веселее.

Ибо расстраиваться нам ни к чему, расстраиваться не приходится, это все не что иное, как неизбежность странного мира. Будь здоров и смотри у меня. Целую тебя.

Твоя скромная современница
Маргарита А.»

11 марта

Веселее... А сегодня с утра необъяснимая тревога на сердце. И старое, за четырнадцать лет почти позабытое, чувство погони.

12 марта

Снова — погоня, погоня... Все валится из рук. Уже ни понять, ни представить, как же мы жили с этой погоней в душе целые десятилетия?! И «прыгали весело»...

13 марта

А погоня-то, оказывается, совсем в другой стороне! Сегодня в «Правде» — короткая заметка:

«О Светлане Аллилуевой

В иностранной печати появились сообщения о том, что С. Аллилуева (дочь И. В. Сталина) находится в настоящее время за границей. В связи с запросами журналистов по этому вопросу ТАСС может подтвердить, что С. Аллилуевой в конце 1966 года была выдана виза на выезд из Советского Союза в Индию для захоронения останков ее мужа — гражданина Индии, умершего в Советском Союзе. Как долго пробудет С. Аллилуева за рубежом — это ее личное дело.

(ТАСС).»

Господи, как жаль, что до этой информации не дожили Эмик Казакевич и Юра Герман! Какие фейерверки взвились бы из их уст!

...Когда двадцать лет назад Сталин сказал едва ли не самую иезуитскую из своих крылатых фраз — «Сын за отца не отвечает», он не подумал о проблеме дочери.

Какие славные кренделя выписывает история!

15 марта

Пожалуй, наступила пора собирания всякой всячины для «Бора-Пикассо». Так или иначе, когда начинаешь думать о работе, все идет впрок. Вот и сегодняшний просмотр «Девочки на шаре» Левана Шенгелия...

...Кажется соблазнительной мысль о прямой связи Пикассо и абстракционизма с детской безыскусностью восприятия мира. Но тогда почему Пикассо и абстракционисты — это XX век? Биологическое детство вечно. Современные художники — не Адамы. В лучшем случае — Каины или Авели. Они — дети тех, кто от древа познания уже вкусил! И Пикассо нужно понять как мальчика, стоящего не на детском мяче, а на очень взрослом и даже постаревшем земном шаре. При таком масштабе параллель с Бором резонна.

17 марта

Завтра — в 52-ю больницу. Дней через десять операция.

18 марта

Воскресенье в 52-й. Больные отдыхают от обходов, уколов, анализов. От всего, кроме своих бед.

Главное население урологического отделения — старики (аденома простаты). Со мною в палате трое: 82 года, 81 год, 77 лет. Я — просто щенок, и мой удельный вес определяется лишь камнем в левой почке. И, глядя на жадную цепкость восьмидесятилетних, приходишь к животному пониманию справедливости чьей-то мысли: «Самый большой недостаток старости в том, что она тоже проходит».

19 марта

Сосед по койке — Левит, Иаков сын Исаака. Когда входит сестра и громко возглашает: «Левит, где твоя моча, Левит?», это Библия.

20 марта

В солидарности больных есть что-то от итальянского кино эпохи неореализма: неслыханная простота общения, ничего не стесняющаяся доброта, контраст жестокости обстановки и чувствительной человечности застигнутых бедой беспомощно праздных людей. И есть в нас, лежащих, юмор мухи на липкой бумаге: она еще вибрирует и жужжит будто во всамделишном полете.

21 марта

Сегодня в коридоре — за ширмой — умер безнадежный А. Он так долго умирал без сознания, — хрипя предсмертно и все истончаясь в профиль, — что момента самой смерти его никто не заметил. Даже неотлучно жившая в коридоре жена.

Она, в оправданье своей жизни в больнице да и просто по бабьей жалостливости, постоянно помогала нянечкам: приносила-уносила судна, приносила-уносила еду лежачим. И всем всегда улыбалась измученным, вялым, тускло-светящимся лицом с отвисшими генеральскими щеками. И новички, вроде меня, путали ее с больничными нянями — такими же пожилыми подмосковными бабами, тоже измученными, но не улыбающимися. Она за кем-то в очередной раз прибирала в палате, в которой уже много дней не держали ее мужа, когда в коридоре кончилась его жизнь.

22 марта

В соседней палате — милейший Марк Моисеевич Аксельрод, чистый и честный негромкий художник (помню, как в 30-х годах высоко ценили его в кругу Фаворского). Он здесь уже седьмую неделю. Рисует больных, дожидаясь выписки.

Завотделением профессор Бухман попросил его нарисовать для каких-то схем человеческую почку и показал на бумаге ее очертания. Аксельрод ответил, что не может нарисовать почку: «Я не могу нарисовать то, чего не вижу».

Мне он сказал:

— Я могу рисовать почечных больных, но я не могу рисовать их почки, вы понимаете?

— А их души?

— Души могу, они же видны!

...Когда в «Красном уголке» урологички ходячие режут в домино, там нависает густая, хоть и молчаливая, атмосфера антисемитизма.

23 марта

Аденома простаты — школа христианства. Или долготерпения. Долготерпения старости.

Христианское искусство изображало апостолов чаще всего старцами. Надо было сделать понятной их мудрость. Следовало нагрузить их опытом жизни. А ко времени гибели Христа они были еще мальчиками, если ему самому в роковой год исполнилось всего тридцать три. И не было у них опыта жизни, а только опыт Его догматического энтузиазма. И не было у них долготерпения старости — и оттого-то все кончилось так скверно. Только потому Иуда прельстился сребрениками, а Петр не дал петуху пропеть во второй раз... Предательство апостолов бросило тень на человеческую старость — несправедливо и зря.

25 марта

Сегодня уходит домой Аксельрод. Жаль. Говоря ему это, отшучиваюсь, а он замечает, что теперь мы квиты, раз уж и он успел сказать мне, что жаль я не попал сюда раньше...

Вчера вечером он рисовал меня. Сначала ничего не вышло — тяжелый скучный рисунок. Старик расстроился. «Сяду по-другому», — сказал он, взобрался с ногами на мою постель, скрестил их, как местечковый портной, прижался спиной к железным прутьям в изголовье, пробормотал, что вот так ему будет «достаточно неудобно», и потому-то «дело пойдет»... Неумолчно произнося монолог об умении создавать себе рабочее настроение, он за пятнадцать минут сделал превосходный набросок — экономная работа тонкого профессионала.

Завидно, что у художников есть ремесло.

26 марта

Опять воскресенье. Выяснилось — послезавтра операция... Интересно устроен оптимизм: главное мое ощущение, что я — на конвейере и являю собой всего лишь один из номеров в серийном выпуске почечных камней. Ну, а конвейер работает, как правило, исправно — о чем же тут беспокоиться?

И появляется еще одна укрощающая и украшающая беспокойство мысль, что в конце-то концов даже твоя бессмертная душа — только один из номеров в огромной серии, называемой «поколением».

...«Левит, где твоя моча, Левит?» — «Сейчас Ирочка, сейчас...» И никакой Библии!

27 марта

Постарался дочитать книгу, народно-демократического немца Г. об Эйнштейне. Не книга, а статья длиной в 300 страниц. И жизнь Эйнштейна — публицистическая пустыня. В каждом абзаце он — борец. За что-нибудь или против чего-нибудь. Всю жизнь он «вовне». Меж тем, всю жизнь он был «внутри». Биография, разодранная на боевые эпизоды и шумные цитаты. А он был весь — цельность и тишина: «Я мечтаю об участии зрителя на одиноком маяке...»

...Завтра операция — интересно!

28 марта

Дело было так. Рано утром анестезиолог Хохлов сказал: «Мы будем во время операции дышать за вас». И тогда до меня дошло, что я — единственный, кто наверняка не будет принимать ни малейшего участия в этой кровопускательной процедуре.

Девочки-сестры, увозившие меня на каталке под белой простыней, болтали о глупой неосторожности какой-то Машеньки. А потом операционные сестры весело рассказывали анестезиологу, как провели позавчера воскресенье. И все это служило вернейшим подтверждением того, что я нахожусь на отлаженном конвейере. С ощущением, что происходит со мною нечто зауряд-банальнейшее, я и отбыл в небытие наркоза.

Вернувшись оттуда уже в палате, обнаружил, что ноги мои и правая рука привязаны к постели: оказывается, я буйствовал, но это было абсолютно неправдоподобно — таким безвыходным было чувство полной обездвиженности и телесной уничтоженности. И боль становилась все неутолимей.

Тут-то и исчез конвейер. Возникло ощущение штучной судьбы...

29 марта

Туся сидит на табуретке возле постели. А я держусь за ее руку, как за спасательный конец. Всегда будет видеться-помниться этот одинокий спасательный конец в мутном море тошноты.

30 марта

День второй. Тянет подползти к окну и вывалиться вниз — лишь бы освободиться... Неужели на пересотворение мира — для меня одного! — снова уйдет семь дней?

1 апреля

Кажется, в первый раз забыл, что сегодня — 1 апреля. Поглощенность собою, тем, кому худо. После обеда вспомнил о свободе первоапрельских шуток

милейший и покорнейший Арий Дав. Ратницкий* (что-то у него послеоперационно не ладится). Он сказал с сожалением, что шутить тут некому и не над кем.

...А еще предстоит когда-то потом — старость, неужто вся сплошь без первых апрелей?

2 апреля

Держу в своей руке руку Т., и почти неслышными голосами мы вспоминаем строку за строкой пастернаковскую «Больницу»:

— О, Господи, как совершенны дела твои, думал больной, постели и люди, и стены, час смерти и город ночной...

И я спрашиваю — разве не правдоподобней другое: «О, Господи, несовершенны дела твои, думал больной...»? И хорошо понимаю, отчего это кажется мне более справедливым: передо мною не маячат ни смерть, ни Господь! Мои переживания временны и ничтожны. И потому ищут логичного выражения. А там человек уже расставался со временем и вверял себя грядущему безвременью, то есть вечности. И, принадлежа еще постелям и стенам, прощаясь с ними, прощал им их несущественное несовершенство. И естественным состоянием его мысли была обширность — такая вместительность, что тесные стены и огромный город ночной обнаруживали свою соизмеримость и равновеликость: вещественную равноненужность! В этом была совершенная слаженность покидаемого, милого сердцу, мира.

Когда Пастернак был еще язычником, он думал: «Всесильный Бог любви — всесильный бог деталей». А тут было другое... Впрочем, было ли другое? «Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень в футляре». Предчувствуя смерть, он возвращал себя Богу, как его драгоценное изделие — как достойную футляра деталь в обиходе Всесильного. Теперь уже христианский Бог любви предстал перед ним всесильным богом деталей. Он оставался язычником. И нескромная мысль о нетленном футляре для его бессмертного «я» нашла слишком вещное — языческое! — выражение.

В нашем веке человек легко рождает идею Бога, когда не находит никакого прибежища от уничтожения: хочется вручить себя попечению неодолимой силы, обещающей тебе сохранность навсегда.

Вот только одно непонятно: отчего это называется поисками смысла жизни, в то время, как это поиски смысла смерти?

3 апреля

День пятый — а я все еще не сотворен!

Ужасно жалко Т. — ей все представляется обвалом, землетрясением, неправимостью. Когда подходит сестра сделать укол, Т. смотрит такими глазами, точно меня сейчас поднимут на пику.

4 апреля

Снова держу руку Т. И снова мы вполголоса вспоминаем Пастернака. Теперь — байроновские «Стансы к Августе». Сидят в наших головах удивительные строки: «Гибель прошлого, все уничтожа, кое в чем принесла торжество: то, что было всего мне дороже, по заслугам дороже всего!» Помню, мы двадцать раз повторяли это в годы антикосмополитизма. И еще:

Есть на свете родник, чтоб напиться.
Дерево есть на лысом горбе.
В одиночестве певчая птица
Целый день мне поет о тебе.

А существует еще плещеевский перевод этих стансов — обыкновенные стихи, почти романс. И никто никогда не захотел бы их вспоминать ни в исторической передражке, ни на больничной постели. Пастернак мог бы сказать Плещееву, хотя тот и был в свое время даже приговорен к смертной казни вместе с Достоевским: «Мне бы ваши заботы, Алексей Николаич!» У нас уши другие, чем прежде, и слышат они другое, чем прежде: слишком громко по нашим барабанным перепонкам била своими палочками История.

* Арий Давыдович Ратницкий — старейший деятель Литфонда.

5 апреля

Семидесятисемилетнему Иакову сыну Исаака раздробили ультразвуком громадный камень в мочевом пузыре, и теперь он в муках рождает осколки. Это вправду родовые муки: он лежит бледный, в поту, закусив ребро ладони. И — ни звука, ни жалобы! Долготерпение не только старости, но и тридцатипятилетнего холостяцкого одиночества. И сверх того — двадцативекового одиночества еврейства в мире. Неистощимая печаль в глазах Левита — такая неистощимая, что никакое сострадание ни на каплю ее не утолит.

И вдруг — почти неправдоподобное открытие: этот старик уже второй день бисерно переписывает в новенькую записную книжку адреса и телефоны из старой лохматой книжицы. «Яков Исакович, что вы все переписываете?» — «Это координаты сердечных друзей!» Сколько же у него друзей? И почему?

6 апреля

Рассказ Ария Ратницкого:

— Году в 16-м (а может, в 19-м) захожу на почту. От окошка отходит Софья Андреевна. Да, да, Толстая! Она узнала меня, вспомнила, как я наезжал в Ясную Поляну, и сразу накинулась, размахивая пачкой квитанций: «Вот, смотрите, смотрите — всё сыновья, дочери, внуки, правнуки, которых я и в глаза-то не видела, все просят о помощи! Все нуждаются. И все — за помощью к кому? К Софье Андреевне! А кто — дрянь, кто погубительница? Софья Андреевна — дрянь, она — погубительница!»

...Старик набит такими историями. И очень правдив — для сочинительства у него мало воображения. Будь у него царь в голове, он мог бы оставить книгу интереснейших воспоминаний, совершенно особых: он столько хоронил, переселял, снабжал, устраивал, встречал, провожал! И у всех вызывал полнейшее к себе доверие искреннейшим простодушием и сочувственной честностью. Но нет царя, и все его истории, наверное, уйдут вместе с ним.

(Добавление 1978 года... На днях стою в писательском клубе, читаю объявление об очередной смерти — в черной рамке «Александра Толстая», и вдруг: «Здравствуйте, дорогой!» Поворачиваюсь — Арий Давыдович Ратницкий. Тотчас прикинул — ему же минимум 92! Не видел его несколько лет. Он смотрит вместе со мною на объявление и говорит, опережая мой вопрос: «Не та, не та... Та жива, в Америке... Еще жива, подумайте! А эта Александра даже не из тех, совсем не из тех...» Говорю: «В какой вы прекрасной форме!» А он младенчески улыбается еще розовеющим, как прежде, лицом: «Наверное, я всех переживу...»

Вспомнилось, как лет двадцать назад я заработал 20 копеек за остроуту. Тут, в этом клубе, шло собрание. Отчитывалось московское Правление. Кто-то негодовал по поводу неполадок с захоронениями писателей. Это задело А. Д. — он послал записку в президиум. Председатель объявил: «Слово имеет Злобин, приготовиться Ратницкому». Прошел по залу смешок: он-то и был главным захоронителем, бессмертный А. Д. И когда председатель вновь объявил: «Слово имеет Ратницкий, приготовиться...», я не удержался и крикнул: «...приготовиться всем!» Через минуту мне был передан по эстафете двугривенный — «от Андроникова».

Масса мусора еще держится в голове...

7 апреля

Нечаянно заметил: я уже отвык в больнице от газет и телевизора. Но чувства «отставания от времени» почему-то нет. Задаю вопрос навестителю: «что у вас там произошло на воле за эти двадцать дней?» А слушаю ответ без тени интереса. И думаю про себя — «это все равно что спросить про газ, где побывали за минувшие недели его молекулы...»

Всюду идут маленькие войны. Происходят маленькие революции. Ощущение немолчной толчеи истории, в которой ничего не решается. А, собственно, что должно решаться? Когда бы знать, что хоть этот вопрос имеет смысл... Но недобросовестно сие раздумье лежащего пластом человека — ему ведь просто хочется, чтобы «толчея истории» не дай бог сейчас не задела его — прилиплюю к стенке молекулу.

9 апреля

За окном палаты — весна.

За весной — стена курчатовского института.

За стеной — опять весна.
За той весной — высокая труба.
За трубою — третья весна.

Слоеный пирог великого города, начиненного весной. Завтра надкушу свой ломоть. Обещала доставить меня домой на своей машине Наташа Ильина. Авось до завтра ничего не изменится и весна не кончится!

11 апреля

Всем показываю извлеченный из меня камень (подарил, против правил, хирург). И вот что смешно: если кто-нибудь не очень восхищается его величиной или не очень ужасается его зубчатости, я испытываю искреннее разочарование. И даже досаду.

Тщеславие запрограммировать невозможно — для него все годится, как топливо.

12 апреля

Утешаюсь: в «Биографиях знаменитых астрономов» Араго многие английские звездочеты умирали от «каменной болезни» (в том числе — Ньютон), но в возрасте восьмидесяти с лишним лет! Камни и долголетие... — может быть, это связанные друг с другом вещи?

Может быть, у тех, у кого образуются камни, слабее развивается склероз? (Просто химического материала — солей — не хватает еще и на отложения в сосудах. Или что-нибудь в этом роде.)

В натурфилософские времена так вот и делались открытия. А сегодня?.. Бухман, усмехнувшись, сказал, что эта идея не лишена остроумия, но — к сожалению! — выяснено, что камни образуются не из тех солей, какие дают склеротические отложения. Вот и все. Утешения не вышло.

13 апреля

Приехала Таня Герман и живет у нас. Красивая, естественная, умная и ленивая. Она не знает, как «нужно быть» вдовой. И, по-видимому, никогда этого не узнает. Она не сделает из своего вдовьего горя профессии...

Я, послеоперационный, окутан Таниной ленивой добротой, как пеленками.

...Годы и десятилетия превращают близких друзей в родственников. И это правильное родство: оно свободно. Оно лишено условных ценностей. Оно удостоверено не рождением, а судьбой.

Так вот и Юра Герман с Таней и Лешей стали уже родственниками — ленинградскими. И оттого так просто разговаривать с Таней о Юриной невознаградимой смерти.

14 апреля

Среди книг, за которые хватаюсь в праздности, — Лев Шестов, читанный еще в студенческие ненасытные времена. Его любимое выражение: «Если меня не все обманывает, то...». Драматическая неуверенность в истинности истин, найденных им для спасения этого обманного мира. Обманного — обманывающего. И впрямь, где спасительное начало в постулатах: «откровение выше умозрения» или «вера неподотчетна разуму»? На таких постулатах строить спасительную философию нельзя — уже по определению невозможно: стоит только начать ее строить, как вступят в игру умозрение и аналитический разум. А им доверия нет, потому что новое откровение и новая вера тотчас вправе отвергнуть их построения. Заведомо непрочны все доказательства, заведомо бесцельны все опровержения. Короче: эта философия недоступна критике. А потому — углублению и росту! И это-то призвано повести к спасению хомо сапиенса — наполнить необманной правдой его внутренний мир и внешнее бытие?

Сколько ума, честности, страсти растрачено на страницах «Умозрения и откровения»! У Льва Шестова должны были быть нередки часы и дни отчаяния. И невольно должно было стать излюбленным заклинание: «Если меня не все обманывает...».

Какими прыжками преодолеть реку в ледоход, когда льдины тают под ногой от одного прикосновения?

17 апреля

А где же события?

Нет, черт возьми, получается вовсе не тот «Дневник», который хотелось вести: документа не получается.

...Вчера в три часа дня подарил «Резерфорда» Шкловскому. Сегодня в 12 Виктор Борисович позвонил и сказал, что прочел больше половины. Я ахнул — «больше трехсот страниц?!» Без паузы он заметил, что мое восклицание невежливо. Потом произносил слова, записывать которые автору неловко (хотя и очень хочется!). И объяснил, что отставил свою работу, дабы читать: «интересно». И добавил, что ночью тоже читал.

В четыре часа он позвонил снова. «Ну вот, — сказал он голосом Иракия Андроникова, изображающего Шкловского, — н-ну вот, дочитал до конца, теперь буду читать еще раз — мне интересно...» И снова — слова, льющие бальзам на мою неуверенную душу и на послеоперационный шов...

Я вспомнил, как он говорил однажды, что может прочитать за вечер 600 машинописных страниц — «если нужно, или если забирает...» (Один сценарист заподозрил, что он лишь перелистал представленный сценарий. «А я ему сказал, что у него в зачине ходит серая кошка, которая потом становится белым котом. Он сказал: «Не может быть!» Политали — проверили. Н-ну вот — ему пришлось извиниться».)

Обескураживающее чувство: ты писал книгу пять лет, а она прочитана за полтора дня! Надо, наверное, сложить время чтения всех будущих читателей — тогда, пожалуй, мы будем квиты: может быть, там тоже наберется — в совокупности — пять лет.

18 апреля

Друзья не должны читать друг друга. Все мы лучше того, что пишем. В комнатном общении мы — свободны, а за письменным столом — как в клетке. Так не во все времена бывало, и так будет не всегда. Дождемся ли? Если не дождемся, значит, неудачно выбрали век и день рождения.

19 апреля

По наружному подоконнику переступают голуби. С постели видны только их кивающие головы. По частоте кивков можно узнать, с какой частотой они перебирают лапками.

Ну, узнал. Что дальше?

22 апреля

Снова звонил Виктор Борисович Ш.

— Н-ну вот, прочитал «Резерфорда» второй раз. Это — прочная книга. И в ней почти не чувствуешь слов. Это хорошо...

Все-таки старик не может не сказать что-нибудь эдакое — единственное — шкловское. Кому пришло бы в голову похвалить книгу в 620 страниц за то, что в ней «почти не чувствуешь слов»?! Так о многотонных, но хорошо построенных мостах говорят, что они висят невесомо...

Но правда ли то, что сказал В. Б.?

Возможно, мне просто повезло: как-то пришла ему в голову такая парадоксальная похвала, а книга моя оказалась первой достаточно толстой и достаточно сносной, чтобы к ней приложить эту формулу, родившуюся в его кубическом черепе. Тут парадоксальность похвалы прямо пропорциональна толщине сочинения. И я вовремя подвернулся под руку.

24 апреля

Решили ехать в Ялту («поправиться после операции»). Но мне так нехорошо, что поездка на время откладывается. И все дела откладываются. Единственное, что пишу — дарственные надписи на «Резерфордах». Это не всегда просто и не всегда пусто. В это можно играть.

Вот достойная тема для литературоведческой диссертации: «Книжная дарственная надпись до Гуттенберга». А можно и вполне всерьез: «Стилистика дарст-

венной надписи в 20-х и 60-х годах XX века (сравнительный анализ на материале советской литературы)». Но и вправду — не лишено интереса — что могло бы дать такое сравнение?

25 апреля

Лежу и нянчу замысел двойного жизнеописания — «Бор-Пикассо». Но, кажется, спасую перед его трудоемкостью и туманностью. Тут должно быть третье лицо — обыкновенный, ничем не замечательный современник, для которого оба — Бор и Пикассо — в равной (или неравной) степени события его внутренней жизни. Нужен некто, олицетворяющий их историческую духовную связь, о которой они оба и не подозревают.

Но вместе с третьим лицом появляется соблазн беллетризации и возникает задача, едва ли выполнимая достойными средствами. Все грозит превратиться в интеллектуальную липу.

А может быть, насильственно ненатурален самый замысел такого сочинения?

26 апреля

А зачем я пишу этот Дневник? Для себя? Нет, это половина правды. Все время невольно воображаю и кого-то другого, кто будет его читать. И потому хочу ему угодить, этому безымянному читателю. Хочу ему понравиться. От этого не отвертеться. Есть одно лишь смягчающее вину обстоятельство: этот читатель видится мне человеком, думающим совершенно как я, то есть — моим двойником. Но ведь это значит, что я хочу угодить самому себе и самому себе нравиться. Смягчающее обстоятельство становится отягчающим... Все это мешает искренности.

Но буду продолжать, раз уж начал.

27 апреля

День рождения Т. Она хорошо сделала когда-то, появившись на свет.

30 апреля

Ходят по перилам балкона злые жадные голуби. Отчего их сделали символом мира? Может быть, в библейские времена они были другими? Или там просто не знали ничего белее белой голубки? Так, «розовоперстая Аврора» пошла оттого, что на востоке Средиземноморья в час утренней зари часто видны розовые лучи, как пять пальцев протянутые к земле. А мы думаем, что это возвышенный образ-находка...

1 мая

В телевизоре выключен звук. Двигается на экране безгласная, жестикулирующая демонстрация. От этого она выглядит еще глупее и стадней, чем на самом деле. Но в действительности никакой стадности в этой толпе давно уже нет.

В стадности заключено свободное волеизъявление: человек с толпой, потому что ему этого хочется. Его соблазняет участие в толпе, потому что оно придает ему в собственных глазах новое значение и увеличивает его вес.

Неудержимо и самозабвенно стадо, влекомое к водопою жаждой. И прекрасна была стадность в моем пионерском детстве, когда мы влекомы были жаждой будущего — верой не по откровению, а, как нам казалось, по разумению.

А эта безгласная демонстрация на онемевшем экране всего более хочет поскорее рассыпаться по домам и раздробиться на тысячи праздничных столов, отделенных один от другого непроницаемыми стенами.

2 мая

В праздности вспоминается ненужное...

А и вправду — «Но что нам делать с розовой зарей//Над холодеющими небесами,//Где тишина и неземной покой?//Что делать нам с бессмертными стихами?» [Н. С. Гумилев].

Какие счастливые строки у не слишком большого поэта! Они сами стали бессмертными стихами, и с ними тоже неизвестно, что делать... Но «орган для

шестого чувства» — это уже не столь счастливая строка: она снимает таинственность внезапно-безответного вопроса. Она — разумный ответ или гипотеза: «когда рождается у человека это шестое чувство, ему становится ясным, что надо делать с розовой зарей и бессмертными стихами».

Это бедность понимания: и в поэзии, утоляющей шестое чувство, останется тот же вопрос. И возникает нужда в седьмом чувстве. Это бесконечная матрешка. И в том, что она — бесконечная, залог вечной обделенности человечества перед лицом поэзии.

Она — поэзия — не нужна. И потому с ней нечего «делать». И потому она никогда не иссякнет: она не убывает от потребления. И от понимания. А когда она делается для употребления, тогда очень хорошо известно, что с нею делать: забывать! (Впрочем, это делается само, и восклицательный знак здесь излишен.)

3 мая

Сегодня брат Вова сказал по телефону: — Ну вот, кончились праздники. Три дня погуляли и каюк!

Я позавидовал. В сущности, мне совершенно неизвестно, что такое праздники. Любой четверг я могу превратить в воскресенье. Любые два дня — в майские дни. Но эта-то вольная воля и лишает наступающие праздники праздничности. Сколько уже лет — идут сплошные будни. И нет свободных вечеров — нет блаженных часов «после работы»... Пишешь, не пишешь — все равно продолжается работа. Даже поболеть — размяться в жару — и то по-человечески невозможно. А миллионы людей завидуют таким, как я: всегда, черт возьми, свободен! Хочет — работает, а не хочет — гуляет! И мало кому известно, что глагол «хотеть» не имеет тут никакого смысла. Все равно что думать о дереве: хочет — растет, а не хочет — не растет. Тут есть никем не осознанная принудительность.

6 мая

Прочитал катаевскую «Траву забвения».

Надо же было прожить такую долгую и несправедную жизнь, чтобы почти под занавес так ослепительно вспыхнуть! После «Святого колодца» и этой «Травы» остается впечатление, точно грешник решил закинуть чепец за мельницу и начать думать вслух о душе.

Но несправедная жизнь не проходит даром. Блистательная талантливость и посредственная блудливость. Он лжив двояко: как нашководивший мальчик («это не я съел компот») и как богомаз без веры («эта-то богородица будет покрасивше»). Есть в тексте фраза, смешно разоблачающая его... Он противопоставляет бунинскому страху перед солдатами, как народом, свою юношескую близость к ним, тоже как к народу, и рассказывает: «я им читал на фронте Гоголя и Толстого, — чуть ли даже не Анну Каренину, — которая, кстати сказать, очень им понравилась».

Прелестно это сочетание: «чуть ли даже не» и «которая, кстати сказать, очень им понравилась». (Если «чуть ли», то, может, ничего и не было, а если «очень понравилась», то наверняка было.) А он даже не замечает таких вещей.

Как соль из перенасыщенного раствора, блудливость то тут, то там вдруг выпадает из текста наружу такими зримыми кристалликами. Право, блудливость должна быть более бдительной.

И все-таки — это обольстительная литература!

7 мая

Нашел когдатюшнюю выписку из «Святого колодца» — наверное, это из лучших строк, каких нет даже в «Траве забвения»:

«Если бы я был, например, жидкостью — скажем, небольшой медленной рекой, — то меня можно было бы не перекачивать с катаки на операционный стол, а слегка наклонить пространство и просто перелить меня из одной плоскости в другую, и тогда мое измученное тело все равно повторило бы классическую, диагонально изломанную линию снятия со креста: голова свесилась, ноги упали, а тело со впалыми ребрами висит косо в руках учеников...»

Может быть, искусством и вправду можно искупить грехи?!

8 мая

На балконе в неухоженном цветочном ящике лезут из прямоугольного островка земли какие-то безымянные, никем не посеянные травы и травки. Жаль, я не знаю, как их зовут, хотя безошибочно узнал бы их в лицо и на краю земли — в любой дали от Подмосковья.

Загадочно — почему в детстве, когда весь окружающий мир сообщал мальчику, как называются в нем разные вещи, травы и насекомые промолчали? Впрочем, деревья и птицы — тоже промолчали. Только самые приметные выдали свои имена.

Городскому мальчику не надо было разговаривать с ними и о них... Вот и вся загадка. А теперь узнавать их названия уже поздно: завтра все равно забудется новое слово. Это — как изучать иностранный язык в 50 лет: надо сызнова и сызнова лазить в словарь, чтобы слово застряло наконец в голове...

А «транцендентальная апперцепция» или «кариокинетическое деление» сидят в памяти, хоть нет у них ни плоти, ни цвета. Сидят с отрочества! Так неужели было время, когда городскому мальчику зачем-то нужно было разговаривать с этими неведущими вещами или болтать с друзьями о них? Этого уже не понять и не поправить.

9 мая

День Победы весь в недоумении...

Тривиальность преодолевается с помощью логического перевертня. Тысячи мудрецов спрашивали — «зачем смерть?» А поэт написал:

И зачем на свете жизнь,
Если есть на свете смерть?
(Хогасевич)

И мысль в тоске от того, что здесь выразилось. Это не логическая игра, а обновление зрения.

10 мая

Сегодня — в Ялту.

Впервые за шесть лет — без машинки, а стало быть, и без неизбежных угрызений совести. Буду книжки читать: я весь в долгах. Хорошо, что это я сам написал «Резерфорда» — иначе пришлось бы сейчас читать этот кирпич: говорят, стоящая книга, да и о Резерфорде все-таки!

11 мая

В одном купе с нами едет отдыхать в Судак полковник ракетных войск. Симпатичный и услужливый человек. Рассказывает он так: «Два раза в неделю у нас физподготовка: три километра за тринадцать минут возьми и отдай!» Или: «Этот штатский костюмчик мне в две сотни встал: материал, приклад, то се, и за пошив тридцатку возьми и отдай!» Между прочим, он сказал, что заочно окончил философский факультет.

12 мая

...С первой минуты ощутил, что все смотрят на меня, как на тяжело пострадавшего от операции и внушающего жалость господина. Вопреки уверениям литературы и гордецов, не надо протестовать: «Ах, не жалейте меня, я не люблю, когда меня жалеют!» Напротив — жалейте, жалейте! Я это люблю, ребята!.. Существенно только одно условие: самому не чувствовать себя несчастным и достойным собственной жалости.

Когда это условие соблюдено, сочувствие — славная игра в человечность — лучшая из игр, непроследимо давно придуманных человечеством: иначе оно не сумело бы сойти со звериной дороги естественного отбора.

14 мая

Читаю мемуары Юрия Анненкова, изданные там.

Если бы его ум хоть отдаленно равнялся бы его злости! Он назвал свои воспоминания «Циклом трагедий». Но злость не та краска, какую пишутся тра-

гические портреты. Он любит себя в своей памяти, а вовсе не тех, о ком вспоминает. Он ненавидит саму революцию и потому не понимает истинной трагедии ее делателей и детей. Он вообще не понимает, что такое трагедия. Он из тех, кто думает, что если бы Гамлет убил убийцу отца, то этим и разрешился бы весь вопрос — «быть или не быть?».

15 мая

За балконами нашего дома на горе до самого моря лежит по утрам полосато звучащее пространство.

Оно начинается узкой зоной тишины меж стенами и балюстрадой.

А затем — падающая вниз зеленая громада парка, переполненная разногласицей птиц. Полоса перелетающих звуков. И она кончается сравнительно близко.

А дальше — полоса немоты и маленькая площадка детского щебета. Он — как птичий, но другой: голосов не различить — просто дробная осыпь веселых звуков. А потом опять ощутимая полоса тишины. Догадываешься — это окраина парка.

А за нею — городской гул. И непонятно — откуда идет он, его уж и вовсе не расчленишь. Извивающаяся полоса звучания — точно город настраивается перед началом дня.

А за этой полосой — до самого горизонта — синяя немота пустынного моря под синей немотой пустынного неба.

16 мая

...Опять этот ялтинский порт без матросов. Без греха. Без соленого ветра. Опять это сладостное (и сладкое) зрелище белых (слишком нарядных) теплоходов у пирса. И парусник «Товарищ» — вдали на рейде со спущенными парусами.

А в Москве умирает Паустовский — кажется, последний бескорыстный и честнейший враль-утешитель в нашей литературе. Кончается «Юго-Запад»!

Парусникам будет одиноко в море без Паустовского. Люди-то обойдутся другими писателями. А есть на свете вещи, которые навсегда сиротеют с уходом тех, кто делал их одушевленными существами.

Вспомнил, как лет десять назад мы с Константином Георгиевичем наперебой снимали «Товарища» под парусами в этом же ялтинском порту. К. Г. начал щелкать аппаратом еще издалека — с горы, потом с Морской. Было чуть стыдно ему подражать — рядом с подлинностью его восхищенья собственное казалось притворством. Он взял с меня честное слово: «Вы пришлете мне все свои ракурсы!» И побожился, что придет свои. А я потом забыл об этом. И он забыл — прислал совсем другие снимки (на площадке Дома творчества) с милыми надписями... Надо бы найти ту старую пленку и сделать обещанное, пока не поздно.

(Не сделал, конечно: когда собрался, было уже в самом деле поздно. — *Добавление 1980 года.*)

18 мая

Лет тридцать назад, в студенческие времена, наша любознательная Рита Алигер попросила меня рассказать ей, как устроено радио. Я говорил и в воздухе рисовал рукой со всем пылом студента-проповедника. Потом она сказала: «Ты прекрасно все объяснил. Я только не поняла — почему оно говорит?»

Сегодня она попросила рассказать ей «смысл философии Бердяева». Я говорил и жестикулировал с потускневшим пылом совсем иного свойства: с торопливой боязнью обнаружить собственное полупонимание. Потом она сказала: «Ты хорошо все объяснил. Я поняла, что его главная идея — верить в Бога, так ведь?»

Тридцати лет как не бывало! И зачем прошли двадцать веков?! «Рождение человека в Боге и Бога в человеке» — можно, конечно, сказать, что рядом с этим устройством радио — совершеннейшие пустяки, но на самом деле это совсем не так. В вере просто нет никакого «устройства». Вера — это «Слово», что было замечено еще четвертым евангелистом. Из-за отсутствия «устройства» понятие о Боге однозначному пониманию и популяризации недоступно.

Истоки социалистического реализма, как и всего на свете, прячутся в глубокой древности. В «Трех книгах о живописи» Альберти написано:

«Древние писали портреты Антигона только с одной стороны его лица, на которой не был виден выбитый глаз» (стр. 41).

19 мая

Сегодня плыли с Таней Луговской и Сережей Ермолинским в Мисхор. Почему-то зашел разговор о стихах, которые все пишут в юности. И я начал вспоминать собственные изделия давней поры. Таня слушала с той пристальностью, которая заставляет чувствовать, что тебя сейчас молча взвешивают на весах. Ей это очень свойственно. Она из тех женщин, что не судачат, а ведут беседу. Что-то она находила в моих старых перезабытых строках. И все удивлялась, как это можно перезабыть собственные стихи... А Сережа сказал:

— Очень можно! Почему «можно» — не знаю, но вот перезабылись же они, значит — «можно».

Одно все-таки вспомнил почти целиком:

О Темный, мудрейший из эллинов,
что же мне в радости делать?
Видишь, как темны и зелены
мысли мои — вся незрелость.

В юности девять десятых —
радость. В одной только пусто.
В ней-то, как в сумерках, спрятан
зыбкий источник искусства.

О Темный, мудрейший из эллинов,
это и странно, и сложно:
отчего ж девяти не доверено
то, что доверить возможно?

Когда же это писалось? И отчего кончилось? Последние приступы бывали во время войны — тоже, наверное, в часы «пустоты» — незаполненности ничем, кроме слезки за самим собой.

Сереже понравилось, что лирика возникает из слезки за самим собой. Похоже на правду.

21 мая

Несносно: ты говоришь, что тебе не нравится «Расемон» Куросавы, а в ответ: «Куросава великий режиссер, и его картина сыграла громадную роль в развитии японского кино, явившись то ли разоблачением, то ли переосмыслением традиций и чего-то еще...» А что мне до этой громадной роли и до этого разоблачения, переосмысления, утверждения, если моя европейско-русская душа усмехается как раз там, где по ходу изображения ей следовало бы плакать!

Вечная подмена: знатоки ставят историю искусства на место самого искусства. А у искусства нет истории. Всегда — только настоящее, каким-то образом успевшее побывать прошлым. И если его приходится защищать заслугами перед ушедшими поколениями, значит, оно без надобности живой душе современности. Оно переходит в разряд памятников культуры. А у культуры история, конечно, есть: она — творчество всего человечества. Искусство же — творчество человекoв, умеющих выпадать кристаллами из раствора человеческой массы. У искусства есть судьба — вместо истории.

Мы смотрели «Расемон» в открытом ялтинском кинотеатре. Картина началась в светлых сумерках, а кончилась в полной темноте южной ночи. И отрадой было исподволь следить за переходом неба из одной жизни в другую.

22 мая

По Дому творчества гуляют две книги Бердяева. Все делают вид, что им они, эти книги, ну просто хлеб насущный!..

Хотя Бердяев уверяет, что занят поисками не теодицеи (оправдания Бога), а только антроподицеи (оправдания человека), на самом деле он все время занят именно оправданием или улучшением идеи Бога. Для него она, эта идея, противоестественное самовнушение в человеке XX века. И он сознает это с терзающей остротой. Может быть, тут звучат поздние отголоски его раннего марксизма?

23 мая

Читая Бердяева и Шестова, начинаешь ощущать прельстительность экзистенциализма: он освобождает от почтительности к философии, как профессии мысли. Это философия людей, любящих человечество, но уставших от его несчастной разумности.

24 мая

В Москве открылся съезд писателей. Драматически смешно, что на него выбирают делегатов. Все равно что «избрание в литературу». И вот — Виктора Некрасова не избрали! Вчера он приехал сюда, получив до этого письмо от Солженицына.

В простеньком конверте простое письмо — не заказное и не ценное. А на деле — бесценное и сверхзаказное. Оно адресовано не В. Н., а съезду. И вот теперь-то окажется, что IV Съезд писателей действительно происходил! Только этим удивительным посланием (если не разразится еще что-нибудь эдакое — незапрограммированное) IV съезд войдет в историю нашей общественной жизни, то есть в историю общественных ПОСТУПКОВ нашей интеллигенции.

25 мая

В Доме творчества живут писатели и милиционеры (не сезонное время). Два человеческих ручейка — не сливающихся. Вместе они только трижды в день вливаются в столовую — перед кормежкой все равны.

Занятно, что кому-то из начальства в Литфонде — не выше! — пришло на ум селить вместе литераторов и милиционеров. В этом есть нечто насмешливо символическое.

27 мая

На стоянке такси детский голосок:

— А почему я должна рассказывать ему о своем прошлом?

Стариковская сочувственная хрипотца в ответ:

— Да, это трудно... это трудно...

Оборачиваюсь: разговаривают подвыпивший толстяк со шрамом через все лицо и тоненькая девочка лет десяти с заплаканными глазами. И немисливо догадаться, кто и зачем требует у нее рассказа о прошлом. (Которого еще не было!)

А ведь кто-то наверняка требует. И тому, кто требует, это зачем-то наверняка нужно!

28 мая

Шолохов — всесоюзный дед Щукарь. Как всякий придворный шут-любимец, он, однако, позволяет себе ернически выдавать тайны мадридского двора. Нечаянно он разоблачил переподготовленность съезда и обесмыслил это мероприятие. Его речь оказалась незапрограммированной, почти как письмо Солженицына.

(Добавление 1980 г. — Замечательно, что прошло 13 лет и невозможно вспомнить, что же он разоблачил, что обесмыслил... А ведь казалось, это будет помниться. История нашей литературы крошится на пустыки, но иные уж столь пустыковы, что уходят из поля зрения сами.)

Почему Шолохов не рвется к литературной власти? Ему бы ее преподнесли на блюдечке. Неужели и он — фигура трагическая?

29 мая

Три часа сидели на набережной Ялты, и ни одной дамы с собачкой!

А Ося Хейфиц на днях рассказал, как во время съемок «Дамы с собачкой» консультантша из собаководов заметила у Чехова ошибку. У него шпиц трусит за хозяйкой сзади. Оказывается, этого не бывает: шпицы всегда бегут впереди — на поводке или без поводка, все равно. Так они устроены. Собаководам никогда не удавалось побороть их нрав. Уязвленный чеховед мог бы возразить: «А Чехову удалось, вот и все!»

30 мая

Когда сидишь на набережной, от нечего делать сочиняешь вероятную судьбу проходящих мимо. Все их будущее — самоубийства, браки, слава, измены, роковые болезни, беды и счастье — зависят в эту минуту от моего умонастроения, добросердечия или злопыхательства...

А через десять шагов они попадут под злую или добрую волю другого праздного наблюдателя, молча играющего в ту же игру. И вся их судьба может мгновенно измениться: поправится больной и заживет беззаботно самоубийца, а бесславие станет уделом счастливец... Всего десять шагов — считанные секунды — и новая судьба!

31 мая

...Смотришь в вагонные окна и видишь не очень-то широкую ленту человеческого обитания: жизнь довольствуется полосой вдоль железнодорожной черты отчуждения. А дальше — пустые леса и пустые поля.

...Сидишь на берегу моря и видишь вольно изогнутую полосу прибрежных вод, где медлят суда и снуют суденышки. А дальше — пустынное пространство огромной необитаемой синевы.

...Смотришь снизу на горные склоны и переполняешься тем же впечатлением: жизнь обволакивает подножия и предгорья, а выше — вздыбленные к небу безлюдные пространства.

Да ведь она же еще почти необитаема, наша старая перенаселенная Земля!

1 июня

Весь день в голове фраза Качалова из письма к Лике Мизиновой: «Вместе... потосковали бы о нашей нескладной родине».

Хоть снимай очки и прикладывай платок к глазам.

2 июня

Когда мы приехали, отцветали иудино дерево и глицинии. Сейчас отцветают розы. Но ни от того, ни от другого не убывает красоты вокруг. Природа не озабочена тем, как она выглядит и какой она кажется. Если подумать, она просто непрерывно работает, и всегда — в рабочей одежде. И так работает, что спецовки на ней горят! Приходится переодеваться.

Продолжение следует

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ

ГНЕВ ЖИВЫХ НА ЖИВЫХ

1

Наши представления о культуре «серебряного века» зачастую кажутся нам почти исчерпывающими. Тем не менее подобная самоуверенность не вполне обоснована. Дело не только в том, что поток переизданий и публикаций начала девяностых не включил в себя очень многие значительные памятники того времени (стихи И. Коневского, В. Комаровского, С. Парнок, проза Л. Зиновьевой-Аннибал так и не вышли отдельными изданиями, осталось неосуществленным собрание сочинений Кузмина и т.д.). Гораздо существеннее внутренняя упрощенность нашего взгляда на этот сложный культурный комплекс, взгляда, как правило, мечущегося между двумя одинаково сомнительными стереотипами — наивным самоуничижительным восторгом и ригористическим осуждением (основываемся, в частности, на поздних произведениях некоторых классиков той эпохи, например, на «Поэме без героя» Ахматовой; при этом от нынешнего читателя ускользает большая мера литературной условности, присутствующая в ахматовском «самоосуждении»).

Несомненно, одним из препятствий для адекватного восприятия русского эстетического и интеллектуального макрокосма начала века является объективный разрыв культурной цепочки, связывающей с ним наше (и предшествующее) поколение. Сам по себе этот разрыв (точнее, надрыв, ибо, при всем своем драматизме, он не был бесповоротным и не привел к полной потере понимания) даже обострил наши чувства по отношению к прошлому отечественной культуры, способствовал большей яркости и напряженности его восприятия; но избыток эмоций всегда ведет к искажению картины, нарушению пропорций; и, может быть, верное понимание придет лишь тогда, когда исчезнет это ощущение трагической и непоправимой разлуки. Поколение, свободное от этого чувства, кажется, уже появилось или вскоре появится...

Однако есть вещи, доступные лишь пристрастному взгляду. И, по крайней мере, стоит сохранить мир, отраженный в зрачке заведомо субъективного свидетеля, для холодного суждения близкого будущего.

В этом смысле выход в свет книги М. С. Альтмана «Разговоры с Вячеславом Ивановым» (СПб, 1995) представляется неожиданно своевременным. Три десятилетия назад, когда цензурированные отрывки из нее появились в «Ученых записках Тартуского университета», она в полноте своей была бы понятна лишь очень ограниченному кругу филологов; шесть лет назад, когда она была подготовлена к печати, ее, возможно, быстрее раскупили бы, но менее внимательно прочли.

Книга, составленная В. Дымшицем и К. Лаппо-Данилевским, тщательно и истово откомментированная последним (хотелось бы упомянуть еще и редактора — А. Тимофеева, также обеспечившего высокий академический уровень издания), включает кроме собственно «Разговоров с Вячеславом Ивановым» еще и многочисленный «сопутствующий материал»: стихотворную переписку автора и «главного героя» книги, мемуарные записи Альтмана и — что особенно важно. — фрагменты его подлинных дневников, относящиеся к тому же времени, к тем же людям и событиям. Все эти добавления — вольно или невольно — играют роль не только дополнительного комментария к «Разговорам», но и своеобразной антитезы им.

Дело в том, что сами по себе «Разговоры с Вячеславом Ивановым», составленные Моисеем Семеновичем Альтманом (1896—1986), впоследствии крупным литературоведом-русистом, в конце двадцатых годов по материалам подлинных записей бесед, проходивших в Баку в 1921 и начале 1922 года, представляют собой произведение, сознательно выстроенное по определенному канону и в соответствии с определенной традицией. Уже в предисловии упоминаются «Разговоры с Гете» Эккермана. В более широком смысле — это традиция диалога Учителя с Учеником, восходящая к Платону.

В этом смысле Альтман — студент классической филологии Бакинского университета и начинающий поэт, и прославленный Вячеслав Иванов, его учитель в филологии и мэтр в поэзии, казалось бы, идеально соответствовали принятым на себя ролям. Вспомним также, насколько важной для Иванова — в общении с современными ему поэтами и мыслителями — была позиция «собеседника», временами почти растворяющегося в чужом образе, чужой точке зрения, но, в конечном итоге, использующего ее для выявления и утверждения собственного духовного «я». (Не случайно он уже в итальянский период своей жизни встречался и беседовал с Мартином Бубером, автором философской концепции «диалога»¹).

С другой стороны, нельзя забывать, что и Моисей Альтман некоторыми чертами своей духовной биографии был подготовлен к роли «влюбленного ученика» и, с другой стороны, «собеседника». Он происходил из среды хасидов; для этого течения в иудаизме была характерна чрезвычайно высокая роль духовного Учителя — «цадика» или «реббе», окруженного почитающими его последователями. Сам Альтман в дневнике характеризует себя как хасида, обретшего в Вячеславе Иванове своего «реббе». В то же время для хасидизма очень важен диалог как метод постижения истины, и именно на духовном опыте этого религиозного течения основывал свои построения Бубер.

Таким образом, «Разговоры» — произведение, включающее очевидный элемент «построенности» и «преднамеренности». Однако этому явно противоречит структура книги, начинающейся и заканчивающейся на полуслове и страдающей недостатком систематичности, «законченности»: собеседники беспорядочно меняют темы, переходя от богословия к стихосложению, от политики — к характеристикам писателей-современников, от античной филологии — к вегетарианству.

Создается впечатление, что эта структурная фрагментарность «Разговоров» отражает противоречия во взаимоотношениях собеседников, определенный зазор между их условными «ролями» и реальностью. Это впечатление подтверждается дневниками Альтмана, в которых наряду с почти религиозным восторгом перед учителем содержатся и чрезвычайно резкие выпады против Иванова, относящиеся в основном к более позднему времени, к 1923—1924 годам.

«Некогда В. был искателем, теперь — священник (по Вейнингеру). Не Папа, а мелкий иерей. Не Папа, а попик». «Весь он — сладострастие и гордыня». «На старости лет наконец дорвался до профессуры (профессор Бакинского университета — скажите пожалуйста, какая честь!) и, как старая дева, что наконец вышла замуж, непрестанно говорит и чувствует это». К этим цитатам можно добавить и другие, не менее выразительные...

Чтобы понять суть этого противоречия, мы должны рассмотреть его в более широком культурном контексте; и, в свою очередь, пытаясь разобраться в этом

¹ Похожая концепция — до Бубера и независимо от него — сформулирована Ивановым в его предреволюционной статье «Ты еси», повлиявшей, как ныне установлено, на идеи М. Бахтина.

парадоксальном на первый взгляд психологическом узле, мы, может быть, сумеем подобрать ключ к вопросам, выходящим за рамки личностей Вячеслава Иванова и его собеседника.

3

Примерно в те же годы, когда Иванов беседовал с Альтманом в Баку, Мандельштам в нескольких статьях дал полемически заостренную, но по-своему глубокую характеристику русских символистов: «Вселенская мысль... шумным полководцем смысла домашнюю рухлядь: русской поэтической мысли снова открылся Запад, новый, соблазнительный, воспринятый весь сразу, как единая религия, будучи на самом деле весь из кусочков вражды и противоречий... Вместо спокойно-го обладания сокровищами западной мысли — юношеское увлечение, влюбленность, а главное, неизбежный спутник влюбленности, перерождение чувства личности, гипертрофия творческого «я», которое смешало свои границы с границами вновь созданного увлекательного мира, потеряло твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки как своей...» Строго говоря, это относится не только к Западу, но и к Востоку, к античности, к русскому прошлому. Широта культурного кругозора Брюсова, Бальмонта и, конечно, самого Вячеслава Иванова была экстраординарна — даже на фоне русской литературы с ее общеизвестной «всемирной отзывчивостью». Собственно говоря, Пушкин (владевший по-настоящему всего двумя европейскими языками и не так уж много на этих языках прочитавший: по-французски — в основном классицистскую словесность от Корнеля до Шенье и кое-кого из современников — Мериме, Сент-Бева, по-английски — Шекспира, Байрона и Вальтера Скотта) был в сравнении с этими людьми — страшно сказать — едва ли не невеждой. В их интеллектуальном пространстве все сочеталось со всем — античность с Японией, Новалис с Византией, Ницше и Вагнер со славянскими древностями, Верлен с миннезингерами, Эдгар По с «веком пудренных маркиз».

Но подлинно глубокое культурное мышление определяется не столько формальной эрудицией (которая в любом случае не может быть абсолютной) и широтой обзора (в предельном случае означающей попросту равнодушие и неспособность к осмысленному выбору), сколько умением мысленно «достраивать» пропущенные элементы целого, невидимые части здания. Скажем, Пушкин высокомерно отзывался о Вийоне, «сочинявшем стишки о кабаке и виселице», но созданный им образ европейского культурного мира каким-то непостижимым образом включает и эстетическую реальность, связанную для нас с Вийоном. Пушкинский «волшебный кристалл», при всей его исторической конкретности и привязанности к частностям своей эпохи, обладает свойством отражать любой участок культурного пространства в его физиологической неповторимости. «Ты — это ты, потому что я — это я» — эта формула из приведенной Бубером хасидской притчи в данном случае оказывается очень к месту. В случае же «старших» символистов невыявленность собственного «я», невероятно разбухающего и теряющего всякие очертания, делает невозможным и адекватное восприятие исторического «собеседника».

В этом смысле очень характерен отзыв Иванова о Бальмонте (из «Разговоров»): «Книг он читает много, но схватывает только то, что ему кажется бальмонтовским... Если он говорит, что ему понравились ваши стихи, это значит только, что вы напомнили ему его самого». И в то же время: «Мы его воспринимаем переработанного нашим эхом». То есть Бальмонт видит весь мир как часть себя, но сам он, в конечном итоге, — лишь тень, призрак. Не случайно его стихи так напоминают переводы. И тем не менее даже это выглядит привлекательным в сравнении с брюсовским «насильническим», «волевым» отношением к миру и культуре, механически втягиваемым в орбиту безразмерного авторского «я».

Это же стремление «все изведать», со всем отождествиться, испытать любой опыт было движущей силой жизненного поведения старших символистов. «Моя душа — глухой всебожный храм...» «...Мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих». Однако это поклонение «всем богам» имело свои границы. «Вы, ребенка, поэтом обреченного быть, всех богов в мире этом научившие чтить — кроме бога Ваала» — эти строки Цветаевой посвящены «отцам», то есть как раз поколению 1890-х. На практике эта готовность чтить «всех, кроме Ваала», оборачивалась духовным экстремизмом, презрением к «буржуазности», к житейской норме и здравому смыслу, к «фармацевтам» (слово, имевшее тот же смысловой оттенок, какой в богемной среде 1970—80-х имело слово «инженер»).

Этот экстремизм был, может быть, в еще большей мере присущ символистам следующего поколения — Блоку, Белому и их круту, но у них не было эклектизма и духовной всеядности, «декадентской» тяги к любой экстреме, вне зависимости от ее направления. Эклектика Кузмина (из раскольничьего скита — в мужской *nacht-local*, из Александрии гностиков — в кабинет доктора Калигари) имела совершенно иные, чем у того же Брюсова, психологические и духовные корни. Однако с Вячеславом Ивановым дело обстоит еще сложнее. С одной стороны, ему даже больше, чем кому бы то ни было из его сверстников, была присуща тяга к восприятию и воплощению самого разнообразного духовного, интеллектуального и жизненного опыта. В то же время не случайно его относят к «младшим» символистам, хотя по возрасту он был едва ли не старше всех. Он — в очень большой степени — сохранил веру в наличие объективной истины и объективного эстетического канона. Оставаясь православным в религии — впрочем, придавая этому слову особый смысл, позволивший ему позднее перейти в католицизм, «чтобы стать до конца православным», — он и в искусстве стремился соблюдать то, что сам называл «правовкусием». Будучи «дионисийцем», он верил в возможность примирения Диониса с Аполлоном.

К периоду жизни Иванова, предшествующему бакинскому, относится знаменитая «Переписка из двух углов» с М. О. Гершензоном. «Вам кажется, что забвение освобождает и живит, культурная же память поработывает и мертвит; я утверждаю, что освобождает память, поработывает и умертвляет забвение... Культура — культ предков, и, конечно — она смутно сознает это даже теперь — воскрешение отцов». Эти слова звучат странно в устах автора «Кочевников красоты»; но нельзя не обратить внимания на следующее обстоятельство: «благодетельное приятие истории», в котором обвиняет Иванова Гершензон, сочетается у него с очень сомнительными, с точки зрения любой традиции, эсхатологическими фантазиями à la Николай Федоров. Приведенное место из «Переписки» причудливо адекватно с монологами некоторых персонажей Максима Горького. И это нельзя назвать случайностью: ведь Анатолий Луначарский, один из авторов вдохновлявшей Горького концепции «богостроительства», был в числе завсегдаев «Башни» и участвовал в тамошних философских дискуссиях, доказывая, что «пролетариат есть современное воплощение Эроса». (Здесь уместно упомянуть о забавном для современного читателя месте «Разговоров», которое составители даже не сочли нужным комментировать. Иванов с гордостью говорит о своем сравнении Льва Толстого с «зеркалом, на мир направленным»; по его мнению, подобная мысль больше никогда и никем не высказывалась.)

Похожие высказывания о культуре можно найти и в «Разговорах». «Я живу во дворце старинном, где живут и Дант, и Эсхил... И я горжусь, что живу в старинном дворце, и даже к нему подстроил еще фасад». Можно предположить, что у человека послереволюционных лет такая позиция могла вызвать упреки в духовном самодовольстве, в «существовании на культурную ренту», по выражению того же Мандельштама. Однако у Иванова это поклонение культурной памяти сочеталось с тягой к духовной экстреме, с эсхатологическими чаяниями, признание «всех богов» — с православием и «правовкусием», дионисийское начало — с аполоническим. Можно сказать, что он в определенном смысле соединил в себе все тенденции культуры «серебряного века».

Такое сочетание вело, с одной стороны, к утопическим конструкциям вроде приведенной выше (генетически связанным с мечтой о «соборном дионисийском действе», столь значимой для круга Вячеслава Иванова — Скрыбина в начале века); с другой — к тому, что современниками могло быть воспринято как суета, лицемерие, эклектика. Именно слова «лицемерие» и «суета» чаще всего присутствуют в резких по тону дневниковых записях Альтмана об Иванове.

Обратимся же к автору и младшему участнику «Разговоров».

4

Моисей Альтман, родившийся в 1896 г., принадлежал к последнему поколению людей «серебряного века». Провинциал, выходец из мелкобуржуазной среды, к тому же маргинальной по отношению к русской культуре (детство — в очень патриархальном еврейском местечке, отрочество — в разноплеменном Баку), он принадлежал — в момент знакомства с Ивановым — к большой армии молодых интеллигентов средней руки, для которых современная им элитарная культура воспринималась прежде всего в своих самых очевидных, внешне ярких, лежащих на поверхности аспектах. Характерны даже его поэтические вкусы (Северянин, Бальмонт). Это обстоятельство, кстати, определяет и удобную для совре-

менного читателя структуру «Разговоров» — сложные вопросы объясняются Ивановым «на пальцах», в расчете на непосвященного.

И в то же время некоторые очень существенные черты личности Альтмана коррелируют со сказанным выше о «людях 1890-х годов». Вот его автохарактеристика: «Чем я только не увлекался, чему я только не сочувствую. Я и коммунист, и эсер, и монархист, и республиканец, я и толстовец, и хасид, и ницшеанец, и шопенгарианец. Я за всех, я за все, я ничей и ничто. Я раздираем на все атомы, я миллиард частей без единого целого, без синтеза, тысячи возможностей, ни одной действительности, периферия без центра, мир без Творца, толпа без героя, история без апофеоза, жизнь без гения». К этому можно добавить, что в какой-то период Альтман почти серьезно думает о... принятии ислама.

В каком-то смысле Альтман — запоздалое порождение культуры «рубежа веков»;¹ сам он не «декадент», но человек, склонный, как и его учитель, поклоняться «всем богам», отошедший от традиционного «интеллигентского» мировоззрения. Характерны следующие обращения к нему слова Иванова: «Вообще-то я испытываю к моралистам чувство глубокого уважения, но при них застегиваюсь на все пуговицы, с вами же... я чувствую себя превосходно, ибо знаю, что в душе у вас сидит умница-черносотенец».

Однако, как мы уже отмечали, Иванову наряду с этим «многобожием» (он выражает, в частности, сожаление о том, что не может слушать Элевсинского оракула и совершать жертвоприношения в Иерусалимском храме) свойственно утверждение православия и «правовкусия», целостности и иерархичности культуры, благоговейное отношение к «академическому духу». На фоне дионисийского бунтарства, свойственного Иванову в петербургский и московский периоды, это воспринималось как «лицемерие»; рядом с глобальными жизнестроительными проектами символистов обычное бытовое поведение виделось «суетой».

Конечно, нельзя забывать, что бакинский период жизни объективно был для Иванова очень трудным. Дело не только в личных переживаниях (связанных со смертью Веры Шварсалон), не только в политических потрясениях, но и в давно внутренне назревшем изменении уклада и строя собственной жизни, отказе от активной литературной деятельности, возвращении к науке. Перелом этот сопровождался глубоким душевным кризисом. Все это надо учитывать при оценке истории взаимоотношений между Ивановым и Альтманом, так же как иные, более или менее житейские обстоятельства (например, очевидная романтически окрашенная влюбленность Альтмана в дочь Иванова Лидию). Однако в основе этих метаний от страстной любви до почти ненависти было неприятие духовной эволюции учителя, его внутренней многомерности, нетождественности себе, воспринимавшихся как лицемерие, «предательство» по отношению к идеям и людям.

В этих обвинениях, возможно, была доля истины. «Отцы» не желали принимать на себя ответственность за метания «детей», отчасти инспирированные их идеями; тем более они не желали видеть жуткого отражения этих идей в действиях ненавистной им власти. Ситуация легко укладывалась в сюжетные схемы любимого Иванова Достоевского (отец и сын Верховенские, Иван Карамазов — Смердяков), но Иванов избегает подобных аналогий.

Теперь следует сказать об «обратной стороне медали» — об отношении Иванова к Альтману. Здесь также не все просто.

Циклу сонетов, посвященных Ивановым Альтману, предпослан эпиграф:

Тому из двух в одном, со мной делившем
Беседы пряמוшной хлеб и соль,
Кого в бореньи соприродных воль
Желал бы я восславить победившим.

В комментарии эти стихи интерпретируются так: «Двойственность поведения М. С. Альтмана вызвана, по всей видимости, его стремлением следовать двум культурным традициям, ветхозаветной и новозаветной, что становится причиной его ущербности и несвободы, преодолеть которые можно лишь обретя целостность...» Эти слова можно истолковать лишь одним образом: Иванов призывает Альтмана стать христианином. Мы позволили бы себе не согласиться с такой интерпретацией приведенного выше четверостишия: она не вполне соответствует взгляду идейных последователей Владимира Соловьева — в том числе Вячеслава

¹ «Именно на этих писателях, символистах и декадентах, я воспитывался... Я их запоздалый последователь и поклонник». — См. «Дневник М. А.».

Иванова — на взаимоотношения иудаизма и христианства. С точки зрения «христианского филосемитизма» начала века (полемичного по отношению к христианскому антисемитизму времен Достоевского, который, в свою очередь, не следует путать с антисемитизмом расовым, характерным для германской культурной традиции), существование в новозаветную эпоху еврейства как особой не только этнической, но и религиозной общности — не результат недоразумения или коллективного греха, но проявление особого провиденциального предназначения; евреи являются историческими свидетелями и судьями христианской цивилизации, еще не достигшей полноты своего самоощущения. («Кому же и понять христианство, как не еврею», — говорит Иванов Альтману.) В эсхатологической перспективе примирение Израиля с Христом неизбежно, но крещение отдельного еврея не решает и не снимает духовной проблемы. Как справедливо указывает в послесловии К. Лаппо-Данилевский, диалог Иванова—Альтмана — это в том числе диалог человека Нового Завета с человеком ветхозаветным, «старым», *alt map*¹. Отказ одного из собеседников от своего статуса лишил бы эту часть диалога всякого смысла.

Причина двойственности отношения Иванова к тому, кого он называет «мятежным учеником», — не в различии духовных традиций, а в отношении к традиции как таковой. Иванову импонирует широта и незашоренность молодого философа; но его смущает отсутствие у последнего центростремительной тенденции, веры в абсолютную значимость и целостность культурного наследия, метания между несоединимыми полюсами, экстремами человеческого духа. Учитель видит в ученике (не столько лично своем, сколько в «ученике эпохи») всходы посеянных им семян — и они вызывают у него двойственное чувство. При этом он ощущает все же присутствующее у Альтмана глубинное стремление к духовной гармонии — и надеется на «победу» этой стороны его личности.

Другую, неприемлемую для Иванова сторону исканий его ученика в бакинский период символизирует Георгий Харазов, политэконом, человек, судя по всему, маргинальный в быту, склонный к нарушению условностей и норм благопристойности, парадоксалист и циник, сочинитель стихов, казавшихся Альтману гениальными, а Иванову — графоманскими (знакомство с текстами Харазова, сохранившимися в архиве Альтмана, убеждает скорее в правоте его учителя). Так или иначе, образ этого «антипода» Иванова, «искусителя», с влиянием которого он пытается бороться, придает книге дополнительный интерес. Харазов — соответствует это действительности или нет — предстает как «теневая», если угодно, розановская сторона культуры «серебряного века», от которой Иванов, в свои поздние годы, старается резко дистанцироваться.

Таким образом, перед нами — фрагмент традиционного русского спора отцов с порожденными ими и предъявляющими к ним счет детьми, загримированный под благодетельную, в эккермановском духе, беседу почтительного ученика с учителем. Как нам представляется, именно в этом споре содержится ответ на многие вопросы, обращенные нами сегодня к той эпохе, — и источник новых вопросов, на которые предстоит отвечать. «Гнев живых на живых», о котором, цитируя ранние стихи Иванова, говорит Альтман в предисловии к «Разговорам», сочетается в этом споре с редким в русской истории уважением к собеседнику, стремлением понять его; это тоже является порождением и приметой периода отечественной культуры, людьми которого — каждый по-своему — были и Иванов, и Альтман.

¹ Очень существенно, что Альтман не просто еврей по крови, как тот же Гершензон и т.д. Он сочетает университетские занятия с изучением Торы под руководством раввина Меюхеса, отмечает еврейские праздники.

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН

ПУТЬ АНГЕЛЬСКОЙ ПЛОТИ

В последнее время ангелы все чаще оставляют следы в нашем мире, хотя эти следы никуда не ведут. Ангелы, в современном представлении, — это заблудившиеся посредники между небом и землей, — вестники без вести, которые ничего не сообщают о Пославшем их, а только пытаются скрыть свою потерянность и одиночество за хлопотливым участием в земных делах. Таковы, например, ангелы в знаменитом фильме немецкого режиссера Вима Вендерса «Крылья желания», получившем золотой приз 40-го Каннского фестиваля. Но хотя ангелы — прозрачные, утомленные, сиротливые, с помятыми или даже сломанными крыльями — часто появляются в современных произведениях искусства, редко можно познакомиться с обратной перспективой: как воспринимается мир этими существами не от мира сего? Из чего наш мир состоит на ангельский взгляд и ощупь? Из тех же ли самых ощущений тяжести, упругости, света и мрака — или ангел в земном мире чувствует себя примерно так, как если бы человек вдруг превратился в земляного червя и нежностью своего гибкого тела стал ощущать давление черных, склизких, глыбистых масс на каждом извиге своего пути?

Зададимся еще более сложным вопросом: может ли ангел писать стихи? Разумеется, нет, поскольку, во-первых, ангелы лишены авторского начала — оно всецело принадлежит Богу, и ангелы, по смыслу своего вестничества, в лучшем случае могут лишь «цитировать» Его; во-вторых, они парят в поэтически безусловной стихии — света, пения, ликования, — которая не нуждается в условных знаках для своего выражения. Но если ангел уже достаточно приобщился к земной жизни, то у него порой может вырваться и некий вздох, обращенный то ли вспясть, к покинутому небу, то ли к еще предстоящим ему человеческим испытаниям. Если ангел начинает писать стихи, значит, ему вполне удался жалкий подвиг очеловечивания; но, слишком отяжеляя и заземляя этот новый для него опыт, он поневоле выдает свою ангельскую природу.

Недавно мне довелось прочитать стихи, автор которых показался мне не совсем натуральным, в смысле своей заявки на человеческое происхождение. Да и в Петербурге, где он якобы живет и о котором пишет, никто о нем ничего не слышал, даже в той литературной среде, где все знают всех, не только напечатавших, но хотя бы даже только пробормотавших одно четверостишие. У этого автора даже фамилии нет настоящей, а только два имени, Григорий и Марк, которые намекают на некий обряд, вроде монашеского пострижения, только наоборот.

«И какого же юродивого не кличут Гришей», — воскликнул как-то поэт Арсений Тарковский. Григорий Марк одновременно и юродивый, и евангелист, т.е. как бы благовествует и сам играет роль блаженного. Но юродивый среди ангелов — это такой, которому хочется не воспарить, а наоборот, плотнее осесть в скопище земных вещей, чуждых его воздушной природе. Оттого все предстает ему многократно уплотненным и утесненным — корявым, грубым, с грязноватым оттенком, хамоватым на ощупь.

Михаил Наумович Эпштейн (род. в 1950 г.) — критик, эссеист, автор книг «Парадоксы новизны» (1988), «Природа, мир, тайник Вселенной» (1990) и др. Живет в США.

© Михаил Эпштейн, 1997.

Вернусь иностранцем к себе в коммуналку.
 Все то же кирпичное, черное мясо
 Лоснится в обглоданных временах балках,
 И лампочка светит в углу безучастно.

И где-то у вешалки, в грязной прихожей,
 Вверху, в отороченных пылью обоях,
 Свисающих заживо содранной кожей.
 Я в треснувшем зеркале встречаюсь с собою...

Вот она, маленькая энциклопедия небесного ренегатства. Заметьте, что для восприятия дома как «кирпичного черного мяса», а обоев — как «заживо содранной кожи» нужно самому быть совсем уже лишенным и кожи и мяса, так, клубящимся паром или воздушным веянием. Человек не воспринимает подобную вещьность так отрешенно и трудно, она все-таки сродна его плоти. Заметьте, как лирический субъект этого громоздкого стихотворения путается в пространственных измерениях — «у вешалки» для него значит «где-то»; свидание с самим собой назначается «вверху», хотя речь идет о настенном зеркале. Можно было бы счесть это за недостаток стиля, непрописанность места и времени, если бы эта размытость не была формой ясности, выдавая вполне однозначно ангельскую природу того субъекта, которому даже «лампочка светит в углу безучастно». А как еще она обязана светить — сочувственно? изливая всеблагое лучи? как вечное солнце любви? Да и вряд ли кто из людей, созерцая обыкновенные балки, отметит, что они обглоданы временем — для этого нужно слишком привыкнуть к другой точке отсчета, от «вечности». Вот за такими эпитетами, как «безучастный свет» лампочки или балки, «обглоданные временем», тотчас и узнается, откуда попал в наше пространство этот метафизически подозрительный субъект.

Даже воздух, эту вроде бы родную для себя стихию, иностранное существо Григорий Марк ощущает как некую ранку, которая жжется, болит, припухает, словно некая порча и уязвление его начальной субстанции, состоящей из чистого эфира. А уж собственные губы, этот нежнейший и прозрачайший, любовью запечатленный покров человеческого естества, он ощущает вообще как коросту.

Ранку воздуха, йодом прижженную,
 Взглядом бережно перебинтуй.
 И белесую плоть воспаленную
 Всей коростой губ поцелуй.

Исцеление будет даровано,
 Так что кожей почувствуешь вдруг:
 Жизнь твоя в этот город вмурована,
 В Петербург — Ленинград — Петербург.

Не удивительно, что этот ангел решил воплотиться в одном из самых призрачных мест на земле. Вообще Петербург, можно сказать, взлетная и посадочная полоса для множества ангельских и соответственно демонских десантов, облюбовавших себе место наилегчайшего проникновения в земной мир и незаметного смещения с ним. В силу исторических обстоятельств и географического положения, Петербург — самый сложный, наименее охраняемый участок российско-потусторонней границы. Неизвестно, существует ли этот город иначе, как во сне и фантазии своего основателя Петра, о чем неоднократно напоминали Гоголь, Достоевский, Белый, для которых столица белых ночей была самым «умышленным» и «отвлеченным» городом на свете.

Но даже Петербург, в своей бесплотности, — слишком плотное место для обитания такого эфирного существа, как наш герой, который постоянно обдирается об его углы и стены, и обдирается не только телом, но и слухом и взглядом. Он живет здесь «как будто в сумерках вечных: почти что вслепую, на ощупь», натывается руками на «твердые острые вещи», опускается «грузно в колючие ребра диванов», ступает по «паркету, поросшему плесенью и мохом», пробирается по вагону, «набитому туго телами», его голова плывет в уличном потоке «набухшею черною щепкой», по его спине стекает «пыльный пот», и все его щуплое тело пропитано «приторным запахом смерти».

Вообще мир в этом вывернутом наизнанку благовествовании весь искорежен,

смаден, удушливо смертен, причем без особой художественной нужды и мотивировки. Балки «обглоданы временем» не потому, скажем, что они прогнили, а просто потому что, как вещество, они тленны; «пыльный пот» стекает по спине героя не потому, что он утомился на грязной работе, а просто потому, что телесному существу присуще потеть и покрываться пылью. Отсюда некая абстрактность этих переживаний земного как именно земного, и притом с привкусом грязного, хлюпающего, душного, болотистого — земного в том смысле, в каком человек обречен «в поте лица своего добывать хлеб, покуда не возвратится в землю, из которой взят». Перед нами ангел, вполне конкретно переживающий родовую всеобщность человеческого удела: ходить, а не летать, покрываться пылью и потом, а не струями света, пробираться между телами, а не парить в свободном пространстве. Мир увиден глазами небожителя, которому оказалось почему-то заманчиво вселиться если не в стопудовую купчиху, как черту у Достоевского, то в пожилого сумрачного питерского интеллигента. Он с печальным достоинством носит это безлюбое «тело чужое», которое на глазах у него деревенеет — но зачем, почему? Что побудило эту бесплотную фигуру покинуть мир, где он был больше ко времени и месту, т.е. к начальным условиям вневременности и невместимости? Об этом можно только строить догадки:

...Как будто птенец я и выпал
На мокрый асфальт из гнезда.

Или:

Ампутировал прошлое и в инвалидной коляске,
Громяхая, несусь, в туче пыли средь белых камней.
Уже нечем дышать, напрочь душу отбило от тряски.
Неба синий наждак обдирает всю кожу на мне.

Кто-то из критиков заметил, что у Марка, якобы, религиозная поэзия. Если это и верно, то с точностью наоборот. Религиозность — это направленность отсюда туда, а наш «автор» является оттуда сюда, вживляет себя в плоть этого мира, и потому его поэзия вдвойне материалистическая, упоенно, надсадно, отвратно материалистическая:

Огромные теплые бедра,
Обтянутые чешуею
Из липкой мерцающей ткани,
Плывут, натываясь на стулья,
Сквозь синий клубящийся воздух,
Плывут вереницею бедра...

Плывут говорящие лица,
Лиловые зубы ликуют
В ошейниках из ожерелий,
И твердые вены, взбухая
Растут в гофрированных шеях,
Как синие ветви деревьев.

В этих стихах удивляют не образы, слишком сгущенные, а потому расплывчатые, но именно ангелическая подоплека этого яростного материализма, который просто задыхается от прущей на него со всех сторон жадной человеческой плоти.

Для иноприродного духа не только внешний мир, но и собственная плоть, а пожалуй, и душа — тоже материя, и оттого он постоянно «встречается сам с собою», как с чем-то внешним и предстоящим себе:

Это тело чужое, в котором
я хожу уже больше полвека,
на глазах моих деревенеет.

Или:

Чужими.
Ты видишь себя
Лишь глазами
Чужими.

И даже когда он смотрит на себя в зеркало, он ощущает этот чистый овал, этот сквозящий пролет как рубцы на своей ангельской плоти, оттого и зеркало у него — «треснувшее», чтобы тем материальнее, грубее осязать бесплотный по-

длинник в расходящихся швах отражения. «Я в треснувшем зеркале встречу с собою...»

Замечательно, что из всех человеческих занятий наибольшее понимание и интерес у этого иночеловека вызывает профессия «гравера» (как и называется первый сборник). Ведь это так небывало и трудно — запечатлеть свой след в материальных вещах. Для ангела — это область столь же увлекательная и непостижимая, как для человека — бессмертие души. Он с удивлением и радостью открывает в себе человеческую способность касания, столь отличную от ангельской способности видения.

Ладонью, ощупью —
иное знание:
ты сразу чувствуешь,
что вещи прочные
со всеми гранями
их формы, в сущности,
для вящей точности
даны в касаниях.

Вслушайтесь в интонацию этого короткого стихотворения, в это бесподобное по наивности самоуверение, что «вещи прочные» и что «для вящей точности» они даны в касаниях. Ведь это язык существа, впервые открывающего для себя возможность прикосновения, ему внове то, что известно ребенку, и отсюда этот абстрактный по словарю метафизический лепет на тему касаний вообще — «знание», «вещи», «границы», «формы», «сущность». Да и дорожит наш ангел этой возможностью касания не потому, что ему хочется что-то изменить или улучшить в мире. Он в это не верит и на это не надеется. Ведь и человек вряд ли дерзает изменить запредельный ему мир духовный и лишь надеется стать его частью, запечатлеть себя и остаться. Так и у ангела-гравера цель скромная и по мерке нашей земной укорененности-умудренности почти умильная: проверить свою совместимость с миром, подтвердить свою принадлежность к нему, обзавестись уликами собственного существования. «Гравировать» на этом языке значит — вписать, врезать, «вмуровать» себя в этот мир, где «небо крошится на спины идущих с работы» и где «гуляет в рваном плащике автор этого стиха».

Читателю этих стихов грустно видеть себя, человека, глазами ангела. Еще более грустное, но и просветляющее зрелище — ангела, который, задав себе почти непосильную физическую и моральную работу, пытается стать человеком.

ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

БОРИС ПАРАМОНОВ

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ

(По поводу «Мифологий» Ролана Барта)

В Америке в 1996 году вышла книга Джошуа Рубенштейна об Эренбурге — объемистая биография знаменитого писателя и журналиста. Среди многих интересных подробностей из его жизни (например, как он разговаривал с Голдой Мейр будучи пьяным) сообщается и такая. В 1946 году Эренбург путешествовал по югу Соединенных Штатов, где имел место в частности такой эпизод:

«Однажды на одной местной дороге в штате Алабама Эренбург и его американские спутники проезжали мимо какой-то фабрики, около которой стояла масса запаркованных автомобилей. Эренбург сказал, что это, должно быть, автомобильный завод, выставивший наружу свою продукцию. Американцы уверяли его, что это текстильная фабрика и что автомобили возле нее принадлежат рабочим. Эренбург не поверил этому, он попросил остановиться и подождать конца смены. В пять вечера прогудел гудок, рабочие — белые и черные — вышли из заводских ворот, сели в автомобили и разъехались по домам. Эренбург был настолько потрясен этим зрелищем, что долго не мог произнести ни слова».

Книга Джошуа Рубенштейна настолько хорошо документирована, что не поверить этой истории нельзя, — и все же веришь как-то с трудом: неужели Эренбург, этот матерый волк, человек, полжизни проведший на Западе, не знал, что в Соединенных Штатах — автомобиль не роскошь, а средство передвижения, что знали даже в Советском Союзе, даже беспризорники (см. мемуары Н. Я. Мандельштам)? Он мог бы, к примеру, вспомнить книгу Бориса Пильняка «О'кэй». Тот был в Америке году в 33-м, во время Великой Депрессии, когда дела шли там действительно худо, и увидел где-то на строительстве дороги по специальной федеральной программе помощи безработным ту же картину: массу автомобилей. Он тоже вроде Эренбурга спросил: «А чьи это автомобили?», и ему ответили: «А это безработные на работу приехали». Такую деталь нельзя не запомнить (я бы сказал, что это единственное, что запоминается в этой малоинтересной книге). Ну, допустим, Эренбург не читал эту вещь Пильняка, но «Одноэтажную Америку» он читал уж наверное, а там тоже много говорится об этой всеобщей американской автомобилизации.

Дело, конечно, не в начитанности или забывчивости Эренбурга, а в том, что этот человек, при всем его многообразнейшем опыте, при всей остроте его глаза, замечавшего мельчайшие детали стороннего быта, терял иногда зрение, как и многие (если не все) его современники, жившие в социалистической парадигме. А то, что Эренбург был социалистически ориентированным левым интеллектуалом, сомнений не вызывает. Социализм был действительно воздухом двадцатого века, им нельзя было не дышать, а многие и отравлялись. А ведь одним из важнейших пунктов социалистической веры как раз и было представление о том, что рабочие при капитализме не могут жить хорошо. Эта социалистическая иллюзия начала рушиться именно после второй мировой войны, когда Америка окончательно вышла на мировую арену и продемонстрировала всему миру альтернативные социализму

модели. Эренбург в Америке как раз и поспел к началу этого процесса, а наблюдателем он был все же острым, и именно тогда, уезжая из Штатов, он занес в свою записную книжку: рассчитывать на социалистическую революцию в Америке не приходится. Об этом он достаточно откровенно рассказал в своих мемуарах.

Эренбург приехал в Америку из разоренной войной Европы, и, как пишет Джошуа Рубенстайн, он говорил своим знакомым, что Соединенные Штаты ушли от Европы на двести лет вперед. Этот разрыв, конечно, скоро сократился — с помощью той же Америки, — и Европа, по крайней мере Западная, не поймавшаяся на приманку тоталитарного социализма, зажила вполне корректно. Тем не менее социалистический миф в ней отнюдь не умер. Или, в нашем контексте, лучше будет сказать так: в мировоззрении западных интеллектуалов самого высшего ранга почти неприкосновенным сохранился миф о капитализме и о буржуазности западного общества, провоцируя этих интеллектуалов на остро критическое отношение к Западу. А в качестве некоего, психологического что ли, противовеса долго сохранялось и априорно доброжелательное отношение к Советскому Союзу, каковое отношение так и не изменили до конца даже такие события, как XX съезд КПСС, разоблачивший Сталина, Венгрия, Чехословакия и все последующее. Сильно прочистил мозги западным левым Солженицын своим «Архипелагом»; но я не уверен, что даже сейчас, после крушения коммунизма в СССР и самого СССР, они до конца осознали, что иной, кроме западной, альтернативы этому кошмарному опыту нет и быть не может. Ведь дело даже не в Советском Союзе: левизна и так называемая антибуржуазность существует на Западе и сами по себе, вне советского опыта и того или другого к нему отношения.

Метафизическим основанием левизны является вопрошание самого бытия, сомнение в его онтологической достоверности.

В этом убеждают меня, в частности, работы Ролана Барта, давшего впечатляющие и крайне характерные образцы критики того мировоззрения, или, как он предпочитает говорить, той мифологии, которые он называет буржуазными. Неважно, что сам Барт умер в 1977 году и не застал краха коммунизма. Важно то, что его отношение к западной цивилизации — весьма и весьма критическое — зряд ли испарилось из духовной атмосферы свободного мира. В этом убеждает самый метод мышления Барта, который, вне всякого сомнения, остается живым и действенным на Западе. Этот метод даже ведь и не от Барта зависит, не им придуман, он лежит в русле влиятельнейшего в западной культурной истории философского течения. Назовем его (как не раз и делалось) антропологическим.

Прежде чем постараться дать критику этого метода мышления, этой традиции, я хочу представить их образчик у Барта в тексте, который очень много говорит именно нам, людям советского опыта, а особенно мне самому, потому что мне пришлось быть свидетелем того, о чем рассуждал Ролан Барт в своем эссе «Круиз на „Батории“». «Баторий» — это польский лайнер, на котором весной 1955 года в тогдашний Ленинград прибыла большая группа французских туристов. Это вообще был первый случай массового туризма в СССР после Сталина. Событие было крупное, и французская масс-медиа уделила ему понятное внимание: шутка ли сказать, приоткрылся (хотя и в одну сторону) железный занавес. Что же за ним? Ролан Барт в своем эссе оценивает репортажи корреспондентов газеты «Фигаро» Сеннепа и Макеня. Приведу большой, вполне представительный отрывок из этого текста:

«...мифология улицы позволяет разрабатывать излюбленный мотив всех политических мистификаций буржуазии — мотив разлада между народом и режимом. Да и то, если в русском народе еще есть нечто хорошее, то это лишь как бы отблеск французских свобод... в русском народе можно признать открытость, приветливость и щедрость, только если он озарен солнцем капиталистической цивилизации. Раз так, то есть все резоны показывать его безмерное радушие: ведь оно знаменует собой несовершенство советского режима и идеальное блаженство Запада; «неопишуемой» признательностью девушки-экскурсовода из Интуриста к врачу из Пасси, подарившему ей нейлоновые чулки, фактически обозначается экономическая отсталость коммунистического режима и завидное процветание западной демократии... уловка состоит в том, что роскошь привилегированных классов и уровень жизни простого народа толкуются как сравнимые величины; непревзойденный шик парижских туалетов записывается на счет всей Франции... Вообще, вся поездка в СССР служит главным образом для того, чтобы составить, с точки зрения буржуазии, список высших достижений западной цивилизации; таковыми оказываются парижские платья, локомотивы, которые свистят, а не мычат, бистро,

где подают не только грушевый сок, а главное — достояние сугубо французское — Париж, то есть некая смесь высокой моды и «Фолибержер»; судя по всему, именно об этом недостижимом сокровище грезят русские при виде туристов с «Батория».

Что же касается режима, то по контрасту его можно и дальше показывать в карикатурном облике государственного гнета, который всему навязывает свое механическое единообразие. Стоит проводнику спального вагона требовать у господина Макеня назад чайную ложку, как тот заключает о существовании грандиозной бюрократии, в своем бумаготворчестве озабоченной лишь тем, чтобы инвентарный список чайных ложек сходился с наличностью. Вот вам и новая пища для нашего национального тщеславия — ведь французы так гордятся своей анархичностью. Неупорядоченность нравов и поверхностных обычаев служит превосходным алиби для социалистического порядка; индивидуализм — особый буржуазный миф, с помощью которого тираническому строю классового господства прививается безвредная доза свободы; в лице туристов с «Батория» изумленным русским было явлено великолепное зрелище свободных людей, которые болтают в музее во время экскурсии и дурачатся в метро».

Что можно сказать по поводу этого отрывка? Поистине, здесь западный левый интеллектуализм явил нам весь свой блеск и всю свою нищету. Я думаю, что сегодняшние русские издатели «Мифологий» Барта испытали некоторое неудобство, включая этот текст в сборник любимого (да и в самом деле выдающегося) автора. Ведь уж кто-кто, а советский человек знает, что все написанное «буржуазными» журналистами из «Фигаро», — чистойшей правда: и государственно-бюрократический гнет это не выдумка, и глубокая пропасть между народом и режимом, и убогий быт. Более того, советский человек и тогда уже догадывался кое о чем касательно Запада: он мог, например, понять, что нейлоновые чулки — предмет вожделений в тогдашнем СССР — это не роскошь, а товар вполне ходовой во Франции. И еще: такая ли уж буржуазия путешествовала на «Батории»? Буржуазия, тем более крупная, скопом не путешествует. Мы увидели, что называется, средний класс: врач из Пасси — это и есть самый типичный представитель такового, французские врачи (тем более 1955 года), в отличие от американских, отнюдь не гребут деньги лопатой. И вот эти люди, эти французские середнячки произвели в СССР впечатление шока. Я их видел в Питере. Если их и нельзя было назвать инопланетянами, то уж точно это были заморские птицы: яркое оперение и экзотический щелбет. Поразила красота и элегантность их одежда. Мужчины, помню, были в основном в бежевых тонах (мода тогдашнего сезона) и почти сплошь в замшевой обуви. А их умение двигаться, просто ходить по улице, их манера говорить друг с другом, весь облик благополучных и независимых людей! Это было незабываемо; вот я до сих пор и не забыл — через сорок лет — это явление свободных людей в мире рабства и нищеты. Одним словом, их превосходство над совками было не мифом, как пытался предвдвигать Ролан Барт, — это была самая настоящая реальность. И первыми почувствовали это сами совки. Что же тогда он называет мифом?

Мифом, мифологическим сознанием — как характерной для буржуазии формой мышления, навязываемой ею остальному человечеству, — Ролан Барт называет постоянное, имманентное буржуазии стремление представлять исторически обусловленные и ограниченные цивилизационные результаты в качестве извечных законов мироздания. В мифе, по Барту, происходит натурализация истории, превращение истории в природу, или, как еще он говорит, превращение антифизиса в псевдофизис. Еще одно определение мифа: в нем совершается деполитизация социального бытия. Политику здесь следует понимать в самом широком смысле — как целостную систему сложно структурированных социально-исторических связей. И вот буржуазия, буржуазное сознание вырывает факты социальной жизни из этого контекста и представляет их в виде неизменных законов природы: скажем, объявляет институт частной собственности не исторически преходящим явлением, а бытийным, онтологическим законом.

Антибуржуазность Ролана Барта недаром смыкается с марксизмом, его симпатии к марксизму далеко не случайны, тут имеет место общая типология. Критика Бартом того, что он называет мифологическим сознанием, удивительно напоминает Марксову критику идеологии и его учение об отчуждении или овеществлении, — что всячески подчеркивает сам Барт. Здесь ощущается единая традиция философского мышления, которую можно вести из античной Греции, из так называемого антропологического периода в Древнегреческой философии — в его противоположности так называемому космологическому, или, лучше сказать, онтологическому течению философствования. Вот почему, в частности, совершенно неу-

местен термин «буржуазия», «буржуазное сознание» для характеристики этого, онтологического, направления мысли: тогда получается, что буржуазным мыслителем был, скажем, Платон, давший классический пример философствования онтологического типа (см. ниже цитату из Бердяева: все им перечисленные философы подпадают под Бартову классификацию «буржуазных»). Здесь у Барта чувствуется уже отмеченная зависимость от Маркса, от его, так сказать, хронотопа. И Барт сам создает миф в точном соответствии с собственной характеристикой такового: превращает исторически ограниченный факт господства буржуазии в извечный закон, распространяет существование буржуазии не только на постмарксову историю (то есть на нашу современность), но, имплицитно, в глубины культурной истории. Тем не менее нельзя не согласиться с тем, что в соответствующем умственном построении — как у Барта, так и у самого Маркса — много верного. Факт отчуждения, или, по-другому, овеществления социальной реальности действительно имеет место в истории. Отчуждение — это иллюзорное (или, как говорит Маркс, идеологическое) превращение человеческой, и только человеческой, деятельности и ее результатов в нечто стоящее над человеком и воспринимаемое им как объективный, бытийный закон. Можно назвать русский пример мышления в этих категориях: это, конечно, Бердяев с его учением об объективации. Объективация у Бердяева — то же самое, что отчуждение у Маркса или мифология у Барта. Бердяев идет предельно далеко, он говорит даже, что объективного мира вообще нет, он порождается ментальными, или психологическими, или даже аксиологическими установками человека. Прочитируем Бердяева:

«Я <...> избегаю называть себя онтологом, так как понятие бытия считаю проблематичным. Бытие есть понятие, а не существование... Моя философия не принадлежит к онтологическому типу, к типу философии Парменида, Платона, Аристотеля, Фомы Аквината, Спинозы, Лейбница, Гегеля, Шеллинга, Вл. Соловьева... Наиболее враждебен я всякой натуралистической метафизике, которая объективирует и гипостазиирует процессы мысли, выбрасывая их вовне и принимая их за «объективные реальности», которая применяет к духу категории субстанции, натурализует дух... Я утверждаю примат свободы над бытием».

Этому ложному состоянию объективирующего сознания, порождающему и закрепляющему рабство у природной и социальной необходимости, противопологается примат человеческой активности, осознание первичности и проистекает творческой силы сознания; вот почему, между прочим, с этой разработкой у Маркса совершенно не вяжется его грубый философский материализм в духе XVIII века.

Чем же все-таки Ролан Барт отличается от Карла Маркса, и отличается, смело можно сказать, в лучшую сторону? У Маркса его интуиция о примате сознания над фактами истории привела к волюнтаристическому революционаризму, в этой своей интуиции он породил Ленина и большевиков. Вспомним «Тезисы о Фейербахе»: задача философии не в том, чтобы понять мир, а в том, чтобы переделать его. Барт не пытается переделать мир, его активность чисто ментальная, даже словесная. Или даже так скажем: языковая. Что имеет в виду, из чего исходит Барт, когда говорит, что буржуазное мифотворческое сознание хочет «систему значений» представить «системой фактов»? Барт не столько философ, сколько литературовед-семиолог, он строит свои литературоведческие анализы на основе лингвистики, исходя из феномена языка, который ведь (и это открытие семиологии) не бытие являет, а знаки такового. И в этой методологии можно самую реальность представить как феномен языка, «систему значений». Но экстраполируя эту установку на область социального бытия, Ролан Барт совершил ошибку, повторяющуюся на протяжении всей истории духовной культуры: он метод превратил в мировоззрение. Так и получилось, что бытие, реальность, рассмотренные в этой методологии, утратили какой-либо онтологический вес и были представлены в форме отчужденного «буржуазного» сознания.

Однажды Барт очень интересно обмолвился, вернее, продемонстрировал осознание недостаточности метода в работе «мифолога» (этими двусмысленным термином он определяет собственный статус):

«Вино объективно превосходно, и в то же время превосходное качество вина есть миф — такова апория. Мифолог выпутывается из нее как может; он занимается превосходным качеством вина, а не самим вином».

То есть на само вино Барт не посягает — и вот тут его принципиальное отличие от не в меру ретивых последователей Маркса, которые уже в наше время, в самом либеральном своем периоде принялись вырубать виноградники. Барт объяв-

ляет систему фактов системой значений; а марксисты-большевики уничтожили систему фактов, самые факты, самую реальность. Они, в этом смысле, гностики (как и Бердяев: «мир должен сгореть»), а Барт — скептик, человек из постсократических школ, а часто и софист.

Можно и по-другому определить философскую ошибку Барта, выплескивающего вместе с буржуазной водой общечеловеческого ребенка: он называет мифами то, что по-настоящему следовало бы назвать ценностями. Ценностям совсем не обязательно претендовать на онтологический статус, но от этого их чисто человеческая общеобязательность не исчезает.

Впрочем, нельзя оспаривать бесспорного существования и некоторых бытийных реалий.

Когда я писал это, мне в руки совершенно случайно попала английская книга для детей: «Катерина, прозванная Птичкой», автор Карен Кушман, — о девочке, живущей в Средние века. В послесловии к книге мисс Кушман объясняет своим юным читателям, чем принципиально отличалась средневековая жизнь от нынешней, и задает вопрос, на который тут же и отвечает:

«Можем ли мы действительно понять средневековых людей и вправе ли писать о них книги? Думается, что можем, ведь у нас есть общие с ними качества: мы так же, как и они, испытываем голод и жажду, нуждаемся в тепле и безопасности, чувствуем страх и радость, любим детей, обладаем способностью наслаждаться голубиной небой или красотой чьих-то глаз».

Другими словами, нас объединяет с людьми Средних веков некие сверхисторические, надисторические ценности. Следует ли, по Барту, считать эти ценности, эти способности и состояния, эти скромные радости бытия — буржуазными? Ведь они действительно внеисторичны, а буржуазия, как он учит, как раз и усиливается превратить историю в природу. Вопрос: буржуазна ли природа (Бердяев бы ответил «да»), буржуазно ли природное в человеке? или его склонность удовлетворять свои природные потребности? Буржуазны ли те рабочие, которых наблюдал Илья Эренбург в штате Алабама? Буржуазен ли, наконец, сам Эренбург, привезший в 46-м году из Америки в Москву автомобиль «бьюик», стиральную машину и холодильник?

БЕСЕДЫ О НОВОЙ СЛОВЕСНОСТИ

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ: ПРИКОСНОВЕНИЕ МИДАСА: ВЛАДИМИР МАКАНИН

В советскую литературу Маканин входил боком. Отчасти в этом виновата биография. В словесность он попал из математики, где добился немалых успехов. Писателем он стал после душевного перелома, связанного с тяжелой аварией, последствия которой мучили его несколько лет. Однако, даже став известным и популярным автором, Маканин сохранил свою обособленность, свою привычку быть в стороне от литературного процесса. Характерно, что на протяжении десятилетий он не печатался в «толстых» журналах — случай в отечественной практике уникальный. Такое настороженное отношение к советскому литературному быту с его неизбежной общественно-политической нагрузкой — следствие принципиальной, глубоко продуманной жизненной позиции: «Писатель должен держаться как можно дальше от средств массовой информации. Это огромная сила, которая делает пишущего человека своей частью, превращает его в один из своих винтиков, в одно из своих колесиков. Писатель часто обольщается, думая, что он является проводником чего-то, каким-то контактом. На самом деле пресса писателя включает там, где ей удобнее. Его используют как картинку, которая вставляется в очередную пропагандистскую — а в конечном счете все пропаганда — кампанию. Поэтому писатель, чей голос куда слабее, должен из элементарного чувства самосохранения себя беречь».

Осторожный изоляционизм предохранил Маканина от увлекательной литературной борьбы, столь часто заменявшей отечественным писателям собственно литературу. Тщательно оберегая себя от любой партийности, он сумел выйти к иному, необычному для советской литературы масштабу обобщений. Постепенно проза этого плодovitого и очень разнообразного автора стала экспрессионистской, приобрела качества почти кинематографического реализма. Сюжет у Маканина выстраивается за счет зрительных образов. Монологи и диалоги звучат глухо, почти за кадром. Текст часто организован на световых контрастах. С кинематографическим динамизмом мелькают эпизоды. Маканин пишет бегло, почти пунктиром. Обычно тут есть только крупный план и совсем нет скучного, ватного среднего плана. Отказываясь от многословного описательства, он монтирует свои выпуклые гиперреалистические кадры с пустотой, с пропусками, это что-то вроде точек в «Евгении Онегине».

Найдя путь к символической монументальности, Маканин сумел воплотить в своих зрелых сочинениях архетипический конфликт нашего времени: душевные муки человека, с изуверской избирательностью обреченного губить то, что он больше всего любит. Удушающее — насмерть — любовное объятие — тема книги «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», получившей Букеровскую премию 93-го года. (Я сам был членом жюри и горячо настаивал на этом выборе.) Фабула этого короткого романа перекликается с «Процессом» Кафки, но у Маканина суд не уголовный, а — товарищеский. В ходе повествования-допроса вскрывается иезуитская взаимосвязь душ, сплетающихся в коллектив, объединенный чувством обоюдной вины. В этом проникновенном «евангелии от совка» кошмар обезличенной коллективной власти становится гиперболой братства. Товарище-

ский суд — самый безжалостный, ибо он всегда готов оправдать себя любовью к обвиняемому.

Тот же мотив убийственной любви превращает в глубокомысленную притчу превосходную батальную повесть «Кавказский пленный». Участник неназванной войны на южных границах нехотя убивает захваченного в плен горца, чья красота рождает у русского солдата восторженное, почти эротическое чувство. Не ненависть — причина войны, а страстная неразделенная извращенная любовь, говорит Маканин, возвращая геополитику на уровень человеческих, интимных, плотских отношений.

Политика у Маканина никогда не заглушает биологию. Именно потому ему и удалось свернуть с наезженной колеи, что он открыл для себя новое художественное измерение — биологическое. Взамен социальной темы у него на первый план вышла наша биологическая природа — человек как особь.

Переломным произведением стала написанная еще в начале 80-х повесть «Гражданин убегающий». Здесь завязался клубок мучительных отношений, связывающих трех главных героев зрелого Маканина — природу, личность и общество. Эти универсальные элементы выстраиваются у Маканина в глубоко пережитое, пронзительно актуальное мировоззрение, катапультировавшее автора из нашей инфантильной словесности в трезвые просторы мировой литературы.

«Гражданин убегающий» — трагедия рока. Ее герой, строитель, осваивающий просторы Сибири, как Сизиф, ненавидит свой нескончаемый труд. Преобразовывая дикую природу в цивилизованную, он, как Мидас, обладает роковым прикосновением, обращаящим все живое в мертвое: «Он был первопроходцем, то есть он был первым из тех, кто просто-напросто убегает от предыдущих своих же разрушений».

Руины погубленной им природы гонят строителя все дальше в нетронутую тайгу, девственностью которой он одержим: «Он смотрел на стволы деревьев, как будто пробуждал в себе некое вождление... Нетронутость разливалась как запах. Он алчно глянул в мелколесье, в естественное проредье стволов, но ничто там не шелохнулось, словно бы он, Павел Алексеевич Костюков, и его взгляд были ничто, ноль».

Любование природой — не эстетическая потребность, а поиск надлежащего масштаба, путь к нулевой точке отсчета, возвращение на родину. Маканинский герой стремится выявить свое биологическое единство с дикой тайгой. Он не очеловечивает природу, а напротив: себя стремится растворить в ее неодоушевленной, бессознательной стихии.

Путь обратно к божественно безличной природе оплачен ценой личности убегающего в безвестность анонимности гражданина. Когда вертолетчик спрашивает, под каким именем занести героя в ведомость, тот отвечает: «Запиши: восемьдесят килограммов мяса».

Эти пять пудов живого мяса не давали мне покоя, пока не удалось спросить у самого писателя, какой смысл он вкладывает в бегство из «социологии» в «биологию». Вот что ответил Маканин: «Биология — это защитная среда моего персонажа. Эта та живая среда, в которой он когда-то жил и откуда он попал не туда, в место, где он проявляется фальшиво или вовсе никак не проявляется. Когда человек тонет, он должен добраться до дна, оттолкнуться, и тогда уже вынырнуть в другом направлении».

Собственно, вся проза сегодняшнего Маканина посвящена исследованию этой ситуации.

По Маканину, у человека три ипостаси: либо он безличный представитель биологического вида *homo sapiens*, либо стремящаяся воплотить свою уникальность личность, либо вновь безликая часть толпы, утопившая эту самую уникальность в коллективной безответственности.

Вопрос жизни и смерти всей современной культуры: как удержаться на золотой середине, как проложить курс между Сциллой и Харибдой — между биологическим доличностным и коллективным послеличным существованием? Как по пути из «биологии» в «социологию» не проскочить ту единственную узкую и кривую тропинку, которая ведет нас к самим себе? «Задача моего героя, — говорит Маканин, — прожить свою жизнь с сознанием того, что она неповторима. Самоценность жизни и есть самоценность. Она не зависит от общества — от любого общества».

Главное у Маканина — чувствительность к кризису, тревожная интуиция транзита, ощущение промежуточности в жизни человека, общества, мира. Опираясь на пустоту, он пишет, сидя меж двух стульев.

Впрочем, сам Маканин предпочитает другой образ двойственности нашей эпохи — песочные часы: «Мое визуальное ощущение времени — не река, которая течет всегда, а песочные часы. Человек же — песчинка, заткнувшая собой поток».

Такой «песчинкой», соединившей и разъединившей советскую и постсоветскую литературу, стала лучшая книга Маканина — «Лаз». Мир в этой повести строго сориентирован по вертикали: две симметричные вселенные соединены узким проходом — лазом, секрет которого известен только главному герою.

Наверху жизнь практически прекратилась. Улицы — во власти насильников, убийц и мародеров. Объятые страхом горожане не выходят из домов. Нет фонарей, отключены телефоны, кончается вода, перебои с электричеством. Погруженная в глубокие сумерки страна возвращается к пещерной жизни.

Зато внизу все нормально — рестораны, магазины, аптеки, сытые люди. Нижний мир — это нора, где можно отсидеться, передохнуть, прийти в себя, обзавестись самым необходимым, но там, внизу, нельзя жить: «Много света, но маловато кислорода». Поэтому каждый раз герой выползает из тайной дыры, чтобы вернуться в свою сумеречную реальность, вернуться к своему долгу — жить, как бы это ни было невыносимо.

Верхний мир болен неврозом — страхом пустоты. Открытое пространство улиц и площадей захвачено вырвавшимся на волю зверем — толпой. «Лица толпы жестки, угрюмы. Монолита нет — внутри себя толпа разная, и все же это толпа, с ее непредсказуемой готовностью, с ее повышенной внушаемостью. Лица вокруг белы от гнева, от злости, задеревеневшие кулаки наготове и тычки кулаком свирепы, прямо в глаз. Люди теснимы, и они же — теснят».

Толпа у Маканина — лишённая сознания стихия. Она поглощает отдельных людей, чтобы стащить их по эволюционной лестнице обратно — в стаю, в стадо, в муравейник, в пчелиный рой. Она узурпирует свободу каждого, заменяя ее произволом всех.

Толпа у Маканина всегда хуже людей. Какими бы они ни были, каждый из них живет своим умом. Даже бандиты, грабители, насильники преследуют свои цели, гнусные, но осмысленные. Толпа же подчиняется только слепому инстинкту — она существует без цели, просто так. С ней не договоришься — она способна производить лишь нечленораздельные звуки: «Звуки ударные и звуки вразяг, сливающиеся в единый скрежет и шорох, вполне узнаваемый всяким человеческим ухом издали: толпа».

Именно поэтому самое важное для героя «Лаз» — вернуть в жизнь слова. Мир распался на крошечные острова-убежища, в каждом из которых разыгрывается невеселая робинзоада. Условием человеческого существования стало одиночество, «потому что вместе — опаснее». Получается, что выжить можно только врозь, но жить — только вместе. Герой Маканина жаждет выхода из этого мучительного положения. Он ищет слов, тех волшебных возвышенных слов, которые откроют «лаз в нашей душе» и разделят толпу на людей. Но нужные слова в повести так и не найдутся. Толпа остается глухой и немой — «простой, как мычание».

Толпа у Маканина — это тот апокалиптический зверь, явление которого предвещает Страшный суд.

«Лаз» — не антиутопия, не аллегория, не фантазия на актуальные политические темы, «Лаз» — символ, символ смутного настоящего времени. Тут Маканин разворачивает свою версию захватившей весь мир теории конца истории.

На нее, историю, Маканин смотрит все с той же биологической отчужденностью, с безжалостностью экспериментатора, который вынужден возиться с внушающим страх и отвращение препаратом — человечеством, слившимся в массу.

В своем эссе «Квази» он, размышляя о феномене массового общества, пишет: «Сегодня человечество живет видом, а не индивидом. И только на этом спокойном внеисторическом пути человеку воздвигается самым высоким за все времена уровнем жизни. Взамен когда-то сделавших Европу Европой великих порывов индивидуального мышления человек будет жить пульсирующей биологической массой».

На этом пути мы вновь набрали на почти заросшую тропинку «религионо-мифологического движения духа, состоящего в едином сплаве. В нем пребывала наша первоначальная созидательная сила. И вот теперь под напором биологической массы заново обнаружилось это примитивно-цельное мифологическое мышление».

Маканин, верный своей транзитной поэтике, бросает нас на рубеже. Что произойдет с впавшим в детство миром? Какой будет цивилизация, вернувшаяся к своим архаическим истокам? Уцелеет ли в ней наша, построенная на неповторимости личности, культура? Ответы на заданные прозой Маканина вопросы мы узнаем не скоро — их предстоит найти XXI веку.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

1

ВИД НА КОСТЕР С БАЛКОНА

Анна Ахматова — от Жданова к Жолковскому

Статья Александра Жолковского («Звезда», 1996, № 9, с.211—227) называется «Анна Ахматова — пятьдесят лет спустя». Не часто случается литературоведам отмечать подобную годовщину — не со дня рождения или смерти, а со дня гражданской казни поэта. Пятидесятилетие партийного постановления должно было быть отмечено; естественно обращение к нему на страницах журнала, имя которого было обозначено в документе. Юбилею были посвящены специальные публикации в 8-м номере за этот год. Еще раньше была напечатана заметка Б. М. Парамонова, объяснившего, что А. А. Жданов защищал от М. М. Зощенко культуру и что его преемник Зюганов не так уж и опасен, коли умеет пользоваться ножом и вилкой.¹ Полагаю, впрочем, что и идеолог ВКП(б), который, как и В. И. Ленин, был сыном попечителя учебного округа, получил достаточное бытовое воспитание; судя по свидетельству современников, в неумении вести себя за столом нельзя было обвинить и таких заметных деятелей национал-социализма, как коллекционер живописи Геринг, автор искусствоведческих статей Гиммлер или большой любитель изящных искусств генерал-губернатор оккупированной Польши Франк. Правда, Б. М. Парамонов почему-то не упомянул в связи с культуртрегерской деятельностью А. А. Жданова имени Анны Ахматовой. Теперь этот пробел восполнен в специально ей посвященной публикации журнала.

Исследование А. Жолковского достаточно хорошо документировано, и вряд ли возможно его фактологическое опровержение. Приводимые им многочисленные свидетельства современников хоть и не всегда абсолютно достоверны, в целом, несомненно, отражают стиль поведения А. А. Ахматовой и обстановку, ее окружавшую — на протяжении многих, в особенности послевоенных, лет. Сам я видел Ахматову трижды: в день 25-летия со дня смерти Александра Блока, при открытии памятника ему на Волковом кладбище, тогда же на вечере в БДТ, где она читала посвященные ему стихи, и в 1966 году — при отпевании в Никольском соборе. Вот уж где обрела она так сурово инкриминируемый ей А. Жолковским царственный вид — только некому было сказать ей: «Не королевствуй». Поздно. Или, как теперь выяснилось — рано.

Обвинительный акт, посмертно предъявленный Анне Ахматовой, обстоятелен и суров. Суть его сводится к тому, что создаваемый ею (и ее окружением) образ был зеркальным отражением преследовавшего ее тоталитарного режима. В доказательство приводятся показания очевидцев или зафиксированные ими собственные высказывания поэта. Правда, главных, собственно поэтических высказываний

¹ Надеюсь, утверждение Александра Горфункеля о том, что Борис Парамонов в статье «Жить по лжи» (1996, № 2) защищал — в лице А. А. Жданова — культуру от Зощенко, скорее шутка, чем непонимание основной мысли автора. Б. М. Парамонов исходит из того, что революция показывает условность всякой культуры, ее конвенциональный характер. Революция отбрасывает человека к «природе». Б. М. Парамонов доказывает, что именно это экзистенциальное состояние пережил и выразил Зощенко. Принятым писателем такой позиции «предопределяет высшую степень культурности», пишет автор. Что и есть гениальность — Льва Толстого или Михаила Зощенко. По отношению к таким гениям всякая культура «репрессивна». О неизбежном трагическом положении гения внутри культуры и написана статья. Разумеется, восходящую у Б. М. Парамонова к Фрейдю оппозицию между «природой» и «репрессивной культурой» можно не принимать. Но некорректно выставлять своего оппонента слабоумным. В мистическом страхе перед коммунистами некоторые наши коллеги-литераторы, кажется, и на самом деле теряют голову. Мы не верим, что так уж трудно сообразить, что опаснее: нож и вилка Зюганова или жирные пальцы Сталина. — *Рег.*

на удивление мало; в оправдание приводится известное суждение: «жизнь и поэзия — одно». Но в данном случае не в жизни отыскивается ключ к пониманию поэзии; скорее поэзия оказывается второстепенным и не совсем обязательным комментарием к житейским обстоятельствам.

Поскольку именно поведение поэта в частной жизни оказалось главным предметом внимания исследователя, имеет смысл остановиться на трех главнейших моментах, наиболее прямо связывающих жизнь и творчество А. Ахматовой с современной ей советской действительностью.

Первый из них — бытовой аскетизм, отражающий не только убогие условия физического существования 30-х — 40-х годов, но и принципиальную нравственную и духовную позицию поэта и человека. В творчестве и поведении Ахматовой «бедность не только признается как неизбежный факт, но и проповедуется в качестве позитивной ценности и, далее, выдается за богатство, пусть чисто символическое, но тем не менее торжественное, пышное, парадное» (с.215). А. Жолковский усматривает в этом как следование православной этической традиции, так и невольное признание присущего социализму коллективистского подавления индивидуальности.

В действительности отрицание нравственной ценности богатства и апология бедности вовсе не были данью православной традиции или официальной идеологии и пропаганде. Та нищета, в которой на протяжении десятилетий жило подавляющее большинство граждан СССР — и особенно гуманитарная интеллигенция, — была неизбежным условием существования, за исключением тех, кто верно и ревностно служил и прислуживал. Конечно, естественной реакцией на бедность могли быть и жалобы, и ропот, и гнев — бессильный и тем более унижительный. Единственным выходом из этого, навязанного людям, и поэту в том числе, унижения была та гордая (защитная) позиция, какую заняла в жизни и в стихах Ахматова, которая могла бы сказать об этом, как и о тюремных очередях, словами «Реквиема» — «Я была тогда с моим народом...» Не худо бы вспомнить при этом, что нужда была отнюдь не метафорической, особенно в годы после постановления, когда режим обрек ее просто на голод, с изгнанием из Союза Писателей отняв и продовольственные карточки. Это хорошо помнят и понимают те, кому довелось жить в то время, — но неужели историку литературы не достанет воображения, чтобы разглядеть в «надменности» (из стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю») не гордыню, а утверждение человеческого достоинства в бесчеловечных обстоятельствах жизни?

С этим связан еще один, уже «бытовой» упрек критика поэту: «Будучи исключительно сильной личностью <...>, она культивировала вокруг себя атмосферу тайны и поклонения со стороны «своих», на которых возлагала все возможные функции — от помощи в бытовых вопросах...» — здесь я позволю себе перевести дух и прервать на время цитату. Исследователь не задумался, почему подобного перекалывания бытовых дел на «других» не возникало в дореволюционные годы; очевидно, тогда было кому этим заниматься, помимо «своих» из интеллигентного окружения, да и заботы были несравненно проще.

Но продолжу оборванную цитату, чтобы перейти к вопросу куда более серьезному. Помимо помощи в бытовых вопросах, Ахматова возлагала на людей из своего круга функции «хранения, редактирования и даже фиксации ее текстов, которые она с утрированной конспиративностью жертвы не доверяла бумаге» (с.215; конец цитаты!). Исследователь как бы забыл, что причиной ареста Льва Николаевича Гумилева в 30-х годах было знакомство с известным стихотворением Осипа Мандельштама. Историк русской литературы 30-х — 40-х годов нашего века позволял себе пренебречь такими обстоятельствами, как смертельная (не в метафорическом, а в самом буквальном смысле) опасность «хранения и распространения» не то что «Реквиема», а даже лирических стихов опальных поэтов в сталинское время. Не стихи о «кремлевском горце», а не связанные ни с какими политическими реалиями и ассоциациями стихотворения О. Мандельштама тогда не давали переписывать, предлагая запоминать наизусть. Знаменитый роман-антиутопия Рэя Бредбери — лишь слабая тень тогдашней советской реальности. Не хотелось бы употреблять «высокие» слова и называть рассуждение об «утрированной конспиративности жертвы» кошунством, скорее оно свидетельствует о неосведомленности и некотором роде духовной пресыщенности. Как сказано в любимой Анной Андреевной поэме гр. А. К. Толстого, «Во всем заметно полное незнанье / Своей страны обычаев и лиц, / Встречаемое только у девиц».

Все сказанное, как и многое иное, что нет нужды и места цитировать, служит А. Жолковскому для обоснования главного тезиса его статьи, выраженного в ее

названии, сформулированного в одном из первых ее абзацев и определяющего всю дальнейшую аргументацию автора: «Звездный час Ахматовой, в разное время немало пострадавшей от советской власти, пробил полвека назад, в августе 1946 года — в виде Постановления ЦК и доклада Жданова о журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (с.211). В старину в таких случаях ставили в скобках гневно-недоуменное: sic! — именно так! Всенародное оплевывание, травля, лишение элементарных гражданских прав, очередной арест сына, вернувшегося с фронта и окончившего Исторический факультет Ленинградского университета (которому вскоре присвоят имя Жданова), многолетнее молчание и вынужденное (ради спасения сына) печатание верноподданнических стихов, — видимо, именно это и входит, согласно А. Жолковскому, в понятие «звездный час».

Но постоит... Что-то слишком знакомое слышится в этой бестрепетной декларации исследователя. Помните, у Булгакова? Поэт Рюхин внезапно разглядел, «что близехонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на бульвар. Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. «Вот пример настоящей удачливости... — тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека, — какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю... Что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою...»? Не понимаю!.. Повезло, повезло! — вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, — стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие...»

Нет, я не дерзая сравнивать ученого автора с бездарным третьестепенным персонажем «Мастера и Маргариты». Речь не о зависти — о методологии научного исследования. Ведь как посмотреть. При известной точке зрения и костер Джордано Бруно может показаться «звездным часом» мыслителя — особенно если наблюдать со стороны, хорошо бы с балкона, да еще в театральный бинокль.

Кажется, только из безопасного далека — географического или хронологического — можно писать об истории и литературе с такой безмятежной отрешенностью от человеческих страданий. Не только костер инквизиции — фетовское «Там человек сгорел» — не входит в круг интересов объективного исследователя. Правда, при этом за бортом остаются стихи. Но за них не страшно. Они-то останутся. И достанутся — читателю.

Бостон, ноябрь 1996 г.

Александр Горфункель

МОЙ ВЗГЛЯД НА ИНСТИТУТ КОСТРА И ДРУГИЕ ИНСТИТУТЫ, ИЛИ ХОХОРОНЫ ВТОРНИК

Основное обвинение, предъявляемое мне Александром Горфункелем в его пламенной отповеди, — та дистанция, с которой я анализирую ахматовский миф. Как я и предвидел, моя установка на экстерриториальность продемонстрировала свою «сакральную неприемлемость с точки зрения находящихся внутри рассматриваемого мифологического пространства» (с. 213). Горфункель уличает меня в «духовной пресыщенности», своего рода садо-вуайеристском «кошунстве», возможном лишь «из безопасного далека» (см. заголовок и пассаж о Джордано Бруно, со скрытым намеком еще и на Нерона, любующегося пожаром Рима), и, конечно, «неосведомленности». Эта диатриба построена по всем правилам риторики, варьирующей центральную мысль с помощью богатой клавиатуры священных мотивов из российской и всемирно-исторической топки. Тут и костры инквизиции, и Жданов с Герингом, и Дантес с Рюхиным, и сталинский мартиролог, и «451° по Фаренгейту» (опять костры — рикошетом мне как бы вменяется сожжение книг, которые, впрочем, не горят и потому «останутся»), и — в качестве заключительной вспышки — фетовское «Там человек сгорел...» Однако вся эта пиротехника оставляет меня холодным. Эту котлетку мы в свое время уже ели, причем с пылу, с жару; разогретая к случаю, она апетита не вызывает.

Среди полемических перлов Горфункеля особенно ярко сверкает цитата из «любимой Анной Андреевной поэмы гр. А. К. Толстого: „Во всем заметно полное незнание / Своей страны обычаев и лиц, / Встречаемое только у девиц“». Уже инкриминированное мне невежество (понятное, увы, у человека, живущего в

«безопасном далеке», но никак не простительное «ученому автору») усугубляется оскорбительной интеллектуальной и транссексуальной метаморфозой. Однако некоторые трещины в монолите этого рассуждения смягчают его разящий блеск.

Прежде всего, из уст адепта Ахматовой, видевшего ее всего трижды и притом исключительно в публичной ипостаси (в рамках посещаемых им похоронных торжеств), вопиющим faux pas звучит название ее по имени-отчеству, каковое, как она с негодованием настаивала, допустимо лишь со стороны ближайших знакомых. В ритуальной процессии каждый сверчок должен точно знать свой шесток. (Полагаю, что кощунственные «хохороны вторник», как и юбилейная речь Гаева к столетию «многоуважаемого шкафа», были среди причин ахматовской нелюбви к Чехову.) «Подспудные надежды на дворянское происхождение» (Вас. Аксенов), поощряемые общим духом ахматовского культа, но сурово возбраняемые всем, кроме немногих избранных, выдает и титулование А. К. Толстого гр[афом], в беглой аббревиатуре незаметно подмигивающее посвященным. А главное, сама цитата из «Сна Попова» выпускает, при попытке к ней приблизиться, неожиданную ироническую струю, гасящую последние искры горфункелевского сарказма.

Речь о девической неискушенности ведется Толстым не от собственного лица, а от имени благонамеренного тупицы, возмущенного спусканием штанов с официального истэблшмента: **Но ты, никак, читатель, восстаешь / На мой рассказ? Твое я слышу мнение: / Сей анекдот, пожалуй, и хорош, / Но в нем сквозит дурное направленье <...> Все выдумки, нет правды ни на грош! / Слыхал ли кто такое обвиненье <...> И где такие виданы министры? <...> Что за полковник выскочил? Во всем, / Во всем заметно полное незнанье / и т.д.** Да это, друг, уж не ты ли?! Ср.: «Исследование А. Жолковского достаточно хорошо документировано, и вряд ли возможно его фактологическое опровержение... Но... Не худо бы вспомнить... Исследователь как бы забыл... Историк... позволяет себе пренебречь... [Как] можно писать... с такой безмятежной отрешенностью от человеческих страданий...»

Прокол Горфункеля на иронии, полагаю, не случаен, а связан с его общим праведным пафосом, начисто лишенным рефлексии. Добросовестно резюмировав суть моей статьи — «создаваемый ею [Ахматовой] (и ее окружением) образ был зеркальным отражением преследовавшего ее тоталитарного режима», — он вскоре забывает, что речь у меня шла именно о мифе, культе, дискурсе и подобных знаковых системах, и обращается к «действительности». Действительность же, с ее «неизбежными» закономерностями и «единственно возможными» реакциями, представляется ему простой и однозначной. *«В действительности [курсив мой. — А. Ж.] отрицание... и апология... вовсе не были данью... Та нищета... была неизбежным условием... Единственным выходом... была та... позиция...»* и т.п.

Однако действительность не так безнадежно детерминирована, как нас учили в школе «единственно верного» учения, и в значительной мере состоит из тех образов и самообразов, которые мы по тем или иным, тоже далеко не свободным, причинам выбираем. Поведение Ахматовой никак не было единственно возможным. Это видно из того, что не менее почитаемые нами с Горфункелем (давно пора заверить моего оппонента, что мы с ним в общем-то всегда стояли по одну и ту же сторону баррикад) современники Ахматовой выбирали в тех же предлагаемых обстоятельствах другие сценарии. Одни из них таки «бросили землю», чтобы кто вернуться (Цветаева), а кто нет (Ходасевич), другие остались, чтобы пить эту чашу каждый по-своему, одни — сначала полупублично взрываясь, потом каясь, а затем все равно погибая (Мандельштам), другие — сначала приспособляясь, потом тайно, а затем и явно протестуя, а в конце полусмирясь (Пастернак).

Наглядный пример различного противодействия одной и той же действительности — ответы Зоценко и Ахматовой на вопрос английских студентов (июнь 1954 г.) об отношении к ждановскому постановлению: его — наивно горячий («я не могу согласиться, что я подонок»), ее — стоически уклончивый («я не обсуждаю решений моего правительства»). Эти по-разному достойные ответы привели к разным последствиям (Зоценко снова подвергся травле; Ахматова продолжала медленно, но неуклонно возвращать себе официальное признание) и, конечно, определялись разными личными мифами этих авторов. Никто из них не был святым, причем каждый на свой лад, и упрощенная канонизация всех под одну-единственную гребенку в силу их общей благородной противопоставленности режиму лишила бы их того необщего выраженья лиц, которым ценно искусство. Моя статья была посвящена выражению одного из этих лиц и его неожиданным сходствам с генеральным ликом эпохи.

Возвращаясь к замечанию о «духовной пресыщенности», должен сказать, что, освобожденное от оценочного напора, оно предстает простой констатацией того факта, что по мере демонтажа баррикад восприятия искусства теряет свою актуальную, «единственную», идеологически выдержанную (politically correct) направленность, переходя в более объективный, экзистенциальный, эстетический, «вечный» модус. Разумеется, вместе с Платоном, Толстым, Лениным, Солженицыным и феминистами можно держаться сугубо прескриптивных взглядов на задачи искусства, но вряд ли этого хочет мой оппонент. Скорее, он невольно оказывается в плену усвоенных (анти)партийных мифов, ценность которых он, в обстановке происходящего культурного переворота, испытывает естественную потребность ревалвировать. Ностальгия по лагерным, пионерским, туристским и т.п. кострам понятна, но едва ли может отстаиваться в качестве «единственной» истины (хотя, рисуя меня лорнирующим костер с балкона, себя Горфункель, по-видимому, ощущает горящим «в пламени огня из среды горящего куста»).

Кстати, и мой эксперимент по очищению восприятия Ахматовой от культовой оболочки не претендует на надмирную «объективность». Напротив, я ставлю себе вполне «моралистическую» задачу (навлекающую насмешки из постмодернистского лагеря) — разоблачения все того же властного мифа в еще одной его ипостаси. Грубо говоря, я пытаюсь из поклонения российской публики, в том числе интеллигентной, ахматовскому королевствованию, его современными формам и силе вообще вывести опасность реставрации монархии или квазисоветского режима сильной руки (не знаю, какое из зол было бы меньшим). Моя статья направлена на анализ и демистификацию художественных, поведенческих и институциональных проявлений этой мифологии власти, пронизывающей (пост)советскую культуру.

Полностью освободиться из-под власти родной культуры, языка и идеологии едва ли возможно, но первым шагом должно быть, конечно, осознание самой этой несвободы. Не мы говорим на языке, а язык говорит в нас. Именно институт инквизиции осеняет Джордано Бруно тем хрестоматийным статусом, который позволяет Горфункелю ссылаться на его пример в уверенности, что массовый читатель знает про него ровно это (и не подозревает, скажем, о его оккультных занятиях или подозрительной деятельности при английском дворе). Именно завороченностью наиболее внушительным институтом тоталитаризма объясняется выдвигание на ведущую «культуртрегерскую» роль (в ироническом пассаже Горфункеля) не верховного интеллектуала рейха д-ра Геббельса, а шефа тайной полиции Гимmlера, лишь слегка баловавшегося искусствоведением. Несмотря на булгаковскую иронию, Дантес и вся история с дуэлью занимает не последнее место в пушкинском мифе, а сам этот миф — в канонизации Пушкина и его поэзии. Это прекрасно понимали теоретики жизнелюбия — символисты и их наследница Ахматова, высказывавшаяся на подобные темы с раскованной неконвенциональностью («Какую биографию делают нашему рыжему!»), присущей создателям мифов, но, как правило, утрачиваемой их эпигонами-хранителями.

Поскольку речь зашла о Пушкине, стоит заметить, что как Рюхину (моему сальеристскому alter ego), так и Ахматовой и ее адептам особенно дорога его предельно институционализованная — мемориальная, статуарная, мраморно-бронзовая — ипостась. Рюхин меряется славой с «металлическим человеком». Ахматова, обращаясь к Пушкину как к своему «мраморному двойнику» (и не забывая про «его запекшуюся рану» — опять Дантес), обещает: *Холодный, белый, подожди, / Я тоже мраморно стану* (1911). Горфункель, с его фиксацией на кострах, кладбищах и других погребальных топосах, следует, в сущности, той же линии, и потому кульминационное побивание Рюхина, а заодно и «ученого автора», с помощью «чугунного человека», т.е. Пушкина в роли статуи Командора, вполне предсказуемо.

Кстати, мечта о памятнике не оставляла Ахматову и в зрелые годы. Следуя призыву А. Горфункеля не игнорировать ее «главных, собственно поэтических высказываний», процитирую из «Реквиема» (1940): *А если когда-нибудь в этой стране / Воздвигнут задумают памятник мне, / Согласье на это даю торжество, / Но только с условием — не ставить его / Ни около моря, где я родилась <...> Ни в царском саду у заветного пня <...> А здесь, где стояла я триста часов / И где для меня не открыли засов <...> И пусть с неподвижных и бронзовых век / Как слезы струится подтаявший снег, / И голубь тюремный пусть гулит вдали, / И тихо идут по Неве корабли.*

Ахматова, в стихах и в жизни охотно позировавшая на фоне Медного всадника и петербургских дворцов, ясно проводит бронзовые веки собственной статуи. Правда, в контексте своей самой «народной» поэмы (А. Найман) она выби-

рает место, роднящее ее «с гурьбой и гуртом», но все же не отказывается от монументального материала и фона. Более того, даже свою жертвенную причастность общей судьбе она облекает в излюбленную фигуру женского своеволия: выбор места строится по формуле «не хочу того-то и того-то, а только вот этого».

В постромантическую эпоху прижизненные требования памятников стали нуждаться в оговорках. Фома Опискин, пародирующий Гоголя и, шире, фигуру российского автора-деспота, восклицает: «Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент!» Маяковский (прототип Рюхина) перед смертью развенчивает самую идею личного изваяния как «бронзы многопудье» и «мраморную слизь» и возлагает надежду разве что на отдельные «железки строк» (1930). В результате, несмотря на весь его гигантизм, заявка на памятник оказывается у него скромнее ахматовской. У Пастернака же как будто нет и намека на мысли о памятнике — разве что об оставлении «следов» и «пробелов» — «в судьбе, а не среди бумаг...»

Радикальный отказ от «бронзы» удался Мандельштаму, который мыслит свой памятник в виде ямы — зияния, а не выступа: **И потому эта улица / Или, верней, эта яма / Так и зовется по имени / Этого Мандельштама** (1935). Это тем интереснее, что Мандельштам разделял с Ахматовой акмеистическую ориентацию на осязаемые артефакты, памятники культуры и т.п. Но в дальнейшем он ушел от неоклассицистической поэтики, тогда как Ахматова продолжала ее разрабатывать и даже находить в ее рамках образы, совместимые с официально-патриотической идеологией (например, «Нох. Статуя „Ночь“ в Летнем саду»; 1942).

Таким образом, ахматовское решение и этой проблемы оказывается не «единственно возможным», а продиктованным ее личной и поэтической мифологией, красноречивым образом созвучной монументализму «Культуры-Два». Соответственно, как я уже писал, и ее поэзия в целом оказывается «классическим памятником своей эпохи... непревзойденной по масштабам давления власти на человека и по крепости его ответной стальной закалки» (с.227). Будучи, насколько можно судить уже сегодня, великой, она, скорее всего, «останется», а если и «пожрется» (в державинском смысле), то, конечно, не пресыщенным работником института литературной критики, а, как и водится, жерлом вечности. В ожидании окончательного приговора этого института институтов, стихи Ахматовой никому не воспрещается любить, будь то за их тяжелозвонкое кокетство или несмотря на него.

Александр Жолковский

2

Глубокоуважаемая редакция!

Прошу вас опубликовать в вашем журнале мое объяснение по поводу моего эссе «Владимир Дмитриевич, Николай Степанович, Николай Гаврилович», напечатанного в набоковском номере «Звезды» (1996, № 11).

Мое эссе представляло собой видоизмененный текст одной главы из книги о Набокове, над которой я сейчас работаю. Эссеизированный, разговорный характер публикации не предполагал каких-либо ссылок и примечаний в тексте, поэтому при печати они были опущены. В результате в некоторых местах эссе, где статейный вариант требовал бы обязательного указания на источник, получился плагиат. Прежде всего это относится к следующему пассажи:

«Оставляю в стороне вопрос о влиянии Гумилева на стихи самого Набокова — это самостоятельная тема. Важнее тут, на мой взгляд, сама личность Гумилева, Гумилев экзистенциальный. Его героизм, его искание приключений, его культ художественного мастерства и, конечно, его трагическая гибель от рук большевиков — все это полноценные части его наследия. В одной из набоковских американских лекций — она называется «Литературное искусство и здравый смысл» — Гумилев предстает как воплощение всех достоинств, ценимых Набоковым» (с.183).

Эти соображения требуют указания на их прямой источник — книгу профессора Йельского университета Владимира Александрова «Набоковская потусторонность», отрывок из которой опубликован в том же номере «Звезды». В книге В. Александрова ряд страниц посвящен глубокому набоковскому восприятию Гумилева, в ней впервые в набоковедческой литературе показано гумилевское вли-

яние на миф о Поэте в стихах и прозе Набокова. В некоторых своих рассуждениях я шел именно за книгой В. Александрова.

Приношу свои извинения профессору В. Александрову, редакции и читателям журнала.

Иван Толстой

Errata

В набоковском номере «Звезды» (№ 11/96) на стр. 46, 77, 82, 84, 85, 86, 87, 118, 119, 120 и 123 по техническим причинам отсутствуют надстрочные знаки во французских цитатах.

В том же номере замечены следующие опечатки:

		<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
стр. 51,	строка 1 св.	la-ble	la-bles
стр. 72,	с. 3 св.	перефразировать	парафразировать
стр. 84,	с. 13 св.	que	qui
	с. 25 св.	aussez	assez
	с. 29 св.	poutant	pourtant
	с. 31 св.	enchantillon	échantillon
	с. 1 сн.	malheure	malheur
стр. 85,	с. 2 св.	le sensibilité	la sensibilité
стр. 87,	с. 5 св.	long	longs
стр. 105,	с. 16 сн.	Пятигорский (1909	Пятигорский (1903
стр. 124,	с. 32 св.	la barrière	la barrière
стр. 129,	с. 30 св.	племянник	кузен
	с. 32 св.	La bateau	Le bateau
стр. 130,	с. 11—12 сн.	«Memoirs of the Hecate Country» («Воспоминания о стране Гекаты»)	«Memoirs of the Hecate County» («Воспоминания о графстве Гекаты»)

В публикации писем К. И. Чуковского к Н. В. Крандиевской (№ 7/96) примечание 5 на стр. 194 следует читать: «Дмитрий Алексеевич Толстой, композитор».

Публикация и подготовка текста книги Лидии Чуковской «Памяти Фриды» (№ 1/97) осуществлена Евгением Ефимовым.

По техническому недосмотру текст И. П. Смирнова «Воображение и фантазии», являющийся послесловием к рассказам Юлии Кисиной (№ 3/97), напечатан как два разных материала. Вместо заголовка „Послесловие“ на стр. 105 должно быть «* * *».

Приносим извинения нашим авторам и читателям.

ТАМАРА ЮРЬЕВНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ

12 февраля умерла — на девяносто первом году жизни — Тамара Юрьевна Хмельницкая, одна из тех тихих литературных тружеников, чья кропотливая работа на протяжении десятилетий была не только полезна и плодотворна, но служила духовным ферментом, без которого естественный культурный процесс невозможен. Без таких людей, как Т. Ю. Хмельницкая, литература обречена, они — ее хранители и толкователи, преданные защитники и добрые воспитатели.

Тамара Юрьевна родилась и умерла в Петербурге, — прожив, собственно, всю свою жизнь в Ленинграде. Этот город был для нее исторической плотью, купелью русской культуры, достойным носителем европейских традиций. Здесь в конце 20-х годов она закончила аспирантуру Института истории искусств, училась у Ю. Н. Тынянова, Б. В. Томашевского, Б. М. Эйхенбаума — и навсегда осталась им благодарна; тогда же начала выступать в печати как литературовед и переводчик, — и позже, наряду с переводами рассказов Мопассана и сказок П. Вайян-Куртье, статей А. Мюссе и Ф. Меринга, писем Ф. Шиллера и Ж. Санд, она стала профессиональным критиком. Чуждая какой бы то ни было конъюнктуры, Т. Ю. Хмельницкая нашла тут свою тропу: писала об Андрее Белом и В. Каверине, В. Быкове и Ч. Айтматове, Ю. Трифонове и зарубежных фантастах — Р. Брэдбери и К. Воннегута. Ее монография «Творчество Михаила Пришвина» (1959) и сборники статей «Голоса времени» (1963) и «В глубь характера» (1988) отмечены тонкой наблюдательностью, вкусом, деликатным пониманием людской психологии и категорической неспособностью к нравственным компромиссам.

Особой заботой Тамары Юрьевны были молодые писатели. Как истинный литератор, она относилась к ним серьезно, терпеливо, по-матерински пестовала их, с одинаковой требовательностью напутствовала и тех, с кем была знакома лично, и тех, кого знала лишь по рукописям и публикациям. Целая плеяда ленинградских прозаиков 60-х годов: Р. Грачев, А. Битов, М. Данини, О. Баунов, Б. Сергуненков, В. Голявкин, А. Житинский — всех не перечислишь — нашли в ее статьях и рецензиях внимательный анализ своих повестей и рассказов.

Тамара Юрьевна обладала редким даром: как никто умела ценить «роскошь человеческого общения». С теми же молодыми писателями держалась без малейшего намека на менторство — это были отношения равных, искренне уважающих друг друга людей. Многие становились ее друзьями, сохраняя тепло, может быть, и нечастых, но памятных встреч, радость душевного, допоздна увлекавшего разговора. Всеми силами Тамара Юрьевна сопротивлялась одиночеству. Ее родные погибли в блокаду; муж, уйдя в ополчение, не вернулся; она не ведала, где похоронены ее близкие, — и в день памяти, придя на кладбище, молча стояла у незнакомых могил. Она победила одиночество. До последних дней, когда одолевали болезни и глухота, друзья не покидали ее. И память о себе Тамара Юрьевна Хмельницкая оставила поистине добрую.

Г. Цурикова, И. Кузьмичев

Редакция и редколлегия «Звезды» разделяют скорбь наших друзей о Тамаре Юрьевне, давнем и любимом авторе нашего журнала.

СОДЕРЖАНИЕ

К ЮБИЛЕЮ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА. 19 октября 1996 года. <i>Стихи</i>	3
ИОСИФ БРОДСКИЙ. Зачем российские поэты?.. <i>Перевод с английского Виктора Куллэ</i>	4

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ВАДИМ СТАРК. Воскресение Господина Морна	6
ВЛАДИМИР НАБОКОВ. Трагедия Господина Морна	9

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

САША АНОСОВА. Стихи	99
ИЛЬЯ ЗАМЕШАЕВ. Рассказы	101
ГРИГОРИЙ МАРК. Стихи	112

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

РУТ РЕНДЕЛЛ. Один по вертикали, два по горизонтали. <i>Роман. Перевод с английского Е. А. Коротнян</i>	114
--	-----

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

Даниил И Вадим Андреевы: братья знакомятся. <i>Письма Д. Андреева родным. Публикация, вступительные заметки и примечания Ольги Андреевой-Карлайл и Алексея Богданова</i>	152
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ. Мораль и право: день чудесный	165
---	-----

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

ЛЮДМИЛА ВОЛЬФЦУН. <i>Amata mea</i>	178
--	-----

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

ДАНИИЛ ДАНИН. Дневник одного года, или Монолог-67	185
---	-----

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ. Гнев живых на живых	213
МИХАИЛ ЭПШТЕЙН. Путь ангельской плоти	219

ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

БОРИС ПАРАМОНОВ. Скромное обаяние буржуазии (<i>По поводу «Мифологий» Ролана Барта</i>)	223
---	-----

БЕСЕДЫ О НОВОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<i>Беседа третья: АЛЕКСАНДР ГЕНИС. Прикосновение Мидаса. Владимир Маканин</i>	228
---	-----

<i>Письма в редакцию</i>	231
------------------------------------	-----

Тамара Юрьевна Хмельницкая	238
---	-----

CONTENTS

TO BELLA AKHMADULINA'S ANNIVERSARY

- Bella Akhmadulina. October 19, 1996. Poems. 3
Joseph Brodsky. Why Russian Poets? Translated from the English by Victor Koulle . . . 4

OUR PUBLICATIONS

- Vadim Stark. The Resurrection of Mr. Morn. 6
Vladimir Nabokov. The Tragedy of Mr. Morn. 9

POETRY AND PROSE

- Sasha Anosova. Poems. 99
Ilya Zameshayev. Short Stories. 101
Grigory Mark. Poems. 112

NEW TRANSLATIONS

- Ruth Rendell. One Across, Two Down. A novel,
translated from the English by Ye. A. Korotnyan 114

LETTERS FROM THE PAST

- Daniil and Vadim Andreyev: Brothers Get Acquainted. Letters by D. Andreyev
to his relatives. Edited, foreworded, and commented
by Olga Andreyeva-Carlisle and Alexei Bogdanov. 152

JOURNALISM

- V. Rybakov. Morals and Law: a Wondrous Day. 165

FROM THE RECENT PAST

- Ludmila Volftsun. Amata Mea. 178

XXth CENTURY MEMOIRS

- Daniil Danin. A Diary for One Year, or Monologue-67 185

ESSAYS AND LITERARY CRITICISM

- Valery Shubinsky. The Living's Anger towards the Living 213
M. Epshtein. The Road of Angel's Flesh. 219

PHILOSOPHICAL COMMENTARY

- Boris Paramonov. Modest Charm of the Bourgeoisie (On Roland
Barthes's 'Mythologies').

DISCUSSIONS ON NEW LITERATURE

- The Third Discussion: Alexander Genis. The Midas Touch. Vladimir Makanin 228
Letters to the editor 231
Tamara Yurievna Khmel'nitskaja 238

Сдано в набор 15.02.97. Подписано в печать 25.03.97.

Формат 70×108 1/16. Печать высокая. 21,0 усл. печ. л. 19,87 уч.-изд. л.

Тираж 9500 экз. Заказ № 491.

Отпечатано с диапозитивов в ГПП «Печатный Двор» Комитета РФ по печати.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

**До конца 1997 года «Звезда»
планирует напечатать:**

Андрей Битов. «Азарт, или Неизбежность ненаписанного». Роман.

Игорь Долиняк. «Де Грие 35». Повесть.

Игорь Ефимов. «Зрелища». Роман.

Семен Ласкин. «Роман со странностями».

Александр Торин. «Дурная компания». Роман.

Исаак Башевис Зингер (лауреат Нобелевской премии). «Враги. История любви». Роман. С английского.

Джеймс Боллард. Рассказы. С английского.

Жорж-Оливье Шаторейно. «Жертва или палач?» Повесть. С французского.

Письма **Жоржа Дантеса** к Екатерине Гончаровой.

Лев Британишский. Дневники предреволюционных лет.

Анна Сазонова. «Записки заложницы. 1917—1938». Воспоминания жены последнего дореволюционного министра иностранных дел.

Ольга Керенская. «Мертвые молчат, победителей не судят». Воспоминания жены А. Ф. Керенского.

Евгения Свинына. «Письма в Париж (1922—1938)». Письма русской аристократки, оставшейся на родине.

Письма **А. А. Ухтомского** к Г. Ф. Гинзбург (1927—1937).

Письма **Константина Бальмонта** к Дагмар Шаховской.

Письма **Георгия Иванова** к Роману Гулю.

Письма **Юрия Тынянова** к Л.М. Варковицкой.

Владимир Вейдле. «Об угасании искусства».

А. А. Фурсенко. «Связной Хрущева и Кеннеди». По материалам ГРУ и ЦРУ.

Борис Вахтин. «Этот спорный русский опыт». Эссе.

В. А. Кривошеин (Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий). «Избрание патриарха Пимена (1971)». По личным впечатлениям и документам.

Игорь Архипов. «Кривое зеркало парламентаризма («правые» в дореволюционных Государственных думах)».

Ю. П. Петров. «Откуда берутся роковые неплатежи».

Постоянные рубрики:

«**Строительство империи**» («Россия и Кавказ», «Россия и Средняя Азия»).

«**Философский комментарий**» (ведет **Борис Парамонов**).

«**Беседы о новой словесности**» (ведет **Александр Генис**).

В следующем номере журнала читайте:

- Андрей Битов. Гулаг как цивилизация. Эссе.
- Виктор Панэ. Танцевальный шаг. Повесть.
- Борис Слуцкий. Фронтовые письма.
- Б.Б. Дьяков, В.Я. Френкель. Операция «Эпсилон», или Козни уранового проекта.

1997 - год 80-летия газеты

Вечерний **ПЕТЕРБУРГ**

«Вечерний Петербург» — издание традиционной демократической ориентации, стремящееся быть влиятельным, информативным и неожиданным.

Нетривиальные интерпретации известных политических, экономических, культурных событий — обязательная составная часть газеты.

Критика действий президентской администрации и правительства справа — с позиций рыночного капитализма — основная идея политико-экономической редакции.

В «Вечернем Петербурге» лучший среди городских газет гуманитарный раздел.

С декабря 1996 года у газеты новый дизайн и приложение «Этажерка», выходящее по пятницам на шестнадцать полосах. Здесь вы найдете аннотированную телепрограмму, информацию о выставках, спектаклях, фильмах, список новых книг, выпущенных петербургскими издательствами.

Подписаться на «Вечерний Петербург» можно на почте с любого месяца.

Наш индекс 54980



ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА»

На «Звезду» можно подписаться с любого месяца во всех почтовых отделениях страны по каталогу «Роспечати». Индекс 70327.

В Санкт-Петербурге и области — также по каталогу «Петербург-Экспресс» во всех отделениях Сбербанка — в кассах по приему коммунальных платежей и в пунктах «Петрозэлектросбыт».

Для организаций возможна подписка по безналичному расчету. Оформить ее можно по телефонам: (812)221-65-38, (812)223-51-89.

При этом стоимость подписки не меняется, а менеджер для проведения подписки выезжает бесплатно.

Информацию о подписке через службу «Петербург-Экспресс» можно получить по телефонам:

(812)223-52-35, (812)223-52-36, (812)223-52-37.

Подписаться на «Звезду» можно также непосредственно в редакции, по адресу: ул. Моховая, 20. тел.: (812) 273-37-24.

В розницу журнал можно приобрести:

Санкт-Петербург, Дом Книги (Невский пр. 28).

Москва, Книжный салон «Летний сад»

(Большая Никитская, 46. тел.: (095) 290-06-88)

В салоне можно заказать отдельные номера журнала за 1996-1997 гг.